

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

---

# ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

2

МАРТ — АПРЕЛЬ

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1972

## СОДЕРЖАНИЕ

Б. А. Серебрянников (Москва). О лингвистических универсалиях . . .	3
--	---

### ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. И. Георгиев (София). Современное состояние «дешифровки» этрусского языка . . . . .	17
О. А. Лаптева (Москва). Нерешенные вопросы теории актуального членения	35
Т. М. Николаева (Москва). Актуальное членение—категория грамматики текста . . . . .	48
Я. Фирбас (Брно). Функции вопроса в процессе коммуникации . . . . .	55
А. Л. Пумпянский (Москва). О логико-грамматическом членении предложения . . . . .	66

### МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В. Кипарский (Хельсинки). О судьбе -ь- в суффиксах -ьск и -ьство . . .	77
А. Бартошевич (Познань). К определению системы словообразования	83
И. С. Козырев (Орел). Из истории развития предлогов при форме сравнительной степени в белорусском и русском языках . . . . .	90
Г.-Й. Шедлих (Берлин). Процессы дифференциации и выравнивания в немецком языке в свете фонологии . . . . .	99
Н. А. Сыромятников (Москва). Определение родственности корней	109

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Рецензии

В. М. Солнцев (Москва). В. З. Панфилов. Взаимоотношение языка и мышления . . . . .	124
О. С. Ахманова (Москва). W. L. Chafe. Meaning and the structure of language	131
Н. А. Козинцева (Ленинград). Г. Б. Джаукян. Развитие и структура армянского языка . . . . .	136
Э. Р. Тенишев (Москва). Г. Садуакасов. Язык уйгуров Ферганской долины. Очерк фонетики, тексты и словарь . . . . .	139
З. К. Тарланов (Петрозаводск). А. А. Магомедов. Агульский язык (Исследования и тексты). . . . .	141

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки . . . . .	144
--------------------------------	-----

### РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая,  
Ю. Д. Дешериев, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции),  
В. З. Панфилов (зам. главного редактора), Б. А. Серебрянников,  
В. М. Солнцев (зам. главного редактора), О. Н. Трубачев,  
Ф. П. Филин (главный редактор), Г. В. Церетели, В. Н. Ярцева

Адрес редакции: Москва К-31, Кузнецкий мост, 9/10. Тел. 228-75-55

Б. А. СЕРЕБРЕННИКОВ

## О ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УНИВЕРСАЛИЯХ

1. **Определение понятия «универсалии».** Современный период развития мирового языкознания характеризуется повышенным интересом к проблеме универсалий. Толкование языковых универсалий имеет, однако, двойственный характер. Прежде всего, в понятие универсалий включаются так называемые абсолютные универсалии типа: «Во всех языках есть гласные и согласные», «Каждый человеческий язык имеет имена собственные», «Любой язык имеет дейктические элементы» и т. д. Вместе с тем наблюдается стремление подвести под понятие универсалий и такие явления, которые фактически не обладают признаком всеобщей, абсолютной распространенности. По мнению авторов «Меморандума о языковых универсалиях», «представляется важным включить в понятие универсалий такие общие законы или тенденции, которые осуществляются с высокой степенью вероятности для разных языков или одного языка в процессе его существования во времени»<sup>1</sup>. Эти так называемые диахронические универсалии имеют вероятностный характер. Такой же вероятностный характер имеют и некоторые структурные корреляции, например: «С вероятностью, большей, чем случайная, можно ожидать, что в языках с доминирующим порядком VSO прилагательное стоит после существительного»<sup>2</sup>.

Учитывая все это, Б. А. Успенский дает следующее определение понятия «универсалии»: «Под языковыми универсалиями принято понимать закономерности, общие для всех языков или для их абсолютного большинства»<sup>3</sup>. Нетрудно заметить, что это определение содержит известное противоречие, поскольку оно распространяется одновременно на явления универсальные и неуниверсальные. Здесь смешиваются два разных типа явлений, объединяемых под одним термином «универсалии». Противоречивость самого определения универсалий, в котором фактически смешиваются понятия нетипологические, иногда — лингво-логические (понятийные категории) и понятия типологические (лингвистические универсалии), является причиной того, что до сих пор продолжают производиться попытки определить их сущность.

Руководствуясь общим критерием универсальной распространенности явления<sup>4</sup>, некоторые лингвисты универсалиями считают такие общие признаки языка, как категории предложения и члена предложения, те или иные определенные способы связи слов в предложении (либо согласование,

<sup>1</sup> Дж. Гринберг, Ч. Остуд, Дж. Дженкинс, Меморандум о языковых универсалиях, «Новое в лингвистике», V, М., 1970, стр. 35 (далее — НЛ, V).

<sup>2</sup> Дж. Гринберг, Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов, там же, стр. 128.

<sup>3</sup> Б. А. Успенский, Проблема универсалий в языкознании, там же, стр. 10.

<sup>4</sup> См. определение лингвистических универсалий, содержащееся в «Словаре лингвистических терминов» О. С. Ахмановой (М., 1966, стр. 485): «Языковые явления (свойства, характеристики), обнаруживаемые во всех языках, свойственные всем языкам».

либо примыкание и т. д.)<sup>5</sup>. К универсалиям причисляются семантические в своей основе «понятийные категории», причем «к семантическим категориям этого плана» оказываются отнесены «категория деятеля (агенса), воздействия (фактитивности), объекта воздействия и орудийности, категория объекта владения, ... категория перемещения в пространстве...»<sup>6</sup>. Кроме семантических категорий среди универсальных категорий выделяются «еще содержательные категории, обусловленные внутренними закономерностями выражения внеязыкового содержания в формах языка. К таким категориям относятся, например, категория субстанции, местоименности, подлежащего и прямого объекта и др.»<sup>7</sup>. По мнению А. В. Бондарко, «в семантическом содержании вида и способов действия... находят отражение такие признаки, которые не являются специфическими только для славянских языков. Таковы признаки длительности, процессности, повторяемости или неповторяемости; ср. также такие признаки в области способов действия, как результативность, начинательность, ограничение длительности...»<sup>8</sup>. В подобного рода определениях универсалий намечается явная тенденция освободить термин «универсалии» от противоречий и включить в число универсалий только явления, имеющие всеобщее распространение.

М. М. Гухман считает целесообразным выделять, помимо понятийно-содержательных универсалий, структурно-формальные универсалии, а также «универсалии по разным показателям» («В этих условиях под универсалиями понимается относительно устойчивая связь определенного набора признаков, свойственного одной значительной группе языков в отличие от другой группы») <sup>9</sup>.

Универсалиями иногда называют общие, или универсальные, пути возникновения тех или иных языковых явлений. Например, К. Е. Майтинская деление первоначально общей категории слов на назывательные и указательные рассматривает как универсальный путь развития местоименных слов <sup>10</sup>.

На первый взгляд может показаться, что включение в разряд универсалий семантических понятийных категорий способствует устранению противоречивости в определении универсалий. В действительности оно вносит новые осложнения из-за стремления отождествить «универсалии» с «универсальностью», хотя понятие «универсалии» должно иметь свой объем и свою специфику. Подобному же отождествлению способствует и введение термина «абсолютные универсалии».

Между тем представляется возможным определить принцип разграничения универсальных явлений и лингвистических универсалий. Если отвлечься от тривиальностей, именуемых абсолютными лингвистическими универсалиями, которые фактически представляют общие свойства языков, то легко можно заметить, что многие другие типы универсалий связаны с наличием в различных языках мира изоморфных черт, единообразных признаков или одинаковых по своей сущности процессов, дающих одинаковые результаты. Например: «С вероятностью, гораздо большей,

<sup>5</sup> См., например: Н. В. Солнцева, В. М. Солцев, Универсальность и не-универсальность синтаксических категорий и средств, «Универсалии и их место в типологических исследованиях. Мецаниновские чтения 1971 г. Тезисы докладов», М., 1971, стр. 13, 14.

<sup>6</sup> С. Д. Кацинелсон, Об универсальных категориях в грамматике, там же, стр. 9, 10.

<sup>7</sup> Там же, стр. 10.

<sup>8</sup> А. В. Бондарко, Универсальные и неуниверсальные функции в грамматике, там же, стр. 7—8.

<sup>9</sup> М. М. Гухман, Универсалии и типологические исследования, там же, стр. 6.

<sup>10</sup> К. Е. Майтинская, Местоимения и универсалии, там же, стр. 15.

чем случайная, языки с нормальным порядком SOV имеют послелогии»<sup>11</sup>, или: в самых разных языках наблюдается «тенденция к озвончению глухой согласной в позиции между гласными»<sup>12</sup>.

В связи с этим возникает вопрос, что следует понимать под языковым единообразием. Возьмем снова универсалию: «С вероятностью, гораздо большей, чем случайная, языки с нормальным порядком SOV имеют послелогии». Языковое единообразие здесь выражается в наличии закономерной имплицативной связи таких языковых признаков, как порядок расположения в предложении субъекта и объекта действия и глагола, выражающего само действие, а также послелогов. Исследователя интересует в данном случае не вопрос о том, как выражается в языке, скажем, понятийная категория объекта действия, а внутрисистемные связи этой категории с другими языковыми явлениями. Точно так же следует рассматривать и другую универсалию: «В самых разных языках наблюдается тенденция к озвончению глухой согласной в позиции между гласными». Языковое единообразие здесь выражается не только в тождестве условий процесса и его характера, но и в закономерном появлении звонкого согласного.

Из этого можно сделать вывод, что основу лингвистической универсалии составляет единообразие языкового, а не понятийного признака. Исследование проявлений семантической понятийной категории в различных языках обычно имеет своим результатом не обнаружение единообразия ее выражения, а наоборот, констатацию значительных различий в этом плане.

Учитывая тесную связь лингвистической универсалии с явлениями изоморфизма в различных языках, с единообразием языкового выражения, можно установить также другое, очень важное свойство универсалии. Универсалия этого рода никогда не будет абсолютной, поскольку различные процессы, совершающиеся в языковой сфере, всегда накладывают определенные ограничения, затрудняющие возможность ее абсолютного распространения. К ней гораздо более применим термин «фреквенталия», т. е. явление высокой степени частотности, а не универсалия в подлинном значении этого слова. Любая лингвистическая универсалия имеет исключения.

Исходя из этих соображений, мы считаем возможным дать более точное определение лингвистической универсалии. Языковая универсалия — это единообразный, изоморфный способ выражения внутрисистемных корреляций языковых элементов или однотипный по своему характеру процесс, дающий одинаковые результаты, проявляющиеся с достаточно высокой степенью частотности в различных языках мира. Принцип единообразия должен распространяться и на семантические универсалии (например, связь названия «устье реки» со словом «рот», наблюдаемая во многих языках). Все явления, обладающие признаком всеобщности и абсолютности распространения, в том числе и универсальные «понятийные категории», при таком определении исключаются из числа универсалий. Лингвистические универсалии должны изучаться как явления особого рода.

**2. Из истории изучения универсалий.** Признается, что «проблема универсалий, как и гипотетические предположения об универсальности тех или иных явлений в языке, отнюдь не может считаться достижением

<sup>11</sup> Дж. Гринберг, указ. соч., стр. 121.

<sup>12</sup> Дж. Гринберг, Ч. Осгуд, Дж. Дженкинс, указ. соч., стр. 41.

лингвистики нашего времени; заслуга современной лингвистики скорее в том, что она — едва ли не впервые в истории языкознания — обратила внимание на методическую и методологическую сторону исследования универсальных явлений в языках мира»<sup>13</sup>.

Вместе с тем при изложении истории этого вопроса явно сквозит тенденция представить дело таким образом, будто подлинно научная разработка проблемы универсалий связана с появлением структурализма. Высказывается мнение, что прежде в большинстве случаев представления об универсальности определенных явлений в языках «...были либо малоинформативными (относясь к универсальности методов описания разных языков, а не к универсальной распространенности языковых явлений), либо просто неверными.... Подобные „мифологические“ универсалии выдвигались на разных этапах эволюции языкознания... (сюда относятся, например: утверждение о том, что грамматический строй или элементы грамматики не могут заимствоваться из другого языка; представление об определенной связи генеалогической и традиционной морфологической классификации языков; утверждение о том, что необходимым условием для усвоения чужеродного звука в заимствованных словах является наличие „пустой клетки“ в системе заимствующего языка; упрощенное представление о единстве глоттогонического процесса, и т. д., и т. п.)»<sup>14</sup>.

В свою очередь Р. О. Якобсон так характеризует вкратце историю исследований в области типологии: «Непродуманные и скороспелые рассуждения по поводу языкового родства скоро уступили место первым исследованиям и достижениям сравнительно-исторического метода, тогда как вопросы типологии на долгое время сохранили умозрительный, донаучный характер»<sup>15</sup>.

Подобные оценки по меньшей мере необъективны. Языковедам прошлого было не чуждо понятие типичного, они имели представление об универсалиях и широко применяли их в своих научных исследованиях, хотя и не пользовались самим термином «универсалии». В отличие от современных теоретиков универсалий, они не устанавливали абстрактных универсалий, хорошо понимая, что тривиальности типа «во всяком языке есть гласные и согласные» ровным счетом ничего не дают. Что же касается диахронических и некоторых импликационных универсалий, то практически они им были известны.

Г. Хёнигсвальд совершенно правильно отмечает, что «идеи младограмматиков об общих (то есть универсальных) закономерностях языковых изменений опирались на самые тщательные исследования. Младограмматиков с первого взгляда гораздо труднее обвинить в глоттоцентризме, поэтому многие из этих идей живы и поныне. Любой труд по историческому языкознанию содержит детально разработанные формулировки общих законов языковых изменений»<sup>16</sup>.

Первым импульсом, возбуждившим поиски лингвистических универсалий, была идея, отождествлявшая человеческий язык с живым организмом. Сторонник этих идей А. Шлейхер, подчеркивая, что «существо человека в его основных проявлениях повсюду одно и то же», делал заключение: «Поскольку органы речи у всех людей в сущности одинаковы, то и производимые ими звуки во всех языках одинаковы», и далее: «Все индоевропейские языки, а также неиндоевропейские, переживают сход-

<sup>13</sup> Б. А. Успенский, указ. соч., стр. 5.

<sup>14</sup> Там же, стр. 5—6.

<sup>15</sup> Р. Якобсон, Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание, НЛ, III, М., 1963, стр. 96.

<sup>16</sup> Г. Хёнигсвальд, Существуют ли универсалии языковых изменений НЛ, V, стр. 78.

ный путь изменения не только в общих линиях, но и в частности»<sup>17</sup>. В специальном исследовании о так называемом зетацизме Шлейхер прослеживал исторические судьбы различных согласных в положении перед *j* (также перед *e* и *i*) в различных индоевропейских и неиндоевропейских языках, всюду отмечая сходные результаты, например превращение предшествующих согласных в аффрикаты. По существу эта работа представляла собой исследование диахронической универсалии. Зетацизм, как и все звуковые законы, Шлейхер объяснял сходным устройством проносительных речевых органов у разных народов<sup>18</sup>.

Эта идея была подхвачена многими лингвистами. Г. Курциус вслед за Шлейхером утверждал, что в истории звуков наиболее наглядным образом обнаруживаются устойчивые законы, проявляющиеся с такой же последовательностью, как и законы природы<sup>19</sup>. Ф. Е. Корш подчеркивал, что в «фонетике есть общие всем языкам законы, которые вызывают одинаковые явления помимо всякого родства и предания», а в области синтаксиса «законы, так сказать, физиологические отступают назад перед общими всем народам законами психическими. Одинаковые потребности духа вызывают и одинаковые явления: мышление, воля, чувство, ищут для себя выражения во всех языках без различия и создают соответственные роды предложений»<sup>20</sup>. П. Пасси также полагал, что изменения в языках не совершаются случайно, но следуют определенным законам, которые хотя и обнаруживают вариации в различных языках и в различных странах, но в целом являются удивительно устойчивыми<sup>21</sup>; в работе П. Пасси приводилось множество примеров, иллюстрирующих это положение. По мнению А. Мартине, П. Пасси дал самое ясное изложение функциональной теории фонетических изменений<sup>22</sup>. Наличие общих формул языковых изменений признавали также А. Мейе, Ж. Вандриес, А. Доза, Р. де ла Грассери<sup>23</sup> и многие другие лингвисты. Об одной из книг, издание которой явилось большим событием в языкознании своего времени, Г. Хёнигсвальд замечает: «Классическая работа Граммона „*Traité de phonétique*“ (в которой, между прочим, можно видеть предвосхищение многих структурных работ) посвящена именно универсальным законам звуковых изменений»<sup>24</sup>.

В работах А. Шлейхера, Г. Курциуса, М. Граммона, А. Доза, А. Мейе, Ж. Вандриеса, Р. де ла Грассери, Р. Готьё, Ф. Е. Корша, М. М. Покровского, О. Есперсена и др. можно найти большое количество примеров, иллюстрирующих различные диахронические универсалии: гласные неударных слогов стремятся к ослаблению; в интервокальном положении смычные часто превращаются в фрикативные; согласные в конце слова оглушаются; веллярное *l* часто изменяется в *ʌ* или *ɥ* (П. Пасси); конец слова во многих языках подвержен разрушению (Г. Готьё); аспирированные смычные исторически являются неустойчивыми; гласные под ударением стремятся к дифтонгизации; интервокальная позиция может вызы-

<sup>17</sup> A. Schleich er, Sprachvergleichende Untersuchungen. I. — Zur vergleichenden Sprachgeschichte, Bonn, 1848, стр. 3, 34, 26.

<sup>18</sup> A. Schleich er, указ. соч., стр. 119.

<sup>19</sup> G. Curtius, Grundzüge der griechischen Etymologie, Leipzig, 1869, стр. 81.

<sup>20</sup> Ф. Корш, Способы относительного подчинения. Глава из сравнительного синтаксиса, М., 1877, стр. 10, 5.

<sup>21</sup> P. Passy, Étude sur les changements phonétiques et leurs caractères généraux, Paris, 1891, стр. 8.

<sup>22</sup> А. Мартине, Принципы экономии в фонетических изменениях, М., 1960, стр. 64.

<sup>23</sup> А. Мейе, Сравнительный метод в истории языков, М., 1954, стр. 74—75; Ж. Вандриес, Язык, М., 1937, стр. 66; A. Dauzat, La vie du langage, Paris, 1922, стр. 60; R. de la Grasserie, Essai de phonétique générale, Paris, 1890, стр. 2.

<sup>24</sup> Г. Хёнигсвальд, указ. соч., стр. 79.

вать озвончение согласных (М. Граммон); *s* часто превращается в *h*, но не наоборот; придыхательные обнаруживают тенденцию к превращению в спиранты (Ж. Вандриес); перфект часто превращается в простой претерит (А. Мейе); при сравнении часто употребляются аблативные конструкции (Ф. Е. Корш); причастие настоящего времени действительного залога часто превращается в *nomem agentis* (М. М. Покровский); слова со сходным значением имеют сходную семантическую историю, и т. д. Это были не «мифологические», а действительно универсалии, не утратившие своей познавательной ценности и в настоящее время.

Следует также отметить, что все сколько-нибудь значительные открытия в индоевропеистике фактически основывались на использовании диахронических универсалий. Долгое время предполагали, что в индоевропейском было только три гласных — *a*, *i* и *u*, и только наблюдение над поведением *k* перед гласным *a* в санскрите, выступающего в разных словах то в виде *ç*, то в виде *k*, при сравнении с соответствующими словами других индоевропейских языков навело на мысль, что *ç* могло возникнуть в положении перед *e*, некогда существовавшим в санскрите. Можно ли было установить это, не зная, что *k* перед *e* может превратиться в *ç*? К. Вернер не смог бы сформулировать своего закона, если бы он не знал тенденции к озвончению интервокальных смычных. Нарушение этой универсалии в таких словах, как готск. *broþar* «брат», заставило К. Вернера искать причину аномалии, которой оказалось наличие ударения на предшествующем гласном — именно это воспрепятствовало озвончению интервокального согласного (ср. др.-инд. *bhrāta*).

Не чуждо было компаративистам и понятие импликационных универсалий. Уже первые попытки морфологической классификации языков содержали импликации типа: «Если язык является корнеизолирующим, то в нем нет морфологически оформленных частей речи». Китаисты давно заметили зависимость в китайском языке между небольшим количеством типов слогов и развитием тонов как средства дифференциации слогов (в современном китайском национальном языке имеется 414 разных слогов, а с учетом тонов 1324). П. Пасси установил взаимосвязь между длиной гласного и его закрытостью, между тем как краткие гласные чаще всего бывают открытыми<sup>25</sup>. Г. Свит связывал сопротивление английского языка сандхи с краткостью английских слов<sup>26</sup>. Г. Ципф подметил зависимость между количеством аффиксов и количеством различных глагольных корней<sup>27</sup>, а Ж. Вандриес — зависимость между количеством аффиксов и развитием чередования гласных<sup>28</sup>. В. Шмидт сообщил о закономерной связи постпозиции родительного падежа с наличием в языке префиксов и предлогов<sup>29</sup>. Все эти замечания можно было бы облечь в формулы, выражающие импликационные универсалии, например: «Если язык обладает небольшим количеством типов слогов, то в нем часто развиваются тоны» (как средство увеличения смысловозначительных возможностей языка), «Если в языке обычны короткие слова, то в нем нет сандхи» и т. п.

Можно быть несогласным с теорией стадияльного развития языков, разработавшейся в свое время Н. Я. Марром и его школой, но нельзя не признать, что поиски реликтов стадий в разных языках, особенно в области синтаксиса, фактически представляли собой поиски универсалий (работы И. И. Мещанинова).

<sup>25</sup> P. P a s s y, указ соч., стр. 132.

<sup>26</sup> H. S w e e t, The sounds of English, Oxford, 1929, стр. 59.

<sup>27</sup> G. K. Z i p f, The psycho-biology of language, Boston, 1935, стр. 382.

<sup>28</sup> Ж. В а н д р и е с, указ. соч., стр. 83.

<sup>29</sup> W. S c h m i d t, Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde, Heidelberg, 1926, стр. 382.

Таким образом, поиски универсалий в современном языкознании исторически продолжают линию, начатую А. Шлейхером, и современные теории универсалий начали свою деятельность отнюдь не на пустом месте. Отмечая, в частности, что «...синтагматический аспект языка являет собой сложную иерархию непосредственных и опосредствованных составляющих, точно так же и аранжировка элементов в парадигматическом аспекте характеризуется сложной многоступенчатой стратификацией», Р. О. Якобсон заявляет далее: «Типологическое сравнение различных языковых систем должно учитывать эту иерархию. Любой произвол, любое отклонение от данного и реально прослеживаемого порядка делает типологическую классификацию бесплодной»<sup>30</sup>. Тем не менее в формулируемых современными исследователями универсалиях такого учета нет.

Многие универсалии, предлагаемые Дж. Гринбергом, представляют характеристики некоторых явлений, практически давно известных лингвистам. «Насколько мне известно, — замечает Р. О. Якобсон, — нет ни одного языка, где бы к паре /t/ — /d/ добавлялся звонкий придыхательный /d<sup>h</sup>/, но отсутствовало бы его глухое соответствие /t<sup>h</sup>/, в то время как /t/, /d/ и /t<sup>h</sup>/ часто встречаются без сравнительно редкого /d<sup>h</sup>/ ... следовательно, теории, оперирующие тремя фонемами /t/, /d/, /d<sup>h</sup>/ в протоиндоевропейском языке, должны пересмотреть вопрос об их фонематической сущности»<sup>31</sup>. В этой рекомендации по существу нет ничего нового. Стремление к распространению специфической артикуляции на ряд звуков и к созданию симметрии по принципу звонкости — глухости было хорошо известно компаративистам (ср., например, гипотезу о трех рядах гуттуральных в индоевропейском праязыке).

**3. О природе универсалий.** Существование в языках мира одинаковых или сходных явлений свидетельствует о том, что в самих языках существуют факторы, способствующие возникновению подобных явлений. Например, универсалия: «Если язык исключительно суффиксальный, то это язык с послелогоми; если язык исключительно префиксальный, то это язык с предлогами»<sup>32</sup> может быть объяснена особенностями морфологического строя языков. Послелогичность в агглютинативных языках обычно возникает на основе сочетания двух имен существительных, например «гора + верх» > «гора на» = «на горе». Наименование же целого в языках этого типа всегда предшествует названию его части, поэтому слова, используемые для обозначения локальных отношений, не могут выступать в роли префиксов. В языках исключительно префиксальных употребление послелогов явилось бы нарушением определенного языкового режима, выражающегося в обязательной препозиции всех служебных слов или элементов, в той или иной мере уточняющих значение корней слов.

Универсалия: «...нейтрализация имеет место обычно в конечной позиции и никогда — в интервокальной позиции»<sup>33</sup> объясняется тем, что внутри слова могут действовать условия, препятствующие нейтрализации, например оглушению согласных. Кроме того, начало слова всегда несет большую информацию, поэтому оно значительно реже подвергается фонетическим изменениям, чем конец слова. Известное наблюдение о возможности перехода фонемы *s* в фонему *h* (но не наоборот) допускает следующее объяснение: *h* совершенно утрачивает все точки опоры для обратного перехода в *s*, чего при известных условиях не происходит с *s*. Наблюдающиеся

<sup>30</sup> Р. О. Якобсон, указ. соч., стр. 98.

<sup>31</sup> Там же, стр. 103.

<sup>32</sup> Дж. Гринберг, указ. соч., стр. 137.

<sup>33</sup> Ч. Фергусон, Допущения относительно носовых: к вопросу о фонологических универсалиях, НЛ, V, стр. 107.

в истории многих языков мира озвончение интервокальных смычных согласных объясняется ассимиляторным воздействием окружающих гласных и стремлением к облегчению произношения путем ослабления смычки. Словом, каждая универсалия имеет языковую причину, объясняющую ее существование.

Современные теоретики универсалий видят в обнаруженных универсалиях подтверждение тезису: «Несмотря на существование бесконечного множества различий, все языки построены по одной и той же модели»<sup>34</sup>. При этом как на основоположника этой идеи ссылаются на Р. Бэкона, который писал: «Грамматика одна и та же, она соответствует субстанции каждого языка и, следовательно, должна меняться от случая к случаю»<sup>35</sup>.

В действительности между идеей Р. Бэкона, как и вообще всех последующих теоретиков универсальной грамматики, и причинами, лежащими в основе лингвистических универсалий, нет абсолютно никакой логической связи. Первоначально универсальная грамматика связывалась с универсальными семантическими категориями, лежащими в основе каждого человеческого языка. По своему внутреннему содержанию тезис Р. Бэкона ближе к современному тезису о единстве логического мышления у народов, говорящих на разных языках. Для объяснения универсалий более подходит теоретический принцип, сформулированный в свое время В. Д. Уитнеем: «Одинаковые причины вызывают одинаковые явления (букв.: „действия“) — такова аксиома языкознания и естествознания»<sup>36</sup>.

Возвращаясь к тезису: «Несмотря на существование бесконечного множества различий, все языки построены по одной и той же модели», мы не можем не согласиться с Т. С. Шараденидзе, признающей невозможность создания единой типологической модели всех языков мира, поскольку разные критерии создают очень большое количество перекрещивающихся типологических классификаций<sup>37</sup>.

**4. О некоторых недостатках современных методов выявления лингвистических универсалий.** а) *Априоризм*. Языковеды прошлого устанавливали диахронические и импликационные универсалии эмпирически, фиксируя их заметно высокую степень частотности или явную имплицативную связь между языковыми явлениями. Современные теоретики универсалий пытаются создать теорию лингвистических универсалий и особые методы их выявления.

Анализ причин, лежащих в основе лингвистических универсалий, приводит к выводу, что эти причины можно выявить, применяя самые обычные, традиционные методы исследования. Количество кардинальных проблем, решение которых необходимо для успешных поисков универсалий, также невелико. Необходимым признаком каждой универсалии является показательная частотность изоморфных явлений. Не менее важно установление имплицативной связи между явлениями, и, наконец, еще одна проблема состоит в обнаружении причин существования выявленной универсалии. По нашему глубокому убеждению, созданию особой методики выявления универсалий должна предшествовать огромная черновая

<sup>34</sup> Р. Якобсон, Значение лингвистических универсалий для языкознания, в кн.: В. А. Звегинцев, История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях, ч. 2, М., 1965, стр. 383.

<sup>35</sup> Цит. по кн.: В. А. Звегинцев, История языкознания XIX—XX веков ..., стр. 384.

<sup>36</sup> W. D. Whitney, Die Sprachwissenschaft (W. D. Whitney's Vorlesungen über die Principien der vergleichenden Sprachforschung für das deutsche Publikum), Bearb. und erw. von J. Jolly, München, 1874, стр. 269.

<sup>37</sup> См.: Т. С. Шараденидзе, Language typology, synchrony and diachrony, в сб. «Theoretical problems of typology and the Northern Eurasian languages», Budapest, 1970, стр. 36.

работа в этой области, которую, основываясь на указанных трех принципах, следует произвести во всех сколько-нибудь известных языках мира. Только в процессе этой черновой работы может появиться необходимость в особых, специфических методах, которые со временем могли бы быть облечены в стройную теорию. В настоящее время не сделано и сотой доли того, что вообще предстоит сделать в этой области. Однако современные теории универсалий априорно уже определили, каким должен быть этот метод, рекомендуя начинать с установления подлинно научной типологии языков. Метод определения языковых типов при этом должен напоминать препарацию живых языков для целей машинного перевода. Для этого прежде всего следует установить язык-эталон, от которого отталкиваются при описании и характеристике различных языков. «Если имеется язык-эталон и известны правила перехода (соответствия) от него к характеризуемым языкам, то мы можем однозначно и последовательно описывать и характеризовать эти языки через данный язык-эталон»<sup>38</sup>. Недаром одной из самых главных задач типологической классификации считается создание наиболее экономного способа кодирования информации о структуре языков мира<sup>39</sup>. Таким образом, язык-эталон оказывается метаязыком по отношению к другим (характеризуемым) языкам: «...оптимальным языком-эталонem при типологическом сравнении окажется дедуктивно выведенный язык, имплицитно использующийся при данном сравнении...»<sup>40</sup>. Разумеется, такой метаязык будет очищен от всего избыточного и противоречивого. Словом, это некий аналог языка-посредника при машинном переводе, метаязыка перевода, выступающего как промежуточная система, через сравнение с которым анализируются и описываются переводимые языки.

Язык-эталон при типологических исследованиях, как и метаязык перевода, должен обладать целой системой средств, он должен иметь и «трансформации перехода от языка-эталона к конкретным языкам»<sup>41</sup>, и отбор существенных для типологического сравнения признаков, и систему допущений, особую классификацию элементов языка и многое другое, необходимое для метаязыка. Неясным остается только одно: как он будет работать, насколько достаточна будет система отправных пунктов, представленная в таком искусственно созданном метаязыке, и каким образом при помощи этого языка будут типологически изучаться языки, являющие собой смешанные типы? Будет ли такой метод способствовать решению тех кардинальных проблем, о которых упоминалось выше?

Заранее можно сказать, что на эти вопросы не будет получено удовлетворительного ответа до тех пор, пока метаязык, эта своеобразная машина, выявляющая языковые типы, не разделит все языки и языковые явления на безукоризненные с точки зрения современной структурной лингвистики типы.

Совершенно очевидно, что в основе всех вышеохарактеризованных методических рекомендаций лежит не опыт поисков универсалий, но априорное стремление верифицировать истинность любого явления, истинность любого лингвистического суждения путем применения так называемого логического метаязыка. В этих рекомендациях отразился типичный для современного структурализма принцип рассматривать живые языки сквозь призму специально препарированного и предельно формализованного искусственного языка или кода.

<sup>38</sup> Б. А. Успенский, Структурная типология языков, М., 1965, стр. 58.

<sup>39</sup> См., например: там же, стр. 17.

<sup>40</sup> Там же, стр. 59.

<sup>41</sup> Там же, стр. 63.

б) *Пренебрежение к изучению причин лингвистических универсалий.* Многие современные исследователи ограничиваются только формулировками обнаруженных ими лингвистических универсалий, не вдаваясь в выяснение причин, обуславливающих их существование. Например, отмечается, что языки, различающие пары звонких — глухих, придыхательных — непридыхательных фонем, как правило, имеют также и фонему *h*. Однако при этом не объясняется, что обуславливает эту импликацию, почему *h* должна непременно существовать при указанных условиях. Правда, делается ссылка на то, что в тех группах индоевропейских языков, которые утратили архаичный *h*, не приобретаю нового, аспираты смешались с соответствующими непридыхательными взрывными: ср., например, утрату различия между придыхательными и непридыхательными в славянских, балтийских, кельтских и тохарских языках, с одной стороны, и неодинаковую судьбу этих двух рядов в греческом и армянском, индийских и германских языках, с другой. Во всех этих последних некоторые из ротовых фонем рано перешли в *h*<sup>42</sup>. Однако утверждение о паличии в индоевропейском праязыке *h* малоубедительно. Замечено, что в различных языках мира наблюдается тенденция к устранению придыхательных согласных как более труднопроизносимых. Устранение придыхательных в славянских и балтийских языках могло быть результатом действия этой тенденции, которая могла проявляться и при отсутствии в индоевропейском праязыке фонемы *h*. Кроме того, известно, что обычным путем эту фонему никому из индоевропейцев реконструировать не удалось.

Дж. Гринберг приводит универсалию: «Если в языке глагол следует за именным субъектом и именным объектом и такой порядок является доминирующим, то язык почти всегда имеет падежную систему»<sup>43</sup>, не вдаваясь в вопрос, чем обусловлено это явление. Между тем здесь может быть предложено следующее объяснение. Конечное положение глагола наиболее типично для языков агглютинативного строя, имеющих послелоги. Для языков с послелогоми смена синтетической падежной системы системой аналитических образований более затруднена, в частности, и потому, что послелоги сами часто принимают падежные окончания, тем самым поддерживая систему синтетических падежей.

Пренебрежение к объяснению причин универсалий может привести к формулировке ложных универсалий. Так, в основе универсалий: «Если глагол имеет категорию лица и числа или если он имеет категорию рода, то он обязательно должен иметь и категории времени и наклонения»<sup>44</sup>, — лежит как будто бы тривиальная истина: если в языке есть глагол, то у него должно быть минимально хотя бы два наклонения — изъявительное и повелительное. Чаще всего глагол имеет к тому же и категорию лица и числа. Однако между такими категориями, как лицо, число, род, время и наклонение, нет необходимой имплицативной связи. Наличие наклонения абсолютно никак не зависит от факта существования рода. Эти две категории друг друга не обуславливают. Касаясь другой универсалии: «Если язык имеет категорию рода, то он обязательно имеет и категорию числа»<sup>45</sup>, также нельзя найти никакой причинной связи между названными явлениями: наличие категории рода не обуславливает категорию числа.

Иногда утверждают, что понятие импликации не обязательно предполагает наличие причинной связи между двумя явлениями. Разберем один такой пример. Часто можно наблюдать, что в языках, имеющих сингармонизм (или гармонию гласных), глагол занимает конечную позицию

<sup>42</sup> См.: Р. Якобсон, Типологические исследования ..., стр. 103.

<sup>43</sup> Дж. Гринберг, Некоторые грамматические универсалии ..., стр. 162.

<sup>44</sup> Там же, стр. 138.

<sup>45</sup> Там же, стр. 140.

в предложении. Само собой разумеется, что ни сингармонизм не обуславливает конечную позицию глагола, ни конечная позиция глагола — сингармонизм. В конечном счете, однако, существование этих двух явлений объясняется некоторыми особенностями языков агглютинативного строя. Таким образом, грань между универсалией и случайностью устраняется только в том случае, когда универсалия получает причинное объяснение.

в) *Механицизм в формулировках импликационных универсалий*. Отдельные теоретики универсалий, формулируя импликационные универсалии, часто забывают, что устанавливаемая ими импликация, будучи действительной в одних языках, совершенно лишена действительности в других. Это касается, например, универсалии: «В языках с предлогами генитив почти всегда следует за управляющим существительным, тогда как в языках с послелогами он почти всегда предшествует ему»<sup>46</sup>.

В балтийских языках известны только предлоги (послелогов нет), но тем не менее родительный падеж обычно предшествует управляемому существительному. В чем причина этой аномалии? В языках агглютинативного типа, например, тюркских, препозиция родительного падежа находится в тесной причинной связи с особенностями агглютинативного строя этих языков и диктуется последовательно проводимым законом порядка слов «определение + определяемое». Послеложные конструкции изоморфны изафетным конструкциям — в них «определение» также предшествует «определяемому», ср. татар. *пролетариат диктатурасы* «диктатура пролетариата» и *таулар арасында* «среди гор» (букв.: «гор в промежутке»). В балтийских языках препозиция родительного падежа органически не связана со строем языка. Она возникла или под влиянием субстратных угро-финских языков или в результате механического обобщения отдельных случаев препозиции родительного падежа.

Имея в виду другую универсалию: «Если относительное предложение в каком-то языке предшествует имени существительному как единственная конструкция или альтернативная, то в таком случае или этот язык является языком с послелогами, или прилагательное в данном языке предшествует имени существительному, или то и другое вместе»<sup>47</sup>, — можно сослаться на целый ряд угро-финских языков, как, например, пермские, мордовский и прибалтийско-финские, в которых относительные предложения по европейскому образцу вводятся специальными относительными местоимениями и следуют за именем существительным, однако все эти языки имеют послелоги, а не предлоги. В чем здесь дело? Можно предполагать, что некогда в этих языках существовали причастные конструкции, семантические аналоги относительных придаточных предложений, которые действительно предшествовали имени существительному, как это имеет обычно место в агглютинативных языках. С течением времени под влиянием индоевропейских языков в этих языках возникли относительные придаточные предложения типа европейских, и имплицативная связь была нейтрализована. Теоретики универсалий обычно относят подобные языки к исключениям.

Отсюда следует вывод, что при формулировке импликационных универсалий необходимо особо указывать на условия, при которых данная импликация действует.

г) *Ограничение поисков универсалий синхроническим планом языка*. Преимущественное внимание структурной лингвистики к исследованиям в плане синхронии оказало влияние и на разработку проблемы универса-

<sup>46</sup> Там же, стр. 120.

<sup>47</sup> Там же, стр. 135.

лий. Диахронические универсалии изучаются слабо, несмотря на наличие солидного опыта, накопленного сравнительно-историческим языковедением. Этот опыт даже не обобщается. Около 95% установленных в последние годы универсалий относятся к плану синхронии. Уже указывалось, что эти универсалии представляют собой тривиальные заявления и дают очень мало информации о структурных особенностях языков мира<sup>48</sup>. По-видимому, возможности открытия новых универсалий в плане синхронной структуры языков не особенно велики, если учесть способ их изучения через призму некоего искусственного метаязыка.

**5. О значении универсалий для лингвистических исследований.** Теоретики универсалий обычно очень высоко оценивают значение типологических методов, оперирующих универсалиями: «...зная типологические соотношения, исследователь по некоторым закономерностям может восстановить целую систему»<sup>49</sup>. Точно такого же мнения придерживается Ю. С. Степанов, который сравнивает метод установления импликационных универсалий с методом известного французского естествоиспытателя Ж. Кювье. Кювье рассматривал организм как замкнутую систему, основанную на законе соотношения (корреляции) органов. Согласно этому закону, каждая часть организма соответствует другим его частям в отношении своего строения и функций, и по наличию одного из признаков можно безошибочно заключить о наличии другого. Основные положения Кювье, устанавливающие общность и взаимозависимость органов в едином целом — организме, имеют одну логическую структуру, называемую импликацией. То, как ставится вопрос об универсалиях в современном языковедении, очень напоминает импликации Ж. Кювье<sup>50</sup>.

Следует, однако, отметить, что между импликациями, установленными Кювье, и лингвистическими импликациями при всем их несомненном сходстве существуют и значительные различия. Импликации, установленные для животного мира, в значительно большей степени взаимообусловлены и в большей степени устойчивы во времени. Лингвистические импликации менее взаимообусловлены и в большей степени изменчивы. Так, животное, обладающее режущими зубами, обязательно хищное. Трудно представить себе зубную систему хищника, которая наряду с клыками содержала бы коренные растирающие зубы, — такое животное, вероятнее всего, очень скоро погибло бы. В языках же возможно смешение различных типологических признаков. Если установить импликативные связи всех наиболее характерных типологических признаков агглютинативного строя языков и сделать затем определенные логические выводы, то придется признать, что в агглютинативных языках не должно быть таких явлений, как префиксы, сильное развитие дифтонгов, чередование гласных, предлоги, развитая система союзов, свободный порядок слов, придаточные предложения индоевропейского типа и т. д. Однако можно привести целый ряд фактов, которые плохо вяжутся с таким заключением. Например, в саамском языке довольно сильно развит аблаут; в венгерском, эстонском и мансийском имеются глагольные приставки; в финском языке очень сильно развиты дифтонги; в гагаузском языке глагол может занимать в предложении начальное положение; в прибалтийско-финских, пермских и мордовском языках имеются придаточные предложения европейского типа и довольно развитая система союзов, и т. д.

Контактирование языков различных морфологических типов часто приводит к смешению различных типологических признаков. Вряд ли

<sup>48</sup> Т. S. S h a r a d z e n i d z e, указ. соч., стр. 35.

<sup>49</sup> См., например, Б. А. У с п е н с к и й, Структурная типология языков, стр. 18.

<sup>50</sup> См.: Ю. С. С т е п а н о в, Основы языковедения, М., 1966, стр. 134, 135.

кто из современных семитологов будет отрицать общность происхождения амхарского, арабского, сирийского, древнееврейского и финикийского языков. Между тем современный амхарский язык, испытавший сильное влияние кушитских языков, имеет такие типологические черты, которые имплицативно никак не сочетаются с типологическими особенностями языков чистого семитского типа: «В результате взаимодействия амхарского языка с кушитскими в нем произошли значительные изменения. Для фонетического строя стало характерным обилие переднеязычных; вследствие исчезновения ларингальных большое количество трехсогласных корней превратилось в двухсогласные. В морфологии, помимо увеличения числа сложных глагольных форм с участием вспомогательных глаголов, произошли изменения в словопроизводстве: словопроизводство путем внутренней флексии, типичное для семитских языков, занимает второстепенное место, уступая чисто суффиксальному способу словообразования. Очевидно, в амхарском языке отмирает грамматический род, однако этот процесс еще не закончился. Образование множественного числа производится часто агглютинативным способом — присоединением к корню слова определенного суффикса, в то время как для других семитских языков (например, эфиопского, арабского, древнееврейского) характерно внутрифлективное образование множественного числа. Наиболее радикальные изменения произошли в области синтаксиса и лексики. В синтаксисе амхарского языка по сравнению с классическими семитскими языками полностью изменился порядок слов: все дополняющее ставится перед дополняемым; глагол (сказуемое) находится в конце предложения, придаточное предложение находится перед главным»<sup>51</sup>.

Подобное смешение типологических признаков облегчается тем, что возможность выражения определенных значений в языке является несравненно более важной, чем форма выражения того или иного значения. В финском языке, для которого характерны послелогои, наряду с ними существуют и предлоги (например: *ennen häntä* «раньше его», *ilman tätä* «без этого», *paitsi vinaa* «кроме водки» и т. д.). Появление предлогов не нанесло, однако, абсолютно никакого ущерба системе коммуникативных средств финского языка, поскольку предлоги так же хорошо выражают те функции, которые в агглютинативных языках обычно выражаются послелогоми.

«В результате типологических исследований, — заявляет Б. А. Успенский, — мы можем говорить о каких-то чертах, которые присутствуют во всех языках или, напротив, вообще не могут встречаться в языке...»<sup>52</sup>. Этот тезис применим, в основном, к языкам, представляющим чистые типы, но он мало пригоден для языков смешанного типа, поскольку в языках смешанного типа многие имплицативные связи нейтрализуются. Крайне затруднено установление универсалий в области лексики. Кроме того, применение метода универсалий имеет определенные ограничения. Между тем, при помощи импликационных универсалий можно, например, установить, что уральский праязык был агглютинативным, но невозможно, в частности, определить, сколько в нем было глагольных времен или местных падежей.

Имея в виду вышесказанное, все же нужно признать ту значительную пользу, которую могут принести универсалии для сравнительно-исторических исследований. В ряде случаев универсалии дают возможность установить, насколько правомерны выдвигаемые гипотезы. Среди тюркологов существует давний спор о том, является ли чувашск. *г*, соответствующий

<sup>51</sup> Н. В. Юшманов, Амхарский язык, М., 1959, стр. 9.

<sup>52</sup> Б. А. Успенский, Структурная типология, стр. 10—11.

звучу *z* в других тюркских языках, первичным или вторичным. По нашему мнению, правы те тюркологи, которые считают первичным *z*: так называемый ротацизм *z* встречается в истории различных языков сравнительно часто, тогда как случаи обратного перехода или крайне редки, или вообще невозможны. А. М. Шербак предполагает, что в тюркском праязыке некогда существовал глухой межзубный спирант  $\theta$ , который в отдельных тюркских языках мог превращаться в  $d'$ ,  $\zeta$ ,  $\dot{\zeta}$ ,  $j$ ,  $\acute{s}$ ,  $s$ , ср. общетюрк.  $\theta\acute{o}q$  «нет», алт.  $d'oq$ , казах.  $\zeta oq$ , тув.  $\dot{\zeta} oq$ , туркм.  $j\acute{o}q$ , чуваш.  $\acute{s}uk$ , якут.  $si\acute{o}x$ <sup>53</sup>. Постулируемый переход, однако, не подтверждается диахронической универсалией. Более вероятна гипотеза, предполагающая в этих словах наличие начального  $j$ , который позднее в отдельных языках мог давать рефлекс типа  $\zeta$ ,  $d$  и их варианты  $\dot{\zeta}$  и  $\acute{s}$ . Превращение начального  $j$  в аффрикаты наблюдается в истории различных языков довольно часто.

Некоторые ученые выдвинули гипотезу о былом существовании в индоевропейских языках эргативного строя<sup>54</sup>. Неубедительность этой гипотезы может быть доказана тем, что для эпохи индоевропейского праязыка довольно хорошо реконструируется винительный падеж, который для эргативной конструкции не является типичным.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть развиваемую в начале данной статьи мысль о необходимости исключения абсолютно универсальных явлений в языке из определения лингвистических универсалий. Абсолютные универсальные свойства сами по себе еще не создают никакой типологии, поскольку само понятие всеобщей универсальности исключает понятие типовой вариативности. Так, утверждение: «Во всяком языке есть гласные и согласные» не позволяет выделить какие-либо типы. Даже закономерные способы выражения понятийных категорий в различных языках мира могут быть выявлены только путем изучения типологических импликационных универсалий. Лингвистические универсалии, выражающие «самые различные типы языкового единообразия», являются сугубо типологическими понятиями. Поэтому их изучение имеет большое теоретическое значение.

<sup>53</sup> А. М. Ш е р б а к, Сравнительная фонетика тюркских языков, Л., 1970, стр. 159.

<sup>54</sup> См., например: Х. К. У л е н б е к, Agents и Patients в падежной системе индоевропейских языков, сб. «Эргативная конструкция предложения», М., 1950.

## ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. И. ГЕОРГИЕВ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ «ДЕШИФРОВКИ»  
ЭТРУССКОГО ЯЗЫКА

## I. Проблема языка

В течение последних 200 лет многие ученые, а также большое число дилетантов пытались и продолжают пытаться «дешифровать» этрусский язык: почти ежегодно публикуются такие опыты, однако и по сей день никому не удалось разрешить «этрусскую загадку». Все эти попытки оказались бесплодными, так как они не опирались на подлинно научную основу.

Древность завещала нам три типа неразгаданных текстов: 1) тексты, письменность и язык которых непонятны; 2) тексты, которые можно читать (письменность их ясна), однако язык непонятен, 3) тексты, чья письменность непонятна, однако смысл текста до известной степени ясен. Этрусские тексты принадлежат ко второй категории, они написаны буквенным письмом, заимствованным из старинного греческого алфавита. Их письменность можно разобрать, однако язык остается непонятным.

Этрусский язык известен нам по десятку тысяч надписей, в большинстве своем совсем кратких, и по небольшой книге, написанной на льняном полотне (*liber linteus*). Самые древние надписи датируются VII в. до н. э., а позднейшие относятся к началу нашей эры. Их можно разделить на два периода: древнеэтрусский (VII—V вв.) и позднеэтрусский (III—I вв.).

Интерес к этрусскому языку возник в XVII в., даже ранее того. Но подлинно научное исследование вопросов этрусской эпиграфики и этрусского языка начинается с конца XVIII в. Большая заслуга в этом отношении принадлежит итальянским ученым Л. Ланци, А. Фабретти, Э. Латтесу, Ф. Рибеццо, А. Тромбетти, Дж. Буонамичи, Дж. Девото, М. Паллоттино и многим другим. Для итальянцев этрускология представляет важную национальную дисциплину. Ценный вклад в изучение этой проблемы внесли и ученые других национальностей — немцы В. Корссен, В. Дееке, К. Паули, Г. Гербиг, Ева Физель, Ф. Слотти, скандинавы К. Бугге, А. Торп, австриец Э. Феттер и др.

В итоге проведенных исследований был собран и систематизирован огромный материал. Установлены были значения некоторых слов, как например: *ais* «бог» (глосса), *apa* «папа, отец», *avil* «год», *aska* «ваза» (определенного вида), *ati* «мать», *capys* «сокол» (глосса), *ci* «3», *clan* «сын», *mut(a)na* «саркофаг», *nefts* «внук», *prumts* «правнук», *pui(a)* «супруга», *qutun* «ваза (определенного вида)», *spur* «город», *thesan* «аурога; Ауорога», *tin* «день; Юпитер», *tivr* «месяц, луна», *thi* «тут», *turce* «подарил», *usil* «солнце», *v(e)rtun* «ваза (определенного вида)» и др. Было установлено также значение некоторых грамматических элементов: *-s* окончание род. падежа, *-ti* — местн. падежа, *-ce* окончание 3-го лица ед. числа про-

шедшего времени, *mi, mini* «я, меня», *(e)sa, isa* «этот» и *(e)sn* вин. падеж, *(e)ta, ita* «этот» и *(e)tn* — вин. падеж, *an* «тот», *-c* «и», *-(u)nt* «но» и др.

При установлении значения слов использовались главным образом два метода — этимологический и комбинаторный. Сфера применения этих методов, однако, весьма ограничена. Они не могли привести к решению «этрусской загадки»<sup>1</sup>.

В этрускологии в сущности имеются две основные проблемы: дешифровка языка и происхождение этрусков. Эти проблемы взаимно обусловлены, ибо решение одной из них может дать ответ и на вторую. К сожалению, в Италии — центре этрускологии — эти две важнейшие проблемы оказались в тупике по причине того, что наиболее активные итальянские этрускологи стоят на позициях утверждения автохтонности этрусков и неиндоевропейского характера этрусского языка. Так, например, М. Паллоттино, один из самых известных итальянских этрускологов, на протяжении последних тридцати лет в нескольких книгах и многочисленных статьях отстаивает эту позицию, вопреки очевидности данных, представленных античными авторами, историей, археологией и языкознанием, которые недвусмысленно показывают, что этруски западноазиатского происхождения и состоят в самом тесном родстве с лидийцами.

С другой стороны, если еще тридцать лет назад можно было утверждать, что «этрусский язык неиндоевропейский, поскольку он родствен лидийскому», так как тогда считалось, что лидийский — неиндоевропейский язык, то ныне именно лидийский становится *tertium comparationis* при доказательстве хетто-лувийского происхождения этрусского языка. В наши дни не существует уже никаких сомнений в принадлежности лидийского языка к хетто-лувийской группе и в его тесном родстве с хеттским языком, доказанном итальянским хеттологом О. Карруба. Следовательно этрусский тоже принадлежит к хетто-лувийской группе и близок родствен хеттскому языку. Все это является фактом современного языкознания, который нельзя игнорировать. Существовавший когда-то пан-медитерранизм ныне окончательно преодолен.

\*

Для дешифровки<sup>2</sup> этрусского языка я применил новый, морфологический метод — метод морфологической модели или морфологической статистики. Общеизвестно, что слова легко переходят в качестве заимствований из одного языка в другой, однако грамматические элементы — падежные и глагольные окончания, местоимения и т. п. — трудно поддаются заимствованию. Морфология представляет собой наиболее характерную и устойчивую черту языковой структуры. В этом аспекте каждый язык отличается своими типичными особенностями, и лишь состоящие в очень тесном родстве языки могут иметь одинаковую морфологическую модель. Следовательно, наиболее веским и достоверным доказательством языкового родства являются грамматические соответствия, данные о генетической идентичности морфологии. Вот почему основоположник сравнительного языкознания

<sup>1</sup> Ср.: М. Pallottino, *L'ermeneutica etrusca tra due documenti chiave*, «Studi etruschi», XXXVI, 1969, стр. 79.

<sup>2</sup> Термин «дешифровка» употребляется обычно при разборе шифрованного текста или неизвестной письменности. Этот термин, однако, можно употребить и при установлении морфологической структуры незнакомого языка, поскольку принципы дешифровки одинаковы: статистика и комбинации.

Фр. Бопп, научно доказавший родство индоевропейских языков, использовал в качестве аргументов своей теории морфологию.

Для того чтобы дешифровать, т. е. понимать этрусский язык, необходимо, следовательно, установить его родственные связи с другими языками, т. е. обнаружить тот язык, к которому он ближе всего; а к этому можно прийти, лишь опираясь на анализ его морфологической структуры. Морфологические черты языка обычно сосредоточены в конце слов. Определение морфологической модели этрусского языка требует статистического исследования конца, т. е. окончаний этрусских слов. При таком исследовании следует учитывать в основном древнеэтрусские тексты. Как было уже сказано, этрусский язык известен нам на протяжении периода 7—8 вв. Любой язык изменяется во времени. Эти изменения могут затрагивать все параметры языковой структуры: фонетику (изменение или исчезновение какой-либо фонемы), лексику, синтаксис и т. д. Нетрудно заметить, что в поздних этрусских текстах замечаются изменения в языке при сравнении их с древнеэтрусскими текстами. Именно поэтому данные древнеэтрусских текстов представляют значительно большую важность для установления первоначального облика этрусского языка. Притом ныне существуют особобо благоприятные условия такого исследования, поскольку за последние годы были обнаружены и опубликованы многочисленные древнеэтрусские надписи.

## II. Морфологическая модель этрусского языка

Учитывая наиболее достоверные данные, установленные донныне на основании этимологического и комбинаторного методов, а также исследуя окончания слов главным образом в древнеэтрусских надписях, мы можем определить следующую морфологическую модель этрусского языка.

1. Группа существительных в этрусском языке оканчивается на *-a*, например: *apa* «папа, отец», *aska* «ваза (определенной формы)», *cela* «кладовая; могила», *lautniða* «liberta», *mut(a)na* «саркофаг», *papa* «дед», *ðahvna* (*ðafna*, *tafina*) «ваза (определенной формы)»; мужские личные имена: *Afuna*, *Murina*, *Papa*, *Peðna*, *Tetina*; женские личные имена: *Ram(a)ða*, *Ramida*, *Sedra*, *Θana*, *Vela*.

Эти существительные в род. падеже имеют окончание *-as* (*-as*), например: *Afunaś*, *Murinas*, *Papas*, *Peðnas*, *Tetinas*, *Ramidaś*, *Sedraś*, *Θanas*. Местн. падеж этой категории существительных оканчивается на *-ati* (*-adi*): *celati*, *mutniadi*, *paðanati* (от *paðana*).

2. Другая группа существительных оканчивается на *-i*, например: *ati* «мать», *laut(u)ni* «familiaris, libertus», *suti* (*suði*, *śuði*) «могила»; мужские личные имена: *Luci*, *Tarxi*, *Θefri*; женские личные имена: *Arnti* (*Arndi*), *Auli*, *Cai*, *Larði*, *Ledi*, *Uni* «Iuno», *Veti*, *Vipi*.

Эта категория существительных в род. падеже оканчивается на *-is*, *-ias* или *-aias* (редко), например: *atis*, *lautiniś*, *sutis*; *Tarxis*; *Arntiaś*, *Aulias*, *Caiaś*, *Larðias* и *Larðaias*, *Lediaś*, *Unias*, *Vetias*, *Vipias*. Они же имеют и другую форму на *-ia* или *-aia*, которую можно определить формой дат. падежа, например: *Arndia*, *Aulia*, *Caia*, *Larðia* и *Larðaia*, *Ledia*, *Vetia*, *Vipia*. В местн. падеже эти существительные оканчиваются на *-iti*, например: *suðiti*.

3. Третья группа существительных (главным образом имена лиц женского пола) оканчивается на *-ai*, переходящее в позднем этрусском в *-ei*, например: *Ceicnai* (*Ceicnei*), *Marcei*, *Nerinaï*, *Titei*, *Tutnai* (*Tutnei*), *Velxai*.

Эти имена в род. падеже имеют окончание *-ias* или *-aias*, например: *Marcias, Titias, Velxias* и *Velxaias (Velcaias)*. У них же отмечается форма на *-ia*, которую можно определить как форму дат. падежа, например: *Marcia, Titia, Velxia*.

4. Четвертая группа существительных оканчивается на *-u*, например: *atiu* «матушка» (уменьшительное от *ati* «мать»), *calu* «подземный мир; бог подземного мира», *krankru* «кошка», *leu* «лев», *mulu* «votum»; мужские личные имена: *Aulu, Cicu, Culsu, Haltu, Petru, Precu, Pumpu, Secu, Trefu*; женские личные имена: *Ravndu, Oanicu*.

В род. падеже эти существительные оканчиваются на *-us*, например: *calus; Cicus, Halius, Petrus, Precus, Pumpus; Ravndus*. У этой же категории встречается форма на *-va (-ua)*, которую можно определить формой дат. падежа, например: *Haltva, Pumpva*.

5. Пятая группа существительных оканчивается на согласный, например: *ais* «бог», *avil* «год», *clan* «сын», *laut(u)n* «familia, gens», *qutun* «ваза (определенной формы)», *sex (sec, sex, sec)* «дочь», *desan* «аурога, Ауорога», *tin* «день; Зевс»; личные мужские имена: *Aranθ, Arunθ, Laris, Larθ, Vel, Veldur, Venel*; патронимические имена: *Velednal, Vestrecnal*; женские личные имена: *Θanaxvil, Turan* «Венера»; *Unial* «Iunonalis, -le».

В древнеэтрасском эти имена оканчиваются в род. падеже на *-as* (синкопировавшемся в позднем этрасском в *-s*), например, *Tinas (>Tins); Larθas; Velednalas*. Те же имена имеют форму на *-a* или *-ia*, определяемую как дат. падеж, например: *Larisa, Larθa* и *Larθia, Tina* и *Tinia, Veldura, Venala; Vesiricinala*. Встречается также форма с окончанием *-e*: ее можно считать инструменталисом, например *Arvnθe*. В местн. падеже рассматриваемые имена оканчиваются на *-ti- -θ(i)*, например: *Tarxnal-θ(i)* «Tarquiniis», *Unialti- Unialθ(i), Velclθi* «Volciis».

Вполне надежных номинальных форм, которые были приведены здесь, достаточно для характеристики существенных черт этрасской морфологической модели. Устанавливается морфологическая модель этрасского языка (табл. 1), которая генетически точно соответствует хеттской морфологической модели (табл. 2).

Таблица 1

Падежи	Этрасские склонения (основы)				
Им.	<i>-a</i>	<i>-i</i>	<i>-ai</i>	<i>-u</i>	конс.
Род.	<i>-as</i>	<i>-is, -ias, -aias</i>	<i>-ias, -aias</i>	<i>-us</i>	<i>-as</i>
Дат.		<i>-ia, -aia</i>	<i>-ia</i>	<i>-ua(-va)</i>	<i>-a</i>
Инстр.					<i>-e</i>
Местн.	<i>-ati</i>	<i>-iti</i>			<i>-ti</i>

Таблица 2

Падежи	Хеттские склонения (основы)				
Им.	<i>-as, -an</i>	<i>-is, -i</i>	<i>-ais, -ai</i>	<i>-us, -u</i>	конс.
Род.	<i>-as</i>	<i>-iyas, -ayas</i>	<i>-iyas, -ayas</i>	<i>-uvas &gt; -us</i>	<i>-as</i>
Дат.-местн.	<i>-a (-i)</i>	<i>-iya, -aya</i>	<i>-iya, -aya</i>	<i>-uva (-i)</i>	<i>-a (-i)</i>
Инстр.	<i>-et</i>	<i>(-it)</i>	<i>(-it)</i>	<i>-et</i>	<i>-et</i>
Местн.	<i>-ati (?)</i>	<i>-iti</i>			

Таблица 3

Таблица 4

Этрусский	Хеттский
<i>mi</i> «ego, mihi, me»	<i>ammuk</i> , - <i>mi</i> , - <i>mi</i>
<i>ca</i> «hic, haec»	<i>kaas</i>
<i>ci</i> «hoc»	<i>kii</i>
<i>cn</i> «hunc, hanc»	<i>kuun</i>
<i>c(e)l</i> «huius»	<i>ke(e)l</i>
<i>c(e)š</i> «hōc» (абл.)	<i>keez</i>
<i>clŋi</i> <sup>1</sup> «in hōc» (лок.)	<i>keeti</i>
<i>an</i> «ille»	<i>anni-s</i>

Хеттский	Этрусский
<i>a, e, i, u</i>	<i>a, e, i, u</i>
<i>l, m, n, r</i>	<i>l, m, n, r</i>
<i>y</i>	<i>i(0)</i>
> <i>i(e)</i>	<i>i(i) a &gt; i(e)</i>
	<i>v</i>
( <i>u</i> ) <i>wa</i> > ( <i>ue</i> ) <i>u</i>	( <i>u</i> ) <i>va</i> > ( <i>ue</i> ) <i>u</i>
<i>h(h<sub>2</sub>)</i>	<i>x/c(h/0)</i>
<i>k(g)</i>	<i>c(k)/x</i>
<i>p(b)</i>	<i>p/f(φ)</i>
<i>t</i>	<i>t/θ</i>
<i>s</i>	<i>s(š, z)</i>
<i>z</i>	<i>z/š(s)</i>
<i>ks</i>	<i>z</i>
<i>kt, pt, st</i>	<i>θ/t</i>
<i>ld</i>	<i>l</i> (как в латинском)
<i>sk</i>	<i>š(s)/z</i>
<i>sh</i>	<i>š(s)</i>
<i>tr</i>	<i>x/c</i>
<i>tw</i>	<i>z(v), š(s)</i>

<sup>1</sup> *cl*, как в *cel* (ср. хет. *apell-az*, «eo, ea» — (абл.) вместо *apeez c l*, как в *apeel «eius»* (род. пад.).]

То же можно сказать и о прономинальных формах. Вполне точно установлены следующие этрусские прономинальные формы, имеющие полное соответствие в хеттском языке (табл. 3).

Причина незначительных различий кроется в некоторых фонетических изменениях, происшедших на протяжении истории этрусского языка, а именно: конечные *-s*, *-n* в им. (и вин.) падеже исчезли, как в старолатинском; вин. падеж принял на себя функцию им. падежа, как это часто отмечается в хеттском; *i(y)a* и *u(w)a* обычно контрагируются в *i* и *u*, как это нередко отмечается и в хеттском; конечное *-t* исчезло.

\*

Генетическая идентичность морфологических моделей этрусского и хеттского языков показывает, что эти языки весьма тесно родственны между собой: это два диалекта (восточный и западный) одного языка.

Такое заключение, сделанное на основе генетической идентичности морфологических моделей, находит подтверждение в следующем факте. Древние историки сообщают, что этруски переселились в Италию из Малой Азии и что этруски и лидийцы — одного и того же происхождения. Издавна известно, что в этрусском и лидийском языках встречаются очевидные общие черты. С другой стороны, лидийский принадлежит к хетто-лувийской группе индоевропейского языкового семейства, а совсем недавно было установлено, что лидийский состоит в теснейшем родстве с хеттским. Следовательно, этрусский язык также должен быть близко родственен хеттскому. Таким образом, цепь научных доказательств получает обратную связь и тезис можно считать окончательно доказанным.

Мы располагаем весьма скудными данными о лидийском языке, однако хеттский язык хорошо известен. Итак, по двум линиям — при помощи морфологической модели и на основании историко-лингвистических данных — устанавливается, что разгадка понимания этрусского языка кроется в хеттском языке.

На этом пути, однако, возникает известная трудность. Позднейшие письменные памятники хеттского языка восходят к концу XIII в. до н. э., а древнейшие этрусские надписи относятся к началу VII в. до н. э., т. е. между позднейшей фазой хеттского и древнейшей этрусского появляется лакуна в 5 веков. Поскольку с течением времени языки изменяются, то этрусский VII в. не может быть абсолютно идентичен хеттскому XIII в. до н. э.

Не следует забывать, однако, что происходящие в языках изменения отнюдь не случайны и не хаотичны: они подчиняются точно определенным законам. Исходя из этого положения, на основе сравнительно-исторического метода устанавливается модель фонематических соответствий, показывающая, что этрусский представляет собой дальнейшее развитие (западно)хеттского языка. Таким образом, разрыв в 5 веков ликвидируется и упомянутая лакуна заполняется. Лишь теперь этрусские документы можно понимать и переводить при помощи грамматики и словаря хеттского языка. Этрусский язык уже дешифрован.

Выше была приведена сопоставительная таблица хеттско-этрусских фонематических соответствий (табл. 4).

### III. Определение значения морфем

Как было показано выше, исследование окончания слов приводит к выделению грамматических морфем этрусского языка. Однако этого еще недостаточно. Далее следует определить функцию этих морфем. Ниже приводятся несколько конкретных примеров, способных иллюстрировать применение морфологического метода. По своему существу — это комплексный метод, в котором морфологические данные дополняются комбинаторными приемами и этимологическими соображениями.

В древнеэтрусских текстах имя верховного божества этрусов (=греч. Зевс, лат. Юпитер) появляется в четырех формах: *Tin* (TLE 269)<sup>3</sup>, *Tinas* (TLE 156, 873), *Tina* (TLE 506, 878) и *Tinia* (TLE 277) = *Tinia* (SE<sup>4</sup>, XXXVI, 254). Эти различные формы одного имени несомненно являются падежными формами.

Форма *Tin* встречается еще два раза в более позднем тексте (TLE 719), представляющем собой перечень (список) божеств: следовательно, это форма им. падежа, поскольку при перечислении имени цитируются в основной форме, т. е. в им. падеже.

Форма *Tinas* встречается в синтагме *Tinas-cliniaras* (TLE 156) «сыновья Тина», являющейся калькой греческого *Διός-κωροί* «сыновья (дети) Зевса». Поскольку *Διός* — род. падеж (от *Ζεύς*), то, следовательно, и форма *Tinas* должна представлять собой также род. падеж соответственно от *Tin*. Итак *-as* является древнеэтрусским окончанием род. падежа, идентичным хеттскому окончанию род. падежа *-as*.

В поздних этрусских надписях встречается форма *Tins* (TLE 359, 719) = *Tins*, *Tins* (TLE 657, M — текст на бинтах мумии), появляющаяся также как первая составная часть двусосновного личного имени *Tinscvil* (TLE 205, 206, 258, 753) = *Tinscvil* (TLE 643, 644, 663). В поздних этрусских текстах наблюдаются частые случаи выпадения (синкопирования

<sup>3</sup> TLE = M. Pallottino, *Testimonia linguae etruscae*, Firenze, 1968. В этом издании собраны наиболее важные этрусские надписи.

<sup>4</sup> SE = «Studi etruschi», этрускологический журнал, издаваемый во Флоренции.

или апокопирования) гласных. Следовательно, позднеэтрусская форма *Tinś* является формой синкопированной, восходящей к древнеэтрусскому *Tinas*. Здесь имеется синкопа краткого безударного гласного, подобная оскскому, ср. *humins* = лат. *homines*; *hürz* = лат. *hortus* и под.

Некоторые этрускологи предполагают форму *Tinś* в одном из древнеэтрусских текстов (TLE 290 от VI в.), написанном в виде *scriptio continua*. Однако этот текст следует читать: *stasinu hermatins...* = Στασίνοϛ Ἡρματίονοϛ... Таким образом, здесь и речи быть не может о форме *Tinś*, а просто представлены два имени греческого происхождения. В этрусских текстах весьма часто встречаются греческие личные имена.

Формы *Tina* и чаще *Tinia* встречаются как в древнеэтрусских, так и в более поздних текстах. *Tina* и *Tinia* появляются почти исключительно в в о т и в н ы х н а д п и с я х, в которых упоминается о посвящениях богу Тину. Следовательно, *Tina* и *Tinia* являются формами д а т. п а д е ж а *Tin*. Таким образом, этрусское окончание *-a* принадлежит дат. падежу; оно идентично хеттскому окончанию дат. падежа *-a*. Окончание же *-ia* = хет. *-iya* представляет собой то же окончание имен с основой на *-i-*, перенесенное на консонантные основы. В хеттском часто наблюдается колебание между основами на согласный, на *-i-* и на *-a-*. Подобное колебание между основами на согласный и на *-i-* хорошо известно в латинском языке, ср. род. падеж мн. числа *parent-i-um* = *parentum*.

Итак, этрусское склонение (им. *Tin*, род. *Tin-as*, дат. *Tin-a* или *Tin-i-a*) представляет собой типичное хеттское склонение.

Однако М. Паллоттино и М. Кристофани утверждают, что форма *Tinia* должна представлять собой номинатив, а отнюдь не датив, поскольку она встречается над фигурой Зевса-Юпитера, изображенной на этрусских зеркалах: обозначения же божеств на подобных изображениях якобы должны быть всегда в номинативной форме<sup>5</sup>.

Подробное изучение дало следующую картину<sup>6</sup>. Форма *Tina* встречается на одном из зеркал (LXVI), а *Tinia* — на 12 зеркалах (LXXIV, LXXV, LXXXII, CLXXXI, CCLXXII, CCLXXIV, 1, 2, CCCXLVI, CCCXCVI, V 1, V 6, V 59). На всех этих зеркалах фигура Зевса-Юпитера находится в центре; ее окружают изображения других божеств (от двух до четырех), лица которых обращены к Зевсу-Юпитеру, причем одно из божеств всегда либо дает что-то Зевсу-Юпитеру, либо говорит что-то Зевсу-Юпитеру, либо представляет другое божество Зевсу-Юпитеру, т. е. имя Зевса-Юпитера во всех случаях должно стоять в дат. падеже. Это наиболее ясно подтверждается изображениями на зеркале CXLVII: Зевс-Юпитер находится между Юноной и Гераклом, и Юнона представляет Геракла Зевсу-Юпитеру или же Геракл дает что-то Зевсу-Юпитеру. Это зеркало того же типа, как и другие этрусские зеркала, однако надписи, относящиеся к отдельным фигурам, — на латинском языке. Здесь можно прочесть *Iuno* — форма им. падежа — рядом с изображением Юноны, *Iouei* — форма д а т. п а д е ж а — рядом с изображением Зевса-Юпитера и *Hercele* — форма им. (или вин.) падежа — рядом с изображением Геракла. Латинский текст на этом зеркале является неоспоримым доказательством того, что формы *Tina*, *Tinia*, встречающиеся рядом с изображением Зевса-Юпитера на этрусских зеркалах, представляют собой дат. падеж имени *Tin*.

<sup>5</sup> Выступления М. Паллоттино и М. Кристофани по поводу доклада, прочитанного пишущим эти строки в Институте этрусологии при Римском университете.

<sup>6</sup> E. Gerhard, A. Klügmann, G. Körte, *Etruskische Spiegel*, 1—5, Berlin, 1897—1941.

#### IV. Перевод или интерпретация

До сих пор этрусские тексты можно было лишь интерпретировать, т. е. возможно было только выражать известные предположения и соображения в отношении их содержания. Их нельзя было переводить. Для перевода необходимо, прежде всего, знать морфологию языка, поскольку морфемы показывают отношения и связи слов в предложении, а кроме того являются носителями ряда дополнительных информаций, как например, лицо, время, залог и пр. С другой стороны, нельзя было определить точное значение тех немногих слов, которые известны, так как на основе комбинаторного метода можно догадываться лишь о приблизительном значении слов.

Итак, существенное различие между прежними попытками понять содержание этрусских текстов и новым положением состоит в следующем: до сих пор делались лишь приблизительные интерпретации, а теперь уже можно делать точные переводы этрусских текстов.

Многовековое взаимодействие этрусского, латинского, фалисскийского и оскско-умброского языков в Италии привело к возникновению этрусско-италийского языкового союза, подобного балканскому языковому союзу. В каждом языковом союзе происходит нивелирование фонематической системы, ряд форм приобретают одинаковые функции, синтаксические структуры сближаются, во многих словах развиваются одинаковые значения и пр. Таким образом это контактное и конвергентное развитие дает возможность наиболее эффективно проникнуть в этрусский язык при помощи латинского. Вот почему наиболее точные переводы этрусского текста можно осуществить на латинском языке.

В качестве иллюстрации всего сказанного на предыдущих страницах приводим образцы перевода некоторых древнеэтрусских надписей<sup>7</sup>.

TLE 277 (ваза VII или VI в.): *tinia arvnðe arta*. В этой надписи встречается имя верховного божества этрусов и личное имя = лат. *Aruns, -ntis*. Следовательно, в этой надписи вотивная форма *Tinia* должна представлять дат. падеж от *Tin*. Поскольку им. падеж личного имени имеет форму *Ar(u)nð*, то *Arvnð-e*<sup>8</sup> не будет им. падежом, а должен представлять собой падеж, подобный латинскому *ablatus auctoris*. В хеттском инструменталис, входящий в предложение со сказуемым-глаголом страдательного залога и имеющий функцию, подобную латинскому *ablatus auctoris*, оканчивается на *-et*; этрус. *Arvnð-e*, следовательно, является формой *instrumentalis auctoris*: окончание *-e* восходит к хетт. *-et* с исчезновением конечного согласного.

Третье слово должно быть глаголом с приблизительным значением «посвящать». Следовательно, этрус. *arta* = хетт. *arta* «*ponitur, positus est*» (3-е лицо ед. числа настоящего времени страдательного залога от глагола *ar-* «*ponere*»). Латинский перевод: «*Iovi ab Arunte ponitur*» «Юпитеру (это) ставится (преподносится, посвящается) Арунтом».

На хеттском языке эта надпись должна гласить: «*Tin(i)a Aruntet arta*». Слово *tin(a)*- засвидетельствовано в иероглифическом хеттском, в котором оно означает «бог».

TLE 868 (амфора VII или VI в.): *mi aranð ramuðasi vēstiricinala mulvanice*. В этом тексте почти все было уже известно и ранее: *mi* «я, меня»; *Aranð* мужское личное имя; *Ramuða* женское личное имя; *Vēstiricinala* патронимическое имя (имя отца) или матронимическое имя (имя матери);

<sup>7</sup> Переводы сделаны по возможности дословно.

<sup>8</sup> В этрусских надписях часто буква *v* пишется вместо *u*.

*muluvanice* «vovit (он посвятил)»: значение уже давно известно на основе применения комбинаторного метода.

Не было ясно, однако, что представляет собой окончание *-(a)ṣi* в имени *Ramuḍaṣi*, а также окончание *-a* имени *Vestiricinal-a*. Если рассмотреть эти элементы с позиций тесного родства этрусского и хеттского языков, все становится вполне ясным. *Ramuḍaṣi* означает «Ramuthae suae» («своей Рамуте»): это дат. падеж с энклитическим притяжательным местоимением. *Vestiricinal-a* представляет собой дат. падеж патронимического или матронимического имени (ср. *Vestrecnal* от *Vestrecna*), образованный при помощи притяжательного суффикса *-al* = хетт. *-alla-s*. Латинский перевод этой надписи следующий: «Me Atans Ramuthae suae Vestiriciniaie (=Vestiricini-filiae) dicavit» «Меня посвятил Арант своей Рамуте Вестирикиновой».

В переводе на хеттский: «Ammuk \*Aranz \*Ramutassi \*Westirikinalla \*malduwannait».

SE, XXX, 1962, 136 (четырёхгранная колонна VI в.): *mi larḍa tedunas*. Здесь все ясно: *Larḍ-a* падежная форма от *Larḍ*, мужского личного имени; *Tedunas* род. падеж gentilного имени *Tetuna*.

Не было выяснено лишь, что представляет собой окончание *-a* в слове *Larḍ-a*. Как уже было сказано выше, это окончание дат. падежа. Латинский перевод этого текста гласит: «Ego (sum) Larti Tethuni» «Я (принадлежу) Ларту Тетунову».

Dativus possessivus свойствен также латинскому и хеттскому языкам. Приведенное предложение — номинальное, т. е. без глагола-связки, характерное для хеттского языка.

Подобно содержанию и архаичной надписи CIE<sup>9</sup> 4979 (надпись на фронтоне гробницы): *mi larisa plaisinas*.

*Larisa* дат. падеж мужского личного имени *Laris*; *Plaisinas* род. падеж gentilного имени.

Латинский перевод гласит: «Ego (sum) Larisi Plaesini» «Я (принадлежу) Ларису Плайсинуву».

CIE 4940 (надпись на фронтоне гробницы VI/V в.): *aranḍia Kalaprenas*. *Aranḍia* дат. падеж женского личного имени *Aranḍi* или мужского личного имени *Aranḍ*; *Kalaprenas* род. падеж gentilного имени. Латинский перевод: «Aranthi(ae) Calabreni» «Арантии Калабреновой (или Аранту Калабренуву)».

CIE 4944 (гробница VI/V в.): *mi aranḍia flavienas*. Латинский перевод: «Ego (sum) Aranthi(ae) Flavieni». «Я (принадлежу) Арантии Флавиеновой (или Аранту Флавиенову)».

CIE 4982 (надпись на фронтоне гробницы VI/V в.): *mi larḍia amanas*. *Larḍia* дат. падеж женского личного имени *Larḍi* или мужского личного имени *Larḍ*; *Amanas* род. падеж gentilного имени. Латинский перевод: «Ego (sum) Larti(ae) Amani» «Я (принадлежу) Лартии Амановой (или Ларту Аманову)».

TLE 154 (ваза [аскос] VII/VI вв.): *mi larḍas arṣinaia*. *Larḍas* род. падеж мужского личного имени *Larḍ*; *Arṣinaia* аблатив женского личного имени *Arṣinal* (с основой на *-ai*), позднеэтруск. *Arzni*, ср. лат. *Arsnia*. Окончание *-(a)i-a* = хетт. *-(a)iy-az* аблатив с выпадением конечного *-z*. Здесь имеется случай ablativus originis, как в латинском, ср. латинские надписи: *L. Varius Oglinia f. L. Herina Ttfilia natus. C. Cascellius Canthia*. Латинский перевод гласит: «Ego(sum) Lartis Arsinia(nati)» «Я Ларта, сына Арсинии».

TLE 332 (ваза VII в.): *mi ramuḍas kansinaia*. *Ramuḍas* род. падеж женского имени *Ramuḍa*; *Kansinaia* аблатив женского личного имени *Kan-*

<sup>9</sup> CIE = «Corpus inscriptionum Etruscarum», Lipsiae, 1893—1974.

*sinai-*, ср. позднеэтруск. *Canzna*. Латинский перевод гласит: «Ego (sum) Ramuthae Kansiniā (natae)» «Я Рамуты, дочери Кансинии».

TLE 766 (ваза VII/VI вв.): **mi ŋanakviluŋ sucisnaia aŋu**. *ŋanakviluŋ* род. падеж женского личного имени лат. *Tanaquil*; *Sucisnaia* аблатив женского личного имени *Sucisnai-*; *aŋu* = хет. *assu* «bonum, имущество, собственность». Латинский перевод следующий: «Ego (sum) bonum (= possessio) Tanaquilis Sucisniā (natae)» «Я имущество (собственность) Танаквили, дочери Сукисии».

TLE 24 (чаша VII или VI в.): **ni araz iia laraniiia**. С точки зрения тесного родства этрусского и хеттского языков все в этой надписи предельно ясно: *ni* = хет. *eni* (ср. род.) указательное местоимение; *Araz* мужское личное имя (*n* исчезло перед *z*) = хет. *aranz* «возвышенный», причастие от *araai-* «возвышаться»; *iia* (конечный согласный выпал) = хет. *iyat* «fecit»; *Laraniiia* дат. падеж женского личного имени \**Laranai-*, позднеэтруск. *Larnei* (с синкопой и *-ai* > *-ei*), основа на *-ai*, типичная для хеттского языка. Латинский перевод гласит: «Nos Arans fecit Laraniae» «Это Арант сделал Ларании».

Перевод на хеттский: «Eni Aranz iyat \*Laraniya».

TLE 941 (ваза VII или VI в.): **mini spuriaza [anka]rnas mulvanice alsai anasi**. *mini* «меня»: это местоимение уже давно установлено комбинаторным путем; *Spuriaza* гипокористическое (ласкательное) мужское личное имя, образованное при помощи уменьшительного суффикса *-aza* = хет. *-anza-* от имени *Spurie-*, лат. *Spurius*; [*Anka*]rnas род. падеж гентильного имени; *mulvanice* «посвятил», см. выше; *Alsai* женское личное имя в дат. падеже, основа на *-ai*, см. выше; *ana-si* = хет. *annassi* «matri suae» («своей матери»), ср. *Ramutha-ši*. Латинский перевод следующий: «Me Spurius Ancarni novit Alsiae matri suae» «Спурий Анкарнов посвятил меня Алсии, своей матери».

TLE 869 (сосуд VII или VI в.): **mi spanti nuzinaia**. *spanti* = хет. *s(i)panti* «(он) жертвует, совершает возлияние»; *Nuzinaia* дат. падеж от \**Nuzinai* = лат. *Nundina* «богиня очищения»: переход *di* > *zi* и исчезновение *n* перед *z* — характерные фонематические изменения в этрусском языке. Латинский перевод гласит: «Me sacrificat (=spondet) Nundinae» «Посвящает меня (богине) Нундине».

TLE 760 (ваза VII или VI в.): **mini turuce larθ apunas velednalas**. *turuce* «(он) подарил»: значение этого глагола давно известно; *Larθ* мужское личное имя; *Apunas* род. падеж гентильного имени; *Velednal-as* род. падеж от *Velednal*, патронима или матронима, образованного при помощи суффикса *-al* = хет. *-alla-s*, ср. *Velidna* гентильное имя. Латинский перевод следующий: «Me donavit Lars Apuni Velethnii (или Velethniae)» «Подарил меня Ларт Апунов Велетнов».

SE, XXXVII, 1969, 283 и сл. (ваза 640—610 гг.): **mi malak vanθ**. *malak* «водео (посвящаю)»: до недавнего времени была известна лишь форма *mlac* (*mlax*), относительно которой мною было предположено, что она восходит к более древнему \**malák(i)* (с *ld* > *l* и апокопой) = хет. *maldahhi* «водео». Эта найденная совсем недавно старинная надпись подтвердила мое предположение и является, таким образом, еще одним из многих доказательств правильности этого предположения. *Vanθ* — имя этрусского божества. Латинский перевод гласит: «Ego voveo, (o) Vanth» «Я посвящаю это, о Вант».

SE, XXXV, 1967, 569 (ваза 650—625 гг.): **vetu s ia**. *Vetu* — мужское личное имя; *s* = хет. *si-*, лид. *s* «он, она, оно»; *ia* = хет. *iyat* «fecit». Латинский перевод следующий: «Vetus id fecit» «Ветус сделал это».

TLE 338 (золотая фибула VII или VI в.): **mi mamarces art esi**. *Mamarces* род. падеж от *Mamarce*, мужского личного имени; *Art* мужское

личное имя = хет. *Arta*; *esi* 3-е лицо ед. число претеритума от хет. *essa* «делать, творить, вырабатывать», Латинский перевод гласит: «Ego (sum) Mamerci; Artus elaboravit» «Я Мамерка; Арт меня сделал».

«Mélanges d'archéologie», 82, 1970, 637 (амфора 675—650 г.): **mi ðihvari(e) ese ci sie**. *ðihvarie* мужское личное имя = лат. *Tiberius*: *hv = f*; *ese = esi*, см. выше; *ci = хет. kii* «это»; *sie* дат. падеж от хет. *siu-s* «бог». Латинский перевод следующий: «Me Tiberius elaboravit; hoc deo (est) «Тиберий сделал меня; это богу».

SE, XXXVII, 1969, 501 (чаша VII в.): **mi vel elðus kacriqu(n) numesi esi putes kraï tiles ðis putes. Vel** мужское личное имя; *Elðus* род. падеж gentilного имени, ср. греч. Ἐλάτος личное имя; *kacriqu(n)* = хет. *hahrih-hun* «нацарапал, написал» 1-е лицо ед. числа претеритума от *hahriya*; *Numesi* мужское личное имя = лат. *Numerius*; *esi* см. выше; *pute-s*: *pute* «ваза (определенного вида)» и *s* энклитическое указательное местоимение, как в лидийском; *Kraï* дат. падеж мужского личного имени = лат. *Gravius*; *Tiles* род. падеж gentilного имени; *ðis* (с апокопой) = хет. *tizzi* «offertur». Латинский перевод гласит: «Ego Vel Elthūs scripsi. Numerius elaboravit poculum id (=hoc). Graio Tilli(i) offertur poculum id (=hoc)». «Я Вел Элтов написал (это). Нумесий сделал эту чашу. Граю Тилиеву подносится эта чаша».

TLE 876 (надпись на бронзовой пластинке VI в.): **eta ðesan etras uniiadi hu[tiś? acalē?] hutila zina eti asas acalia [eta? mulu?] ðanaxvilus caðarnaia...** *eta* «этот, эта»; *ðesan* «Aurora (богиня)»; *etras* «данный, подаренный», причастие от *edr-ce = t(u)r-ce* «dedit, donavit»; *Unii-adi = Iuno mater* «Юнона-мать» (богиня); *hutila* производное от *hut/ð* «5»; *zina* = хет. *zinna* «совершать, завершать, делать»; *eti* = хет. *edi* «ему, ей» дат. падеж; *assas* (с исчезновением *n* перед *s*) = хет. *asanz* «будучи»; *acalia* дат. лок. падеж «июнь (месяц)», ср. этрус. *aclus = Iunius* (гlossa). Латинский перевод гласит: «Ista Aurora (=statua Aurorae) data (est) Iunoni matri qui[nto? Iunio?]. Quinquatria fac ei in Iunio. [Hoc? (est) votum?] Tanaquilis Catharniā (natae)...» «Эта (статуя) Аврора дана (подарена, посвящена) Юноне-матери пя[того июня]. Делай (устраивай) ей торжественный праздник (почести), будучи в июне. [Это обет] Танакилы, дочери Катарнии...». Эта бронзовая пластинка была прикреплена к статуе Авроры.

Ниже будет приведен перевод более обширного текста, а именно надписей на трех золотых пластинках из Пирджи (TLE 874 и 875; V в.). Эти пластинки были прикреплены к дверям, ведущим в святилище богини Юноны-Астарты. Они особенно важны, поскольку одна из них написана на п у н и ч е с к о - ф и н и к и й с к о м языке и текст ее в большой степени соответствует этрусскому тексту пластинки TLE 874. Следовательно, здесь имеется с е м и б и л и н г в а, причем содержание пуническо-финикийского текста дает возможность до известной степени к о н т р о л и р о в а т ь перевод соответствующего этрусского текста. К сожалению, пуническо-финикийский текст более краток и в некоторых местах отклоняется от содержания этрусского текста. Все же эта семибилингва имеет большое значение для подтверждения правильности нашего перевода.

TLE 874 **ita tmia icac heramasva vatiexe unialastres ðemiasa mex ðuta ðefariei velianas sal cluvenias turuce munistas ðuvas tameres ca i lacve tulerase nac ci avil xurvar tesiam eitale i lacve alsase nac atranes zilacal sel eitale acnas vers itanim heramve avil eni aca pulum xva**. Латинский перевод: «Istam aediculam hasque hermas (=statuas divinitatis) is quidem construxit, Iunonali Stellae (=Astarti) tum (?), Dominae suae, multum regens (sive potens rex) Tiberius ipse Veliani, maximus clientium (scil. Dominae suae), donavit. Evanuit tum is procul (sive diu). Sacerdotes hīc

ei libabant. In finibus suis (=regno eius) ita tres anni abiere quidem. Istoque (modo?) autem in malo ii libavere captivo ei. Ita Iulio mense tum(?) dies dei mortis eius mala morte solvit. In ista autem herma (=statua) anni (sunt) illi (sive illius) morti. Sors, autem, curre!» «Это святилище и эти статуи он построил и подарил (посвятил) Юноновой Звезде (Юноне-Астарте), своей госпоже, могучий правитель (владелец) сам Тиберий Велианов, величайший из ее почитателей. Затем он исчез (уехал) на долгое время. Жрецы здесь ему совершали возлияния (молебствия). В его государстве так три года прошли. Таким же образом они совершали возлияния (молебствия) во время бедствия (постигшего его), когда он был пленен. Так в июле месяце, однако, праздник смерти божества освободил его от бед через смерть. На этой статуе обозначены годы его смерти. А (ты), судьба, продолжай свой ход!».

Латинский перевод параллельного пунического-финикийского текста гласит: «*Dominae Astarti (est) locus sacer (=sacellum, aedicula) hic, quem fecit et quem dedit Tiberius Veliani, regens (sive rex) Caere, (in) mense sacrificii solis (Iunio/Iulio), donum in templo; et is construxit aediculam (?)*. Quia Astarte desideravit clientem suum, regni (sive regnandi) sui (in) anno tertio (anni sunt) III in mense Iunio/Iulio in die sepulturae dei (sive divinitatis). Et anni statucae divinitatis in templo suo (sunt) anni sicut stellae hae». «Госпоже Астарте (принадлежит) это святилище, которое создал и которое дал (подарил, посвятил) Тиберий Велианов, владетель (царь) Цере, в месяц жертвоприношения солнцу (июнь/июль) как дар храму; он построил святилище (?). Так как Астарта пожелала своего почитателя, годов его царства (или царствования) на третьем году — три в месяце июне/июле во время (чествования) погребения божества. А лет статуе божества в его храме столько, сколько этих звезд».

Текст на второй этрусской золотой пластинке TLE 875: **nac d̄efarie veliunas d̄amuce cleva etanal masan tiur unias sel ace vacal tmial avilxval amuce pulum xva snuiaφ**. Латинский перевод следующий: «Ita Tiberius Veliuni aedificavit res aureas (?) quidem (?). Solaris dea Luna Iunonis (=Astarte) eius in morte (=in memoriam mortis) epulum templare anniversarium habuit. Sors, autem, curre! Ei salutem fac quidem!». «Так Тиберий Велианов построил (создал, сделал) золотые украшения (?). Солнечная богиня Луна-Юнона (Юнона-Астарта) в память его смерти имела годовое храмовое пиршество. А (ты), судьба, продолжай свой ход! Дай ему благополучие!».

Следовательно, золотая пластинка с более кратким текстом была прикреплена во время (первой) годовщины смерти Тиберия Велианова<sup>10</sup>. Ниже приведены некоторые из наиболее важных этрусско-хеттских соответствий.

*i-ta* = (e)ta, *i-ca* = (e)ca, см. выше; -c «и».

*tmia* = иерогл. хет. *TU-mia* «часть храма».

*vatie-xe* 3-е лицо ед. числа претерита, ср. хет. *wedahhun* «(я) построил».

*tex* = хет. *mekki* «много» или «мощный».

*duta*, ср. хет. *duddu-* «управлять».

*sal* = хет. *salli-* «большой, великий».

*cluvenias* = хет. *kuluwanniya* дат.-лок. падеж мн. числа от *kuluwanni-* «вассал».

*divas* = хет. *tuuwaz* «издалека; долго».

*tameres* = хет. *dammare* им. падеж мн. числа «жрецы».

*ca* = хет. *kaa* «здесь, тут».

<sup>10</sup> Этот текст подробно рассмотрен в двух моих работах: «Linguistique balkanique», XI, 1, 1966, стр. 25 и сл. и «Etruskische Sprachwissenschaft», I, Sofia, 1970, стр. 38 и сл.

*nas* = лид. *nak* «так».

*eitale* дат.-лок. падеж ед. числа, *eitala* им.-вин. падеж ср. рода мн. числа = хет. *idalu-* «плохой, злой».

*sel* = хет. *seel* «eius».

*acnas* = хет. *agganaz* абл. от *aggatar* ср. род «смерть».

*itani-m* = хет. *edani-ma* дат.-лок. падеж «in isto, in eo» + *ma* «однако».

*eni* = хет. *eni* «тот».

*pul-um* = хет. *pul* «жребий, судьба» и *-ma* «однако».

*ḫamu-ce* 3-е лицо ед. числа претерита = иерогл. хет., лид. *tam-* «строить, созидать».

*masan* = хет. *massani/a-* «бог, богиня».

*s-nu-ia-φ* (синтагма) = хет. *si nuun iya-p(a)* «ei salutem fac quidem».

Ниже будет дан перевод двух надписей на надгробной стелле (VII или начало VI в. до н. э.), найденной на острове Лемносе, расположенном в Эгейском море напротив города Трои. Этот текст представляет собой особый интерес ввиду того, что нельзя с точностью определить его язык — древнеэтрасский ли он или позднететский. В сущности, как это было показано выше, древнеэтрасский был почти идентичен позднему хеттскому, поскольку оба они были двумя близкородственными диалектами общего языка.

Лемносский текст: А) *vanalasiā šeronai morinail aker tavaršio šivai evisḫo šeronaiḫ sialxveiš avis maraš mav holaies naḫoḫ šiaši*; В) *holai-esi ḫokiasiale šeronaiḫ evisḫo toverona rom haralio šivai eptesio arai tiš ḫoke šivai avis sialxviš marašm aviš aomai[ta]*

Транспонированный на хеттский язык, этот текст гласит:

А) \*Wanal(as) \*Asiall(as) saaru(n) naais, \*Murinailles aker, t-as \*warsiu. Suwaait, \*e-uiskit-us(?), saaru(n) naist. Seel hwesas awitis. \*Maaraz maau!

\*Hulla(i)es-sis(?) n-apeeti siyati.

В) \*Hulla(i)es-sis \*Pukiassialles, saaru(n) naist, e-uiskit-us (?) tuuwa aruna.

Aruma haranas-iwar suwaait. Ept ishiul: araais etez \*Puki.

Suwaait awitis, seel hwisas, maarazma awitis uwaittat.

Перевод на латинский язык следующий:

А) «Vanal Asial(is) (=Asii) in praedam duxit, Myrinaei mortui (=occisi) sunt, et is acquiescito (=contentus esto).

Trudebat, is(?) persequebatur(?) eos, in praedam ducebat. Eius speculum (=imago) leo (est). Hastā crescito (=salveto)!

Oppugnabat is et in eo se ostendebat.

В) Oppugnabat is Phocaeos, in praeddam ducebat, is (?) persequebatur (?) eos procul in mari.

Admodum(?) aquilae instar trudebat. Fecit pactum: eminuit eō Phocaeae.

Trudebat (sicut) leo, eius speculum (=imago) hastā autem leo videbatur».

А) «Ванал Асиев предводительствовал за (боевой) добычей. Миринейцы были убиты, а он да будет спокоен (доволен)!

Он разил, он (?) преследовал (?) их, он вел за добычей. Его образ — лев. Копьем (своим) пусть славится!

Он сражался и этим прославлялся.

В) Он сражался против фокейцев, вел за добычей, он (?) преследовал (?) их далеко в море.

Подобно орлу, он разил (крушил). Он заключил договор: этим он прославился в Фокее.

Он разил (крушил), как лев, и его образ с копьем, как лев выглядел».

Здесь будут представлены лишь некоторые наиболее важные комментарии<sup>11</sup>.

На стелле представлен образ в о и н а со щитом, шлемом и к о п ь е м М и р и н а — город на западном берегу о. Лемноса, а Ф о к е я — город на западном побережье Малой Азии, к юго-востоку от о. Лемноса.

*Vanal* = этрус. *Venal*, *Venel* мужское личное имя.

*šeronai*, *šeronaiθ* (синтагма) = хет. *saaru(n) naais* и *naist*: хет. *saaru*-«добыча» и претерит от хет. *naai*- «вести; посылать».

*aker* = хет. *akir* (= *aker*) 3-е лицо мн. числа претерита от *ak(k)*- «умирать, быть убитым, погибать».

*šivai* = хет. *suwaait* 3-е лицо ед. числа претерита от *suwai*- «толкать, ударять, разить».

*avis* = хет. *awiti-s* «лев». Сравнения со львом и орлом характерны для хеттских текстов.

*maras* = хет. *maar(iy)az* или *maar(ay)az* абл. от *maari*- «кошье».

*mav* = хет. *maau* 3-е лицо ед. числа императива от *maai*- «расти, преуспевать».

*holaiés*, *holaiési* 3-е лицо ед. числа претерита от хет. *hullaai*- «сражаться» и *si*- «он, она, оно» = лид. -s.

*arai* = хет. *araais* 3-е лицо ед. числа претерита от *araai*- «воздвигаться, возвышаться».

**Заключение.** Приведенных примеров, по нашему мнению, достаточно для того, чтобы убедиться в эффективности теории и методики.

Итак, после того, как доказано тесное родство этрусского языка с хеттским, при помощи грамматики и словаря хеттского языка можно переводить почти все этрусские тексты, включая и те, которые до настоящего времени были совершенно непонятны.

В связи с этой проблемой мною были опубликованы две книги и несколько статей. Некоторые этрускологи, однако, все еще игнорируют результаты нового метода. И это вполне объяснимо. Если на протяжении десятилетий в многочисленных статьях и книгах М. Паллоттино защищал положение о неиндоевропейском происхождении этрусского языка и об автохтонности этрусов в Италии, т. е. предвзятый подход, то этому ученому трудно признать новые концепции и публикации, в которых они излагаются.

При помощи комплексного метода морфологической модели, с использованием данных этимологического и комбинаторного методов, через грамматику и словарь хеттского языка этрусские тексты уже можно понимать и переводить. Этот метод подобен методу, используемому при переводе авестийских текстов с помощью древнеиндийского языка или оскско-умбрских надписей через грамматику и словарь латинского языка.

## V. Происхождение этрусов

Одним из сложнейших вопросов античной истории является проблема происхождения этрусского народа — вторая этрусская загадка. Эта проблема была изложена мной, между прочим, в «Вестнике древней истории» (1952, 4, стр. 133—141) в статье «О происхождении этрусов». Однако ныне мы располагаем новыми данными, неизвестными в то время.

В 1936 г. мною был выдвинут тезис о троянском происхождении этрусов, т. е. о том, что они были троянскими колонистами в Западной Италии,

<sup>11</sup> Эта надпись подробно рассмотрена в моих работах «Introduzione alla storia delle lingue indeuropee», Roma, 1966, стр. 286 и сл.; «Linguistique balkanique», VII, 2, 1963, стр. 5 и сл.

переселенцами из знаменитой Трои<sup>12</sup>. В то время это предположение казалось совершенно фантастичным. Между тем, однако, были сделаны два открытия, блестяще подтвердившие выдвинутый мной тезис — явление весьма редкое в истории науки.

Доказательства троянского происхождения этрусков следующие:

1. Все достоверные языковые, археологические и исторические данные ясно показывают, что прародина тирсенцев-этрусков находилась в Западной Малой Азии, причем, вероятнее всего, в северо-западной области эгейского побережья, приблизительно в Троаде, Мизии и Северной Лидии<sup>13</sup>. Тезис о западноазиатском происхождении тирсенцев-этрусков ныне является господствующей концепцией. Даже М. Паллоттино, долгие годы отстаивающий тезис об автохтонности этрусков, вынужден признать: «Из этих трех тезисов наиболее известен и общепринят несомненно первый» (т. е. тезис о малоазиатском происхождении этрусков)<sup>14</sup>.

2. Легенда об Энее: Эней и троянцы эмигрируют в Западную Италию и основывают там свою «новую Трою» (Ливий). Какое же италийское племя или народ переселилось из Трои в Западную Италию? Это никоим образом не могли быть италийские племена — латиняне или оскско-умбрийцы, поскольку их культура конца II и начала I тысячелетия до н. э. резко отличается от культуры Западной Малой Азии. Это могли быть лишь этруски, о которых известно по писаниям Геродота, Страбона, Сервия, Сенеки, Солина, Тацита, Плутарха, Феста и др., что они происходят из Западной Малой Азии. Позднее римляне ассимилировали этрусков. Такие римляне, как Цезарь и Меценат, семьи которых были этрусского происхождения, с полным правом могли утверждать, что они римляне троянского происхождения.

Легенда об Энее отнюдь не является поэтической фикцией Вергилия и Ливия. Она встречается гораздо раньше у различных греческих писателей: у Стезихора (VII/VI в. до н. э.), у Гелланика Лесбийского (V в. до н. э.), называвшего Рим «новой Троей» и считавшего римлян наследниками троянцев, у Тимея из Тавромениона (IV/III в. до н. э.) и Каллия Сиракузского (III в. н. э.). Следовательно, эта легенда содержит важный исторический факт — воспоминание этрусков об их троянском происхождении.

3. В «Илиаде» и «Одиссее», где упоминается такое большое количество имен даже совершенно незначительных племен и народов, полностью отсутствует имя тирсенцев — *Τυρσηνοί* (атт. *Τυρσηνοί*), греческое название этрусков. Этот факт весьма странен, поскольку тирсенцы уже в очень раннюю эпоху играли значительную роль в Эгейской области, что подтверждается многими фактами и соображениями. С нашей точки зрения, можно очень легко ответить на этот вопрос. Действительно, тирсенцы-этруски играли исключительно важную роль в Эгейской области, и они не только упоминаются в гомеровском эпосе, но занимают в нем центральное место: в более отдаленные времена тирсенцы-этруски назывались именем \**Trōses*, из которого в греческом языке совершенно правильно согласно фонематическим законам получилось *Τρῶες*<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> См.: V. I. G e o r g i e v, Die Träger der kretisch-mykenischen Kultur, ihre Herkunft und ihre Sprache, I, Sofia, 1936, стр. 183 и сл.

<sup>13</sup> Ср. подробно: F r. S c h a c h e r m e y e r, Etruskische Frühgeschichte, 1929, стр. 281 и сл.

<sup>14</sup> См.: M. P a l l o t t i n o, Etruscologia, Milano, 1968, стр. 86.

<sup>15</sup> Греч. *Τυρσηνοί* — более поздняя диалектная форма, возникшая путем метатезы от \**Trus-an* < \**Trōs-añ* «троянцы», и, по всей вероятности, соотносящаяся по народной этимологии с греч. *τόρσις*, «башня, крепость».

4. Важнейшим доказательством троянского происхождения этрусков является генетическая идентичность имен  $\text{Τροία} = \text{Etrūria}$  и  $\text{Τρώες} = \text{Etrūs-ci}$ . Троянцы называли себя \* $\text{Trōs-es}$ , а свою страну \* $\text{Trōs}(i)yā$  «троянская земля». Первоначальная форма этого названия с интервокальным  $s$  сохранилась в египетских и хеттских документах, ср. егип.  $\text{Turwš} = \text{Truse}$  «троянцы» (XIV—XIII вв. до н. э.) и хет.  $\text{Ta-ru-i-sa}$ ,  $\text{Tar-ū-i-is-si-ya} = \text{Tru}(i)s(i)ya$  «Троя».

Эти два названия были заимствованы греческим языком в очень раннюю эпоху, в те времена, когда сохранялось первоначальное интервокальное  $s$  — приблизительно в первой половине II тысячелетия до н. э. Поскольку в предписменную эпоху истории греческого языка интервокальное  $s$  исчезло, то первоначальные формы \* $\text{Trōses}$  и \* $\text{Trōs}(i)yā$  изменились закономерно в  $\text{Τρώες}$  и  $\text{Τροία}$  (Et. M.) > гом.  $\text{Τροίη}$ , атт.  $\text{Τροία}$  (с сокращением долгого гласного  $\omega i > \omega$ ).

Однако в предписменной истории этрусского языка первоначальные троянские (=праэтруские) имена \* $\text{Trōses}$  и \* $\text{Trōs}(i)yā$  закономерно изменились в  $\text{E-trūs-}$  > лат.  $\text{Etrūs-cī}$ <sup>16</sup> и \* $\text{E-trūsia}$  > лат.  $\text{Etrūria}$ , поскольку перед начальным  $tr$  (muta + liquida) появился протетический гласный  $e$ <sup>17</sup>, более старое  $\bar{o}$  перешло в  $\bar{u}$ <sup>18</sup>, в истории латинского языка интервокальное  $s$  перешло в  $r$  в IV в. до н. э. в  $r$  (так называемый ротацизм).

Названия  $\text{Τρώες}$ ,  $\text{Τροία}$  и  $\text{Etrus-cī}$ ,  $\text{Etrūria}$ , следовательно, генетически идентичны<sup>19</sup>. Хорошую параллель измененного первоначального  $s$  в  $\text{Τρώς}$ ,  $\text{Τρώες}$ ,  $\text{Τροία}$  против  $\text{Etrus-ci}$ ,  $\text{Etrūria}$  представляет греч.  $\text{Λίγυς}$ ,  $\text{Λίγυες}$  против лат.  $\text{Ligus}$ ,  $\text{Ligurēs}$ ,  $\text{Ligus-cus}$ ,  $\text{Liguria}$ .

\*

Когда более тридцати лет назад мною был изложен тезис о троянском происхождении этрусков, мне возражали, что легенда об Энее не может быть этрусского происхождения, поскольку о ней не встречается даже намек ни в этрусском искусстве, ни в каких-либо других документах. Действительно, примерно до 1940 г. были известны всего два этрусских зеркала с изображенными на них сценами по легенде об Энее, но их происхождение было более поздним и в данном случае можно было бы предполагать римское влияние.

Между тем при раскопках этрусского города Вей было обнаружено большое число статуэток, представляющих бегство Энея из Трои. Эта крупная находка датируется примерно первой половиной V в. до н. э.; найденные материалы, следовательно, относятся ко временам, значительно предшествующим римскому влиянию. Этот факт показывает, что этрускам легенда об Энее была известна значительно раньше римлян. Известный французский археолог Ш. Пикар в свое время оценил открытие в Вей следующим образом: «Это важнейший исторический документ... Особенно важно то, что небольшая этруская группа была обнаружена... не изолированно... уже имеется целая серия экземпляров...». И далее: «...несомненно то, что открытия в Вей отныне представляют проблему в совершенно новом аспекте. Архаической Этрурии была известна легенда;

<sup>16</sup>  $-cī$  — (вторичный) италийский суффикс для образования этнических имен, ср.  $\text{Falis-cī}$  наряду с  $\text{Faler-iī}$  (с  $r$  из интервокального  $s$ ),  $\text{Aurun-cī}$  = греч.  $\text{Ἀῤσονες}$   $\text{O}(p)-scī$  = греч.  $\text{Ὀπυαῖοι}$ ,  $\text{Vols-cī}$ ,  $\text{Herni-cī}$ , умбр.  $\text{Iapus-co}$  = лат.  $\text{Iapydes}$ ,  $\text{Nahar(t)co}$  = лат.  $\text{Nahartēs}$  и под.

<sup>17</sup> Ср.  $\text{Tus-ci}$  от \* $\text{Turs-cī}$ , в котором начальное консонантное сочетание  $tr$  было диалектно устранено путем метатезы.

<sup>18</sup> Ср. этрус.  $\text{Atunis}$  = греч.  $\text{Ἀδωνίς}$ , этрус.  $\text{Aplun}$  = греч.  $\text{Ἀπόλλων}$  и под.

<sup>19</sup> См. подробно по этой проблеме: V. I. G e o r g i e v, *Introduzione alla storia della lingue indeuropee*, стр. 275 и сл.

она ее использовала вблизи Рима, согласно греческим пластическим и литературным традициям. Не принесли ли эту легенду на тирренскую землю из Малой Азии и ранее VI в.? Близкие контакты между Вей и Римом, установленные во времена, когда Вулк украшал Капитолий, может быть, могли бы объяснить латинское заимствование»<sup>20</sup>.

Это открытие опровергло упомянутое возражение, выдвинутое против моего тезиса о происхождении этрусков. Этруская археология обогатилась важным доказательством троянского происхождения этрусков.

\*

Этрусское происхождение легенды об Энее блестяще подтвердилось при недавней находке новой этрусской надписи.

Французский археолог Ж. Эргон опубликовал в 1969 г. этрусскую надпись, встречающуюся пятикратно на трех колоннах, входящих в состав ограды этрусского святилища<sup>21</sup>. Упомянутые колонны найдены в Северном Тунисе, к югу от Карфагена: они датируются III—I в. до н. э. Ж. Эргон правильно установил, что в этом тексте встречается имя *да р д а н ц е в*, а также падежная форма *tinš*, которую он связывает с именем верховного этрусского божества *Tin*. Французский этрусколог пишет: «...этрусский контингент занимал в неизвестный момент конца Римской республики территорию у подножья Загуана, отделенную пограничными столбами»<sup>22</sup>. И дальше продолжает: «Думаю, что следует... связать основание поселения с гражданскими войнами, которые в первой четверти I века сотрясли Этрурию и прогнали часть ее обитателей по ту сторону морей».

Пятикратно повторяющаяся надпись гласит: *mvna tazv taš tvl tarfa-nivm tinš*. Ф. На основе хеттского языка этот этрусский текст можно перевести таким образом, как, например, можно перевести позднелатинскую надпись при помощи классического латинского языка. В сущности, это *п о з д н е х е т т с к и й* текст, который транспонируется на классический хеттский следующим образом: «Munnai dassu dantus tuuwala \*Dardanius-ma \*tinus. 1000». Латинский перевод: «Vela (=tege, obtege, conde) solide sumptos (=apportatos) procul (=peregre) Dardanios autem (=dè) deos. M (=mille, scil. passūs)». «Охраняй (скрывай, храни) крепко взятых (принесенных) издалека дарданских богов. 1000 (шагов)».

#### Комментарий

Столбы с надписью — граничные колонны ограды этрусского святилища. Они отстояли друг от друга на 1000 шагов. По-видимому, это было поселение беженцев из Этрурии во время римско-этрусских войн или гражданских войн III—I вв. до н. э.

*mvna* = хет. *munnai* 2-е лицо ед. числа императива глагола *munnaii* «покрывать, скрывать».

*tazv* = хет. *dassu* ср. род прилагательного *dassu-s* «здоровый, сильный, крепкий; тяжелый; важный».

*taš* (вследствие синкопы, ассимиляции и исчезновения назала перед *s*) = хет. *dantus* вин. падеж мн. числа причастия *dant-* от *daa* «братъ». Относительно синкопы, ср., например, оскск. *hürz* = лат. *hortus*.

<sup>20</sup> Ch. Picard, «Revue d'archéologie», XXI, 1954, стр. 154 и сл.

<sup>21</sup> J. Neurgon, «Académie des inscriptions et belles lettres, Comptes rendus», Paris, 1969, стр. 526 и сл.

<sup>22</sup> Там же, стр. 546.

*tol* (вследствие контракции *uwa* > *u* и апокопы) = хет. *tuwala* ср. род прилагательного *tuwala-* «удаленный, дальний, далекий».

*Ārīānīw-m* «Dardānīos autem (=δέ)» вин. падеж мн. числа от *Ārīāni-*<sup>23</sup> с исчезновением конечного *s* после гласного<sup>24</sup> (как в старолатинском) и постпозитивной (энклитической) частицей этрус. *-m* = хет. *-ma* «δέ, autem».

*tīnš* (вследствие синкопы) = хет. *\*tīnus* вин. падеж мн. числа от иерогл. хет. *tīn(a)-* «бог». Относительно синкопы ср. оскск. *humuns* = лат. *homines*.

Ф = лат. *M* «mille passūs»<sup>25</sup>.

По данным «Илиады» троянский народ состоял из двух племен (племенной союз): троянцев с вождем Гектором и дарданцев с вождем Энеем, ср. часто встречающуюся в Илиаде формулу Τρώες καὶ Δάρδανοι (или Δαρδανίωνες). В рассмотренной надписи этрусски называют своих богов «дарданскими богами». Следовательно у этрусков хорошо сохранялось воспоминание об их троянско-дарданском происхождении.

### Л и т е р а т у р а

- В. И. Георгиев, О происхождении этрусков, ВДИ, 1952, 4.  
 СIE = Corpus inscriptionum Etruscarum, Lipsiae, 1893—1971.  
 V. I. Georgiev, Hethitisch und Etruskisch, Sofia, 1962.  
 Е го ж е, Späthethitisch-Altetruskisch, «Linguistique balkanique», VII, 2, 1963.  
 Е го ж е, Etruskisch ist Späthethitisch, «Die Sprache», X, 1964.  
 Е го ж е, La bilingue di Pyrgi e l'origine ittita dell'etrusco, «Linguistique balkanique», IX, 1, 1964.  
 Е го ж е, Zwei neugefundene altetruskische Inschriften und ihre Bedeutung für die Herkunft der etruskischen Sprache, «Glotta», XLII, 1964.  
 Е го ж е, Die Bilingue von Pyrgi als Beweis für die hethitische Herkunft der etruskischen Sprache, «Linguistique balkanique», XI, 1, 1966.  
 Е го ж е, Introduzione alla storia delle lingue indeuropee, Roma, 1966.  
 Е го ж е, Hethitisch, Lydisch, Etruskisch, «Linguistique balkanique», XI, 2, 1967.  
 Е го ж е, Die hethitische Herkunft der etruskischen Morphologie, «Studi Micenei ed Egeo-anatolici», IV, 1967.  
 Е го ж е, Die Genitivformen des Hieroglyphisch-Hethitischen, «Revue hittite et asiatique», XXV, fasc. 81, 1967.  
 Е го ж е, La preuve morphologique de l'origine hittite de la langue étrusque, «Hommage à M. Renard», III, Bruxelles, 1969.  
 Е го ж е, L'iscrizione etrusca sulla seconda laminetta di bronzo di Pyrgi, «Studi Micenei ed Egeo-anatolici», IX, 1969.  
 Е го ж е, Grammatischer Kommentar zu einigen etruskischen Inschriften, «Orbis», XVIII, 1969.  
 Е го ж е, Etruskologie und Neotrombeticismus, «Acta antiqua», Budapest, XVIII, 1969.  
 Е го ж е, Etruskische Sprachwissenschaft, Sofia, I, 1970, II, 1971.  
 Е го ж е, Troer und Etrusker (в печати).  
 М. Pallottino, Etruscologia, 6. ed., Roma, 1968.  
 Е го ж е, TLE=Testimonia linguae Etruscae, 2. ed., Roma, 1964. SE=Studi Etruschi, Firenze.

<sup>23</sup> Ср. этрус. *Latini* = лат. *Latinius* и под.

<sup>24</sup> Хеттское окончание вин. падежа мн. числа *-us*.

<sup>25</sup> Ср.: J. Н е и р г о н, указ. соч., стр. 545.

О. А. ЛАПТЕВА

**НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНЕНИЯ\***

Учение об актуальном членении предложения, прообраз которого возник более ста лет тому назад<sup>1</sup> и которое оформилось в лингвистическом плане в течение нескольких последних десятилетий<sup>2</sup>, к настоящему времени представляет собою самостоятельное направление в теоретическом языкознании, которое собирает все большее число участников. Если на первых порах его существования, когда основные его понятия и идеи складывались в русле логического и психологического направлений со свойственной им схематизацией языковой действительности, несложное здание его построений было вполне прозрачным из-за своей упрощенности, то теперь, с усложнением объекта лингвистического постижения, с усиленной разработкой грамматической теории и «традиционным», и новыми направлениями задачи теории актуального членения также существенно усложнились. Немалую роль в этом новом статусе дисциплины играет и ее количественный рост. Расширение состава исследователей влечет за собой и расширение границ учения об актуальном членении<sup>3</sup> — оно прилагается к разному языковому и — в пределах одного языка — стиливому материалу, все шире вторгается в область изучения интонации и формальных языковых средств, все в большей мере увязывается с основными положениями грамматической теории. Выявляются его достоинства и слабые места, достижения и пробелы. Вместе с тем множественность преломлений учения об актуальном членении и его трактовок, трудности роста ведут и к не всегда достаточно отчетливому пониманию некоторых существенных для теории вопросов.

I. Остается не выясненным, к какому уровню языковой системы принадлежит явление актуального членения. Содержательная трактовка этого вопроса имеет первостепенное значение как для построения адекватной теории, так и для общей теории синтаксиса. Предстоит выяснить,

\* Основные положения этой статьи неоднократно обсуждались совместно с Т. М. Николаевой, которой автор приносит свою глубокую благодарность.

<sup>1</sup> См.: Н. W e i l, De l'ordre des mots dans les langues anciennes comparées aux langues modernes, Paris, 1844.

<sup>2</sup> Это обычно связывается с именем В. Матезиуса (первые его работы в этой области относятся еще к 1907—1908 гг., окончательная формулировка основных положений теории к 1930-м гг.). Можно назвать еще работы Фр. Травничка, также тридцатых годов, и В. Эртля — двадцатых. У нас обсуждение вопросов коммуникативной структуры предложения было начато А. А. Шахматовым. Уже в тридцатые годы к ним обратился В. Г. Адмони. Подробный обзор см. в кн.: В. З. П а н ф и л о в, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971, стр. 139 и сл. См. также: J. F i r b a s, Some aspects of the Czechoslovak approach to problems of functional sentence perspective, «Functional sentence perspective. Papers prepared for the Symposium held at Mariánské Lázně on 12—14<sup>th</sup> October. 1970» [потапронт].

<sup>3</sup> См.: «Materiály k bibliografii prací o aktuálním členění větném», sest. Z d. T y l, Praha, 1970; эта библиография насчитывает 663 работы, но она далеко не полностью отражает, например, советские исследования последних лет, особенно появившиеся не в центральных органах. (С сожалением приходится констатировать некоторые ошибки — например, работа Фр. Травничка 1937 г. значится под 1927 г.)

возможно ли универсальное решение этого вопроса для языков разных типов. Пока он привлекает наибольшее внимание преимущественно со стороны исследователей языков флективного строя (и английского) и наиболее активно разрабатывается на русском и славянском материале. Существуют следующие возможности:

1. Явление актуального членения принадлежит грамматическому уровню<sup>4</sup> и относится к предложению<sup>5</sup>. Отсюда следует, что в качестве синтаксического оно должно учитываться при определении структурных моделей предложения и включаться в соответствующий набор элементарных единиц и схемы их сочетаний<sup>6</sup>. Аргументами в пользу такой точки зрения могли бы служить как явления грамматически идентифицирующей роли порядка слов (впрочем, не массовые в славянских языках), так и явления тесной зависимости некоторых грамматических категорий и категорий актуального членения (так, явления предикации и полупредикации возникают при вычлениии нового элемента сообщения и связаны с тем, что обычно называется логическим акцентированием<sup>7</sup>; связи, возникающие в пределах словосочетания, могут изменяться под воздействием актуального членения и т. д.<sup>8</sup>).

2. В соответствии с получившей в последнее время широкое распространение идеей ступенчатости, теорией иерархии основных синтаксических единиц<sup>9</sup> актуальное членение относится к ступени речевых реализаций структурных схем предложения и считается принадлежностью высказывания. Тем самым оно оказывается на уровне манифестации языковой системы в речи и выводится за пределы языковых абстракций высшего

<sup>4</sup> Подобной точки зрения придерживаются в своих известных работах И. П. Распопов, К. Г. Крушельницкая, а имплицитно многие другие исследователи. Эксплицитно эта точка зрения сформулирована в работе: M. A. K. Halliday, *The place of «functional sentence perspective» in the system of linguistic description*, «Functional sentence perspective ...».

<sup>5</sup> См., например: Н. Д. Арутюнова, *О взаимодействии номинативного и коммуникативного аспектов предложения*, «Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. Тезисы докладов», Л., 1971. В. З. Панфилов считает актуальное членение неотъемлемой принадлежностью предложения, но выводит его за пределы синтаксического уровня (В. З. Панфилов, *Грамматика и логика*, М.—Л., 1963, стр. 40 и др.; его же, *Взаимоотношение языка и мышления*, стр. 138 и сл.).

<sup>6</sup> Таких попыток, однако, нет, кроме представленной в «Грамматике современного русского литературного языка» (М., 1970).

<sup>7</sup> См.: В. З. Панфилов, *Взаимоотношение языка и мышления*, стр. 169 и сл., 199 и др.

<sup>8</sup> См., например: J. Mistrík, *Slovosled a vetosled v slovenčine*, Bratislava, 1966 (о более ранних чехословацких работах, затрагивающих эту проблему, см.: О. А. Лаптева, *Чехословацкие работы последних лет по вопросам актуального членения предложения*, ВЯ, 1963, 4); Н. Кřížková, *Предикативное определение и структура предложения в современном русском языке*, «Slavia», 1969, 1; А. С. Мельничук, *Порядок слов и синтагматическое членение предложений в славянских языках*, Киев, 1958; Б. В. Кедис, *Порядок слов в субстантивированных словосочетаниях в английском и латинском языках*, Рига, 1969. Особенно интересно стоит вопрос о так называемых детерминантах. Включаясь в структурную схему предложения, они вместе с тем обычно участвуют определенным образом и в актуальном членении (в его общепринятом понимании). См. статью, заключающую дискуссию: Н. Ю. Шведова, *Существуют ли все-таки детерминанты как самостоятельные распространители предложений?* ВЯ, 1968, 2. В книге П. Адамца «Порядок слов в современном русском языке» (Praha, 1966) последовательно учитывается зависимость актуального членения от семантики и грамматического состава предложения.

<sup>9</sup> Имеются в виду известные работы Ф. Данеша о трехуровневой природе синтаксической единицы (план лексического наполнения и смысловой структуры предложения, план его грамматической структуры и план речевой реализации этой структуры), ставшие очень влиятельными в отечественном языкознании последних лет. Их результаты учитываются, например, в построениях новой «Грамматики» (1970), в работах В. А. Белошапковой. Ср. также: M. Grepil, *Emocionálně motivované aktualizace v syntaktické struktuře výpovědi*, Brno, 1967.

ранга<sup>10</sup>. Аргументом в пользу такой точки зрения служит то, что при изменении порядка слов в предложении — например, славянском — основные грамматические отношения компонентов предложения остаются неизменными. Кроме того, компоненты актуального членения обнаруживают соотношенность с конкретным содержанием предложения, с его лексическим (контекстуально обусловленным) наполнением (так, если для структурной схемы предложения *Иван идет в Москву* безразлично лексемное выражение каждого члена, то для соответствующего высказывания именно оно может оказаться первостепенным). Еще одним аргументом следует считать факт зависимости актуального членения от собственно синтаксической организации материала (так, словосочетание может оказывать сопротивление актуальному членению и благодаря стабилизации своих связей выступать комплексно вопреки задачам раздельного представления членов сообщения<sup>11</sup>. Поэтому осуществление актуального членения на уровне предложения и на уровне словосочетания может оказаться различным)<sup>12</sup>.

3. Уровень актуального членения лежит над уровнем синтаксиса, это следующая ступень языковой абстракции. Основным аргументом здесь служит значительная общность явлений актуального членения в языках разного строя, позволяющая интерпретировать функциональную перспективу предложений самых различных типов всего лишь в двух терминах (обычно «данное» — «новое») <sup>13</sup>. Материальные средства выражения актуального членения — порядок слов и интонация, в некоторых языках артикль и специализированные показатели — лексические и морфологические — относятся таким образом к особому суперсегментному уровню.

4. Явление актуального членения весьма широко изучается и в связи с задачами установления соотношений основных категорий языка и мышления. Факт большой близости (возможно — параллелизма) членения суждения на *S* и *P*, а высказывания — на данное и новое<sup>14</sup> побуждает некоторых исследователей или относить актуальное членение непосредственно к области структуры мысли, т. е. выводить его за пределы языка, рас-

<sup>10</sup> Рассмотрение в этом плане явлений актуального членения И. И. Ковтуновой [см. ее: «Порядок слов в русском литературном языке XVIII — первой трети XIX в.», М., 1969; «Актуальное членение и система языка», «Functional sentence perspective ...», соответствующие разделы в новой «Грамматике» (1970)], представляющее собою первую, весьма интересную и остроумную попытку систематизации схем актуального членения, противоречиво в том отношении, что построение этих схем осуществляется в плане языковой парадигматики, хотя само актуальное членение признается принадлежащим уровню высказывания (в то же время в «Грамматике» здесь использован термин «предложение», хотя коммуникативные схемы предложения выводятся за пределы его структурных схем, что нельзя признать последовательным осуществлением принятой концепции).

<sup>11</sup> Ср.: Н. Н. Прокопович, К вопросу об аспектах анализа предложения, «Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков».

<sup>12</sup> В другой терминологии эти явления трактуются как принадлежащие глубинной или поверхностной структуре предложения (Н. Хомский, А. А. Холодович, А. В. Исаченко). См. обсуждение вопросов порядка слов на VI Международном съезде славистов в Праге в 1968 г. («Resumé přednášek, příspěvků a sdělení», Praha, 1968). Отчет см.: V. H r a b ě, Z VI. mezinárodního sjezdu slavistů v Praze, SaS, 1969, 1, стр. 76 и сл. В работе: O. D a h l, Topic and comment. A study in Russian and general transformational grammar, Göteborg, 1969 дается (в соответствии с учением Н. Хомского о глубинной и поверхностной структуре предложения в связи с расположением его компонентов) рассмотрение некоторых типов простого предложения в русском языке посредством оперирования понятиями и терминами символической логики.

<sup>13</sup> Ср.: В. З. Панфилов, Взаимоотношение языка и мышления, стр. 230.

<sup>14</sup> Степень этой близости обычно не устанавливается. Иногда между *S* — *P* и данным — новым ставится знак равенства (В. З. Панфилов).

смаывая как способ проявления структуры суждения<sup>15</sup>, либо избирать специальное решение, принимая для него особый уровень — логико-грамматический<sup>16</sup>. Основная возникающая здесь трудность состоит в интерпретации синтаксического материала с точки зрения его соотносимости с суждением (имеются синтаксические структуры, не выражающие суждения; предстоит выяснить их отношение к актуальному членению<sup>17</sup>).

Несомненно, что аргументация в пользу различных точек зрения (названная здесь и другая возможная) отражает реальные характеристики явления актуального членения, которое таким образом предстает как весьма сложное и многоплановое, как область схождений многих разнохарактерных признаков. Будучи связано в первую очередь с линейно-временным способом осуществления речи, с созданием функциональной перспективы высказывания<sup>18</sup> и являясь функциональной категорией, актуальное членение возникает при воплощении языковой структуры в речи, отражает структуру категорий мышления и определяется непосредственной коммуникативной задачей говорящего. При этом может наблюдаться и несовпадение плана языковой системы и плана ее речевой реализации, плана логического и плана языкового, что естественно при переходе от одной системной организации к другой и, видимо, не нарушает принципа изоморфизма.

II. Реальное речевое проявление актуального членения, отражаемое и в самом наименовании явления, состоит в расчлененном представлении структуры высказывания. Возникает вопрос о природе элементарных единиц актуального членения. Существующие термины (логический субъект — логический предикат, тема — рема, данное — новое, исходная часть — ядро<sup>19</sup>) сходятся в обозначении бинарности членения и на практике употребляются без существенных отличий<sup>20</sup>, различаясь, кажется, лишь тем, что в третьей паре, употребляемой в последнее время чаще, наличествует указание на содержательную интерпретацию членов деления. Используя названную терминологию, исследователи тем самым при-

<sup>15</sup> Ср.: М. И. Стеблн-Каменицкий. Предикативность?, «Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков».

<sup>16</sup> Так поступает В. З. Панфилов, считая при этом, что актуальное членение выражает субъектно-предикатную структуру суждения. Основой для выделения логико-грамматического уровня служит то, что актуальное членение следует строению суждения и при этом выражается языковыми средствами. Однако то же в целом можно сказать и о предложении, и о слове. Поэтому содержательная характеристика этого уровня теряет свои очертания.

<sup>17</sup> В. З. Панфилов считает, что отсутствие актуального членения означает и отсутствие суждения («Грамматика и логика», стр. 36). На стр. 41 его книги «Грамматика и логика» приводится обзор мнений по вопросу отнесения актуального членения к тому или иному уровню языка. Обсуждение этого вопроса см. в работе: В. В. Бабайцева, Соотношение логического, актуального и синтаксического членения двусоставного повествовательного нераспространенного предложения при морфологизированных главных членах, сб. «Развитие русского языка в советскую эпоху», Воронеж, 1969. См. также: В. Н. Багратов, Некоторые замечания о взаимодействии семантической структуры предложения и актуального членения высказывания, «Уч. зап. [Свердл. пед. ин-та], 108, 1970. В работах И. Ф. Вардуля (см., например: «К обоснованию актуального синтаксиса», сб. «Язык и мышление», М., 1967) дается обоснование потенциального и актуального уровней с точки зрения теории о количестве сообщаемой информации. Н. З. Котелова («О логико-грамматическом уровне в языке», там же) склоняется к точке зрения В. З. Панфилова.

<sup>18</sup> В сложившейся практике содержание этого термина оказывается шире содержания термина «актуальное членение».

<sup>19</sup> См. сообщение Ф. Данеша о симпозиуме по актуальному членению (ВЯ, 1971, 3, стр. 145).

<sup>20</sup> Тему и данное различает И. И. Ковтунова, выделяя даже случаи, когда тема обозначает новое. При этом под темой, видимо, понимается первый по порядку член при неэкспрессивном словорасположении («Актуальное членение и система языка»).

нимают качественное различие единиц актуального членения<sup>21</sup>. Способ представленности этих единиц в предложении (resp. высказывании) заключается в таком соотношении с грамматическим составом предложения, при котором они оказываются автономными по отношению к этому составу и могут соответствовать любым его членам (некоторые оговорки были сделаны выше).

Этот тезис, согласно принимаемый практически всеми исследователями, не прошел, однако, должной проверки на фактическом материале. Он получил обоснование на специально отобранных и препарированных фразах<sup>22</sup> и не был впоследствии применен к сплошному обследованию текста, прилагаясь обычно лишь к материалу, приводимому выборочно с иллюстративными целями. Другим общим недостатком является субъективизм в выделении и идентификации применяемых понятий. Практически это означает, что при анализе текста отнесение той или иной части фразы к составу данного или нового производится интуитивно и оставляет возможность иной интерпретации — как в установлении границы составов, так и в их содержательной характеристике<sup>23</sup>. Имеющиеся расхождения не случайны<sup>24</sup>.

Надо сказать, что выделение элементарных единиц актуального членения и теоретически не всегда четко соотносится с принимаемым пониманием природы актуального членения. Определению соотношения единиц актуального и собственно синтаксического членения (первые из них обычно берутся как заданные) при отнесении актуального членения к уровню синтаксиса препятствует их принадлежность к одному уровню (единицы одного уровня не могут выделяться по разным основаниям). Вот почему соотношение явлений предикирования и модальности (если понимать ее широко как отнесение сообщения к действительности) с явлениями, описываемыми термином «новое» («рема», «ядро»), до сих пор нельзя считать установленным<sup>25</sup>. При отнесении актуального членения к высказыванию (в противоположность предложению) это затруднение отпадает, но возникает вопрос о том, что параллелизм поверхностной структуры, а значит и составляющих элементов предложения и высказывания (ведь их внешняя форма всегда идентична, поэлементно они совпадают) должен противиться нарушению внутреннего изоморфизма, имеющему место при несовпадении составов подлежащего и сказуемого с составами данного и нового. Если относить актуальное членение к уровню более высокой абстракции, чем уровень синтаксиса, то сама природа абстрагирования этого уровня остается неясной, поскольку идея данного — нового больше связана с содержательной стороной текста, нежели идея компонента предложения. Наконец, в случае отнесения актуального членения к области логики

<sup>21</sup> Менее ярко это выражено в теории К. Бооста о «наполнении», которое разрешается к концу фразы, и в теории Я. Фирбаса о коммуникативном динамизме (от понятий «данное — новое» Я. Фирбас не отказывается).

<sup>22</sup> См.: V. M a t h e s i u s, *Čeština a obecný jazykozpyt*, Praha, 1947.

<sup>23</sup> Фр. Данеш («FSP and the organization of the text», «Functional sentence perspective...») дает подробный содержательный разбор понятий темы и ремы, данного и нового показывая их относительный характер, их внутреннюю сложность. Из этого разбора явствует, что некритическое применение понятий «данное» и «новое» к реальному тексту встречает серьезное сопротивление материала.

<sup>24</sup> Они проявляются и в интерпретации средней части, выделение которой, наряду с составами данного и нового, восходит к Фр. Травничку.

<sup>25</sup> Г. М. Р а й х е л ь, *Предикативность и предложение*, «Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков». Своеобразная попытка установления соотношений между категориями «предикативность» и «сказуемость», «модальность» и «наклонение», трактуемых в плане дихотомии «логико-грамматический» — «синтаксический», представлена в кн.: В. З. П а н ь л о в, *Взаимоотношение языка и мышления*.

вполне можно было бы удовлетвориться лишь единицами суждения (*S* и *P*), не прибегая к понятиям данного и нового. Кроме того, возникает принципиальное препятствие при анализе актуального членения таких форм, как однословные безличные и номинативные предложения, с одной стороны, как вопрос и побуждение, с другой, логическая природа которых не укладывается в рамки обычного суждения<sup>26</sup>. Попутно заметим, что у терминов «тема» и «рема» есть еще и тот недостаток, что они не несут в себе добавочного содержания сравнительно с терминами «субъект» и «предикат».

Попробуем проанализировать реальный текст с помощью обычно применяемых единиц «данное» (resp. «исходная часть») — «новое» (resp. «ядро»). Облегчим задачу обращением к тексту массовой адресации, а в пределах его — к типичным случаям видимого совпадения единиц синтаксического и актуального членения; подобные случаи к тому же являются примелькавшимся стилистическим приемом. Вот характерный пример: «Все так и есть: сегодня Набережные Челны — невелик городок. Но будущее ему уготовано завидное!» (К. пр. 12 III 70). В соответствии с принятыми представлениями текст хотелось бы интерпретировать так: *сегодня Набережные Челны* — данное первого предложения, *невелик городок* — новое первого предложения, *будущее* — данное второго предложения, *завидное* — новое второго предложения. Но этому препятствует внутренняя структура текста: параллелизм *сегодня* — *будущее* (и далее после второй фразы следует подробный рассказ о будущем), основанный на семантическом сопоставлении или противопоставлении, создает на этих членах повышенную коммуникативную нагрузку. Может быть, это и есть новое обоих предложений? Но что же тогда *завидное*, стоящее в дистантной позиции в отношении *будущее*? И как рассматривать *невелик городок*? Лишь *Набережные Челны* хорошо укладываются в привычное представление «данное», так как в предшествующем тексте было дано описание нахождения этого места на карте.

Еще несколько однородных примеров из газет:

«В каждом из концертов принимают участие ансамбль скрипачей и многие солисты. *Интерес* к этим выступлениям *огромный*» (ВМ 15 I 70); «Прежде этот завод делал мельницы в деревянном корпусе. *Спрос* они имели *огромный*» (ВМ 13 XII 69); «Естественно, товарищи делились впечатлениями о том, как принимали их на предприятиях, заводах, фабриках. *Интерес* к украинской науке был проявлен *большой*» (ВМ 17 I 70); «Предстоящие выступления ведущих танцовщиков училища — отчет выпускников нескольких поколений. *Программа* намечена *обширная* — 3-й акт из балета Л. Делиба „Коппелия“ и дивертисмент, где наряду с выпускниками заняты ученики младших и средних классов» (ВМ 15 I 70); «Пост на проспекте или в парке — это, разумеется, не пограничная вышка, с которой видны поляны и тропки, а с оптикой просматриваются и лесные обитатели. Однако и здесь *зоркость* требуется *не меньшая*» (ВМ 7 I 70); «Учитель нервничает, что от своей работы отвлекается, сердится — *ученик* попался *непонятливый*, а сам правильно учитывать его характер, способности не умеет» (ВМ 17 I 70); «На строительстве Чертановского мясоперерабатывающего завода сегодня трудятся сотни строителей и монтажников. Наступил ответственный момент — наладка и пуск оборудования. Решено пустить завод в эксплуатацию и выдать первую продукцию в этом месяце. *Времени* осталось *мало*. На всех четырех этажах работают

<sup>26</sup> Попытки такого рода имеются — правда, на уровне отнесения актуального членения к высказыванию. См.: Н. К ř í ž k o v á, Tázací věta a některé problémy tzv. aktuálního (kontextového) členění, «Naše řeč», 51, 1968.

вместе с другими строителями и монтажниками слесари московского монтажного управления треста „Союзмясомолмонтаж“» (ВМ 1 IV 70).

Для простоты не будем анализировать весь текст, но только отмеченные курсивом однородные случаи, в которых первый элемент, совпадающий с синтаксическим подлежащим, должен быть признан данным, второй, совпадающий с синтаксическим сказуемым, — новым. Мы специально приводили обширный контекст, чтобы показать, что повода для такой интерпретации он не дает — «новым» является и первый (он не упоминался прежде) и второй член. В то же время рассматривать эти предложения как нерасчлененные также не представляется возможным — слишком явно дистантное разъединение семантически полнозначных членов.

Думается, что релевантным для единицы актуального членения оказывается только один признак — относительная степень коммуникативной (информативной) нагрузки. В этом смысле компоненты актуального членения принципиально не различаются. Такая характеристика, как содержательное отношение к предшествующему контексту, подвижна и необязательна. Она может быть представлена при построении высказывания (например, когда имеются отношения сопоставления, противопоставления), но может и отсутствовать и потому является лишь частным случаем организации текста. Стремление найти данное и новое в любом случае ведет к субъективизму интерпретации и различающимся решениям. Неосознанное скептическое отношение к понятиям «данное — новое» стихийно проявилось в мнении о несовпадении объема терминов «тема — рема» и «данное — новое».

По признаку степени коммуникативной (информативной) нагрузки выделяется основная единица актуального членения — коммуникативный (информативный) центр. Возникает вопрос о количестве таких единиц в высказывании. Думается, что не связанные между собою отношения бинарности и выделяемые не по качественному (содержательному), но по количественному признаку, такие единицы могут быть представлены в высказывании в разном числе — от одного до  $n$ <sup>27</sup>. Они соотносятся друг с другом таким образом, что могут нести равное или неравное количество информации. При этом они вступают в определенные отношения и с остальными частями высказывания, которые не составляют информативный центр по причине малой коммуникативной нагрузки<sup>28</sup>. Субъективный момент в трактовке не оказывается исключенным полностью и при таком подходе, поскольку, руководствуясь данными о содержании и цели высказывания, предстоит установить, какие его части более важны и какие менее важны для его смысловой организации. Но он и не может быть принципиально полностью устранен — ведь человеческая речь обращена к субъекту и рассчитана на его восприятие, и исследователь не составляет исключения.

Единица актуального членения, обозначаемая нами как коммуникативный (информативный) центр, обладает большей универсальностью, чем соответствующие содержательные единицы («данное» — «новое»). Известно, что последние лишь с большой натяжкой применялись к ана-

<sup>27</sup> Если пользоваться понятием «новое», то может оказаться, что членение наличествует лишь внутри его состава. Идея иерархической, многоступенчатой организации высказывания — внутри нового снова вычленяется новое (см.: О. А. Л а п т е в а, Расположение одиночного качественного прилагательного в составе атрибутивного словосочетания в русских текстах XI—XVII вв. Автореф. канд. диссерт., М., 1963) — как раз и отражает принципиальную возможность членности высказывания на  $n$  центров.

<sup>28</sup> Подробнее об этом говорится в статье: О. А. Л а п т е в а, Некоторые понятия теории актуального членения применительно к высказыванию в разговорной речи (в печати).

лизу конкретного естественного текста, в особенности художественного, насыщенного сложными предложениями (например, текста Достоевского или Л. Толстого)<sup>29</sup>. Приходилось прибегать к помощи идеи иерархической организации единиц, которая тоже не всегда помогала. Для анализа текстов разговорных, кратких, обычно не имеющих пространных контекстов, они тоже не очень годились (в самом деле: где данное и где новое в единичных репликах типа: — *Закрой дверь!*; — *Перчатка упала!*; — *Ты куда?*; — *Я здесь*. Или здесь нам будет предложено пользоваться неясной идеей нерасчлененности?). Информативный же центр может быть в высказывании любого типа.

Наименьшие затруднения представляет выделение информативных центров в высказываниях звучащей повседневной речи. Здесь задача облегчается наблюдением над ритмико-интонационной структурой, которая отражает коммуникативную структуру высказывания, хотя, конечно, далеко не всегда полностью с ней совпадает. Ср. такие фразы с числом центров, большим двух: — *Ты знаешь я что думаю? Я думаю что писать можно музыку совершенно спокойно; Мне хоть бы другую карточку; ... и без конца, без конца с ним такие происходили истории; Я уже в трёх была магазинах хозяйственных — нигде палки нету; Кадров здесь красивых очень много будет; Очень много было интересных вещей; Крепко он сожалел, что бросили его на хозяйственную работу*. В подобных фразах, возникающих в речи единично, лишь для данного случая, все подвижно — от места и числа ритмико-интонационных усилий до коммуникативной структуры. Они могут — при эксперименте — быть произносимы вновь и вновь в разных вариантах (число которых, конечно, весьма ограничено) — но в каждом отдельном речевом осуществлении в них образуется своя однозначная связь между ритмико-интонационной и коммуникативной структурами, которые тоже при этом вполне однозначны. Эта гибкость речевых структур находит свое отражение при применении понятия информативного центра. Здесь же заметим, что не все речевые структуры коммуникативно и ритмико-интонационно переменны — автоматизм устной речи обуславливает наличие в ней большого числа структур с устойчивым и не подверженным изменениям строением.

Использование понятия информативного центра должно привести к уточнению ряда общих вопросов — в частности, о соотношении актуального и грамматического членения, актуального и ритмико-интонационного. Предстоит выяснить, может ли (и каким образом) грамматический материал оказывать сопротивление актуальному членению, могут ли ударные ритмико-интонационные звенья фразы соответствовать частям высказывания, не входящим в информативный центр<sup>30</sup>.

III. Заслуживает обсуждения и изучения еще один вопрос. Он связан с выяснением возможностей членности языкового материала и может быть поставлен так: 1) представлено ли актуальное членение в каждом конкретном высказывании?; 2) представлено ли актуальное членение в каждом конкретном типе текста?

<sup>29</sup> Показательна неудача Б. А. Ильина в анализе такого рода («Об актуальном членении предложения», сб. «Вопросы теории английского и немецкого языков», Вологда, 1969), которая носит не личный, а принципиальный характер.

<sup>30</sup> Подробнее см.: О. А. Лаптева, Некоторые понятия теории актуального членения ..., где первые наблюдения такого рода свидетельствуют о том, что это соответствие возможно. Там же описываются случаи несовпадения, столкновения ритмико-интонационной и информативной структуры высказывания. Ритмический принцип в его взаимодействии с актуальным членением исследовался в чехословацкой лингвистике. См.: J. F i r b a s, From comparative word-order studies, «Brno studies in English», IV, Praha, 1964; E. P a u l i n y, Gramatické činitelia a vetný takt pri slovoslede, «Slovenská reč», XVI, 7, 1950—1951.

К какой бы точке зрения из названных четырех в первом разделе относительно природы уровня актуального членения мы ни примкнули, из того факта, что актуальное членение признается явлением языкового (или логического) уровня и тем самым универсальным — в смысле охвата языковых фактов — явлением, следует, что каждая синтаксическая единица (предложение, высказывание), реализуясь в речевом акте и находясь при этом на данном (принимаемом исследователем) уровне, членится в соответствии с коммуникативными установками говорящего (resp. пишущего).

Насколько это верно (а забегая вперед, скажем, что это неверно)<sup>31</sup>, показывает хотя бы материал так называемых нерасчлененных предложений (типа *Мне холодно, Стало сыро*, где нерасчлененность выражена грамматически, и *Я пошла в кино, Я сегодня обедал в столовой*, где она не выражена из-за грамматической двусоставности). Принято считать, что они составляют особый класс, безразличный к актуализации. Однако отсутствие актуализации в них вряд ли следует связывать с их категориальными свойствами (которые к тому же остаются неясными) — ведь любое из подобных предложений может быть представлено расчлененно (ср. хотя бы горьковское: *Море — смеялось*).

Неактуализированные предложения самого различного грамматического состава бывают широко представлены в любом тексте разной функциональной отнесенности — начиная от наиболее чуткого к актуализации разговорного и кончая научным. Возьмем хотя бы расшифровку магнитофонной записи диалектной речи, приводимую В. И. Трубинским: «неделю лежал, камень привязан да тут складено на ноги, навещали его, передачу носили, я всё бегом ы бежу, до страды то дожили дак он ужэ и лопатить косы стал»<sup>32</sup>. В пределах этого высказывания объединены преимущественно синтаксически двучленные структуры, не подвергнутые речевой актуализации. Содержание высказывания доносится до слушателя не по отдельным частям двучленных структур, а суммарно, в соответствии с развертыванием его синтаксической организации. (Заметим, что этому способствуют и неясность границ между отдельными высказываниями в потоке связной речи<sup>33</sup>, их сцепление по принципу ассоциативного нанизывания — это также смазывает явственность идентификации той или иной части высказывания как его информативного центра.)

Возьмем еще такой художественный текст, имитирующий разговорную речь: «Так они что сделали: взяли ежей там развели, и все... — Дак они что, едят змей? — Еще как! Ежи и свиньи — жрут за милую душу. Кабаны еще дикие — тоже едят» (В. Шукшин, В селе Чебровка, «Новый мир», 1969, 10). Думается, что было бы ошибкой стремиться видеть в каждой такой фразе коммуникативное расчленение (хотя приведенный текст является в гораздо большей степени актуализируемым в силу своего характера, чем, например, авторские рассуждения философского или этического характера, как у Достоевского или Толстого). Там же, где оно действительно явственно представлено (последние две фразы), оно осу-

<sup>31</sup> Н. Ю. Шведова пишет: «Актуализированный или, что то же самое, функционально измененный словопорядок не существует сам по себе; он выявляется только в противопоставлении „неактуализированный словопорядок / актуализированный словопорядок“» (указ. соч., стр. 45). Это вполне справедливое, на наш взгляд, понимание сути актуализации восходит к В. Матезиусу.

<sup>32</sup> В. И. Т р у б и н с к и й, Об участии постпозитивной частицы *то* в построении сложного предложения (по материалам пинежских говоров), «Севернорусские говоры», 1, Л., 1970, стр. 59.

<sup>33</sup> В последнее время все чаще раздаются голоса с указаниями на такого рода явления. См.: Ю. М. С к р е б н е в, К критике проблемы универсальной единицы синтаксиса, «Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков».

ществляется с помощью представления части (частей) высказывания как его информативного центра (центров); этот центр (центры), в свою очередь, может быть — в случаях указаний со стороны контекста — интерпретирован в терминах «данное» — «новое», а может и не поддаваться такой интерпретации.

Скорее всего актуализация должна пониматься в плане потенциальной возможности каждого высказывания (естественно, кроме однословного) представляться в речи расчлененно в коммуникативном отношении. Принципиальных ограничений для такого представления, видимо, не существует (некоторые случаи сопротивления грамматического и лексического материала предстоит обследовать особо). Осуществление этой возможности связано с коммуникативными установками говорящего (пишущего), в задачи которого может входить или не входить специальное проявление информативной структуры высказывания.

Здесь возникает вопрос о принципах использования контекста, роль которого в анализе коммуникативной структуры высказывания нередко абсолютизируется. Следует иметь в виду, что существуют разные виды текстов (вплоть до единичных реплик) и разные принципы организации связного текста, поэтому и степень зависимости конкретного высказывания от контекста может быть различной, начиная от нуля и кончая полной обусловленностью.

Теперь обратим внимание на то, что, помимо неравномерности проявления актуализации в пределах одного текста, существуют и целые речевые сферы с максимально и минимально выраженной тенденцией к актуализации. Чем более непосредственным является контакт с собеседником, тем больше возможности для говорящего влиять на восприятие его речи собеседником и ставить себе специальные коммуникативные задачи (отметим, что в устно-разговорной разновидности современного русского литературного языка сформировались специальные приемы и средства — и не только в области словорасположения и интонирования, но и в области собственно синтаксиса<sup>34</sup> — для выражения таких задач). И напротив — если контакт с собеседником опосредствован письменными средствами, у пишущего на первый план выступает задача адекватной передачи своей мысли — ведь у того, кто будет читать, у его заочного корреспондента будет возможность повторить свое восприятие текста и вновь к нему вернуться (у слушающего такой возможности нет). Поэтому такое средство организации высказывания, как порядок расположения компонентов, подчиняется разным факторам в таких, например, речевых антиподах, как устно-разговорная разновидность современного русского литературного языка и научный стиль, будучи в большей мере обусловленным требованиями актуального членения в первом случае и требованиями грамматической завершенности высказывания во втором. От этого зависит и его большая строгость, меньшая варьируемость во втором случае.

Возьмем такие, например, фразы научного текста: «Бензиловый спирт в конечной концентрации  $1 \cdot 10^{-2}$  М довольно сильно тормозит дезаминирование тирамина,  $\beta$ -фенилэтиламина и бензиламина. При уменьшении концентрации бензилового спирта до  $1 \cdot 10^{-3}$  М наблюдается отчетливо выраженная избирательность в торможении: гораздо сильнее тормозится дезаминирование 4-ОН-, 4-ОСН<sub>3</sub>- и 4-NH<sub>2</sub>-производных  $\beta$ -фенилэтиламина, чем незамещенного  $\beta$ -фенилэтиламина, его 4-хлорпроизводного и бензиламина. Аналогичным тормозящим действием обладают  $\beta$ -фенилэтиловый и  $\beta$ -циклогексилэтиловый спирты. Из спиртов алифати-

<sup>34</sup> См.: О. А. Лаптева, О некодифицированных сферах современного русского литературного языка, ВЯ, 1966, 2.

ческого ряда ингибиторные свойства появляются только у гомологов с числом метиленовых групп больше 5, а октиловый спирт вызывает уже такое же торможение, как и бензиловый спирт». Обозначить здесь предмет речи как тему — значит не внести ничего содержательно нового в его языковую характеристику. Тем более вряд ли следует обозначать его как данное (это просто неверно). Информативные центры, связанные с осуществлением коммуникативной задачи пишущего, здесь также не сформированы (этому препятствует и строгий порядок следования элементов, почти не способный в научном тексте современного русского литературного языка подвергаться изменениям). Налицо здесь ясно выраженная логическая структура текста (цепи суждений с выраженными *S* и *P*), требующая определенной грамматической (синтаксической) организации, в которую включается и определенный порядок следования элементов<sup>35</sup>. Если же обратиться к газетным текстам типа приведенных выше (ср. еще: «Какое нужно освещение для растений? Сколько им нужно подавать энергии? Такие вопросы стоят в наши дни перед учеными разных стран» — ВМ 15 XII 69), то можно отметить, что расчленение высказывания на центры, идущее от устно-литературной речи, стало здесь своего рода приемом, литературным штампом<sup>36</sup>, приметой этого вида текстов<sup>37</sup>.

Представляет ли собой актуальное членение в таком случае явление особого уровня языковой системы? Вряд ли. Коммуникативные задачи сообщения связаны с его мыслительной, содержательной стороной. Языковые средства их воплощения — это лишь некоторые способы организации речевого материала, не претендующие на специальный языковой статус. Что касается отражения в предложении логической структуры суждения, то связывать его только с актуальным членением, на наш взгляд, не обязательно. Оно проявляется и в собственно строевой, синтаксической организации предложения.

IV. Актуальное членение как языковое явление имеет закрепленные за ним средства выражения — интонацию и порядок слов (а для устно-разговорной разновидности современного русского литературного языка и ее письменных отражений — и ритмическую организацию высказывания<sup>38</sup>). Эти средства нуждаются в рассмотрении с точки зрения их специализации для выражения актуального членения.

В научной литературе широко пользуются понятием логического ударения<sup>39</sup>. Обычно под ним понимается усиленная акцентуация того или иного слова фразы с целью его смыслового подчеркивания (или, пользуясь нашей терминологией, с целью выражения его коммуникативной нагруз-

<sup>35</sup> Об особенностях актуального членения в научном тексте см.: О. А. Л а п т е в а, [рец. на кн.:] И. И. Ковтунова, Порядок слов в русском литературном языке XVIII — первой трети XIX в., ВЯ, 1970, 5, стр. 124; е е ж е, О некоторых синтаксических тенденциях в стиле современной научной прозы, сб. «Развитие синтаксиса современного русского языка», М., 1966. В ином аспекте см. также: F r. D a n e š, указ. соч.

<sup>36</sup> См., например: А. М. Л о м о в, Письменные эквиваленты разговорных конструкций в языке газет, сб. «Развитие русского языка в советскую эпоху».

<sup>37</sup> Здесь, как и во многом другом, по существу нет расхождения с точкой зрения В. Д. Левина (В. Д. Л е в и н, Литературный язык и художественное повествование, сб. «Вопросы языка современной русской литературы», М., 1971, стр. 72 и сл.), хотя он и считает нашу интерпретацию «ошибочной», делая акцент на генезисе соответствующих конструкций. Думается все же, что решительное исключение устно-речевого генезиса в подобных случаях никак не оправдывается языковой действительностью.

<sup>38</sup> См.: О. А. Л а п т е в а, Литературная и диалектная разновидности устно-разговорного синтаксиса и перспективы их сопоставительного изучения, ВЯ, 1969, 1.

<sup>39</sup> См., например, такие диаметрально противоположные по методам, установкам и результатам работы, как: О. Д а н и л, указ. соч.; В. В. О с о к и н, Логическое ударение, Томск, 1968.

ки)<sup>40</sup>. Использование этого понятия позволяет весьма свободно маневрировать языковым материалом и создает широкие возможности для его схематизации. Так, считается, что фраза *Стоит дом* допускает четыре возможности — по количеству акцентуемых членов и перестановок членов фразы<sup>41</sup>. Интерпретируя тот или иной материал, исследователь, как правило, пользуется практически неограниченной свободой в утверждении факта наличия логического ударения на том или ином слове текста. Это побуждает критически отнестись к расширенному употреблению термина «логическое ударение» и обратить внимание на следующее.

1. Устанавливая понятие логического ударения, необходимо выяснить средства его материального выражения, т. е. изучить его интонационные компоненты в их отношении к компонентам фразового ударения. Обычно вслед за расширительно трактуемым высказыванием Л. В. Щербы утверждается, что если ударение не падает на конец фразы, то это инверсия, или логическое ударение. Это утверждение нуждается в проверке. Предварительные наблюдения показывают, что в русском литературном языке логическое ударение не имеет специфических интонационных характеристик, обнаруживая те же составляющие, что и основные типы интонационных конструкций<sup>42</sup>. Задача состоит в том, чтобы определить, в каких синтаксических условиях и с помощью каких материальных средств осуществляется взаимодействие семантики слова и интонации, которое в одних случаях дает смысловой эффект, в других же остается в пределах собственно фонетики слова<sup>43</sup>.

2. Если тем не менее удастся однозначно определить признаки, по которым данное слово фразы можно считать логически ударенным, то предстоит выяснить, каждый ли значимый элемент текста (вообще или в данном тексте) может по желанию говорящего получать логическое ударение. Думается, что это существенно сузит возможности произвольного экспериментирования в этой области и свободу интерпретаций. Так, может оказаться, что во фразе *Стоит дом* логическому ударению, кроме названных четырех возможностей, будут подвергнуты оба члена сразу — или ни один. Может оказаться также, что слово *стоит* вообще не подвергается логическому ударению.

3. Далее, наконец, предстоит выяснить — уже не в плане только потенциальной возможности, — какие признаки позволяют считать слово реального естественного текста логически ударенным. Может оказаться, что это редкое средство, не типичное для организации совокупности слов, составляющих текст. Может оказаться далее, что в кратких (и единично употребляемых) устно-разговорных репликах логическое ударение также реально используется не часто. Может оказаться также, что коммуникативно важная часть высказывания отнюдь не всегда получает логическое ударение. Так, например, в устно-разговорных высказываниях типа — *Ты открый себе окбшечко; — Кбленька, тѧпки ты свои брбсил* вычленению информативных центров способствует ритмическая организация фразы.

Итак, предстоит выяснить материальные средства и условия осуществления логического ударения. Что касается интонации в целом, то она,

<sup>40</sup> Иногда оно понимается и в отвлечении от голосового выражения — только как смысловой, логический акцент.

<sup>41</sup> Ср. эксперименты А. В. Исаченко («О грамматическом порядке слов», ВЯ, 1966, 6) и схемы новой академической «Грамматики». См. еще: J. Mistrík, указ. соч., стр. 82.

<sup>42</sup> Это дает основание Е. А. Брызгуновой считать термин «логическое ударение» излишним (см.: Е. А. Брызгунова, Интонация и смысл предложения, «Русский язык за рубежом», 1967, 1, стр. 35).

<sup>43</sup> См.: Е. А. Брызгунова, О смыслообразительных возможностях русской интонации, ВЯ, 1971, 4.

видимо, является комплексным средством организации фразы как производимой единицы, высказывания как воплощения в речи структуры предложения и предложения как единицы языка. О ее закрепленности за актуальным членением в качестве специфического средства его выражения говорить не приходится.

Порядок слов выступает в тех же общих функциях (кроме первой), что и интонация, и также не является специфическим средством выражения актуального членения, хотя и широко используется с этой целью. Сложность выявления этих случаев состоит в том, что не каждое отклонение порядка слов от эталона структурной схемы предложения является механическим сигналом функции выражения актуального членения. Дистантное разъединение обычно контактно располагаемых членов, в частности, может вызываться и иными причинами — например, газетной имитацией разговорной речи (примеры см. выше). В устной же речи носителей современного русского литературного языка разного рода разъединения осуществляются в связи с требованиями ритмической организации высказывания, строящегося по принципу чередования ударных и безударных звеньев (ср.:— *Ты м н о г о увидишь и н т е р е с н о г о; Я вообще удивляюсь, что м а л о тут п о ж а р о в; Там ст о л ь к о было н а р о д у — ужас просто*). При этом они также могут выражать раздельное оформление информативных центров, но лишь факультативно и обычно в случаях семантической полновесности слова (не всякое разъединение непременно указывает на актуализацию высказывания). С этим связано и широкое распространение в реальной речи коммуникативно равноценных вариантов, ср. *Очень дблго они были в клинике = бчень они были дблго в клинике*<sup>44</sup>.

Вообще надо сказать, что автоматизм, свойственный речи любого функционального типа, сильно ограничивает сферу реального проявления актуального членения. Порядок слов стремится к клишированию, возникают ходовые шаблоны, и при их использовании в речи задачи актуального членения отступают на задний план, осуществление коммуникативного задания затрудняется.

С другой стороны, для случаев свободного пользования порядком слов вне сложившихся клише в такой, например, сфере, как спонтанная устная речь, сильно действует принцип ассоциативного нанизывания слов, отражающего свободную смену возникающих представлений. Ср. приведенные выше диалектные примеры, а также такие, например, случаи: «И потом она... К ним позвонили! И они... и она собаку вот так натравила: „Фс!“ — и она пошла»<sup>45</sup>.

Таким образом, механизм проявления актуального членения показывает, что специфическими, только за ним закрепленными средствами выражения своих единиц оно не располагает. Актуализация высказывания наличествует в реальном тексте далеко не всегда. Это снова заставляет усомниться в существовании особого языкового уровня — уровня актуального членения.

В этой статье были намечены некоторые задачи исследования явлений актуального членения. Видя пользу в сомнении, мы ограничились лишь постановкой некоторых вопросов и ни в коей мере не стремились ни к исчерпывающему их перечислению, ни тем более к их однозначному решению.

<sup>44</sup> На материале согласованных определений такие варианты устанавливаются в статье: О. А. Л а п т е в а, Расположение компонентов в группе «определяемое — одиночное согласованное определение» в современной устно-разговорной речи, сб. «Русский язык. Грамматические исследования», М., 1967.

<sup>45</sup> В. В. Г а р а н и н а, Особенности синтаксиса устной монологической речи учащихся второго класса, сб. «Русская разговорная речь», Саратов, 1970, стр. 204.

Т. М. НИКОЛАЕВА

АКТУАЛЬНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ — КАТЕГОРИЯ ГРАММАТИКИ ТЕКСТА

В том, что актуальное членение есть некоторое единство содержания (деление предложения на исходную часть — тему, и на то, что сообщается о ней) и формы (лингвистические средства, выражающие это деление), согласны все исследователи, занимающиеся этой проблемой. И все же широта толкования этого термина поистине безгранична<sup>1</sup>.

Как представляется, демонстрируемое разногласие подходов при общем принципиальном единстве объясняется тем, что для данного исследователя является основным — содержание или форма. Этот перенос центра тяжести на то или на другое, будучи еще некоторое время назад концептуально не значащим, в настоящее время уже приводит к существенным теоретическим расхождениям. Итак, можно говорить о «прежде всего содержательном» и о «прежде всего формальном» подходах к актуальному членению. Для тех, кто стоит на позиции прежде всего содержательного подхода, актуальное членение должно быть во всяком (или почти всяком) предложении, реализованном в речи, и задача исследователя в этом случае — найти и описать средства его выражения в каждом случае. Для сторонников прежде всего формального подхода актуальное членение представлено только в тех предложениях, где оно выражено формально.

В соответствии с каждым из этих подходов число и структурное качество так называемых нерасчлененных предложений меняется: их больше при формальном подходе и меньше — при содержательном. Нерасчлененность / расчлененность при том или ином подходе также по-разному связана с контекстом.

При формальном подходе история актуального членения обычно начинается с Матезиуса<sup>2</sup>, при содержательном — может связываться еще с логикой Пор-Рояля<sup>3</sup>.

Однако и содержательный, и формальный подходы достаточно разнообразны концептуально. Так, при содержательном подходе актуальное чле-

<sup>1</sup> О. А. Лаптева, как мы видим выше, показывает подробно лингвистический фон, на основе которого разрабатывается теория актуального членения.

<sup>2</sup> Однако необходимо отметить, что у Матезиуса представлены оба подхода — смысловой и содержательный. Так, в основной своей работе, посвященной толкованию этого термина, Матезиус пишет: «... актуальное членение выясняет способ включения предложения в предметный контекст, на базе которого оно возникает» (В. М а т е з и у с, О так называемом актуальном членении предложения, «Пражский лингвистический кружок», М., 1967, стр. 240). Анализируя эти вопросы на материале английского языка, Матезиус называет актуальным членением смысловое деление предложения на основу и ядро (V. M a t h e s i u s, Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém, Praha, 1961, стр. 91).

<sup>3</sup> В последнее время в ряде работ истоки актуального членения все чаще видят у романиста прошлого века А. Вейля, различавшего в предложении движение собственно синтаксическое и «движение идей», внутри которого выделяется «исходная точка» и цель сообщения (H. W e i l, De l'ordre des mots dans les langues anciennes comparées aux langues modernes, Paris, 1844, цит. по кн.: J. F i r b a s, Some aspects of the Czechoslovak approach to problems of functional sentence perspective, «Functional sentence perspective. Papers prepared for the Symposium held at Mariánské Lázně on 12—14<sup>th</sup> October. 1970» [готипронт]).

нение подразумевает или 1) обязательную двучленность (предложение делится на две части); или 2) тернарную структуру (две основные части и переход между ними); или 3) некоторое градуальное возрастание или убывание смыслового качества, самым разным образом распределенного внутри высказывания<sup>4</sup>. В последнем случае теория актуального членения сливается с другими теориями, описывающими постепенное движение смысла в высказывании и не использующими при этом ни терминов, ни концепций актуального членения<sup>5</sup>.

Для сторонников прежде всего содержательного подхода наиболее существенным и значимым является тот факт, что в высказывании, несомненно, наличествует некий содержательный пласт явлений, не сводимый к синтаксическим отношениям внутри предложения, и некоторое членение, не сводимое к синтаксическому членению. Незавершенность теории высказывания, отсутствие методики расчленения этих дополнительных смыслов приводит, как представляется, к искусственному объединению ряда содержательных явлений на уровне высказывания под общим именем «актуальное членение». Возьмем два предложения *Смерти нет* и *Смерти — нет* или *Жизнь была прекрасной* и *А жизнь / была прекрасной*. При обычном прочтении для сторонников прежде всего содержательного подхода «темы» и «ремы» у этих пар соответственно совпадут. Но они различаются наличием некоторого дополнительного свойства. Так же различаются предложения *Вам начинать* и *Вам — начинать*. Однако при подходе, когда актуальное членение сводится к поискам того, о чем говорится, и того, что говорится, подобные различия в глазах исследователя нейтрализуются.

Сторонники обязательной формальной выраженности тоже далеко неоднородны в подходе к составу высказывания. У них также можно наметить два методических приема: 1) требуется формальное выражение обеих частей — темы и ремы<sup>6</sup>; 2) требуется формальное выражение хотя бы одного из двух основных компонентов. Во втором случае поиски элементов актуального членения в последнее время все чаще сводятся к другой проблеме, тождественность которой с актуальным членением еще требует доказательства — к проблеме «поиска центра». Так, при становлении актуального членения как особой ветви исследования как будто бы считалось очевидным, что тема и рема есть некоторое бинарное единство в н у т р и одного предложения. В настоящее время, однако, при решении

<sup>4</sup> Таково движение напряжения во фразе (Verspannung), описываемое К. Боостом (K. B o o s t, *Neue Untersuchungen zum Wesen und Struktur des deutschen Satzes*, Berlin, 1955). Брненская школа изучения актуального членения, возглавляемая Я. Фирбасом, как будто пользуется тернарной структурой. Однако введение некоторого единого смыслового качества, поддающегося градуированию — так называемого «коммуникативного динамизма» (КД) — заставляет ввести более дробные показатели его наличия или отсутствия. Так, Я. Фирбас различает собственно тему, остаток темы, собственно переход, остаток перехода, рему и собственно рему (J. F i r b a s, указ. соч.).

<sup>5</sup> См., например: D. L. B o l i n g e r, *Linear modification*, «Publications of the modern language association of America», LXVII, 1952, 7; ср. также: И. Г. Т о р с у е в а, Акустические характеристики смыслового членения предложения, «Proceedings of the VI International Congress of phonetic sciences», Praha, 1970, где выделяется особое, отдельное от актуального, смысловое членение предложения, базирующееся на распределении смысловой важности в предложении. Интересно заметить, что английским «переводом» термина «актуальное членение» считается FSP (functional sentence perspective), однако это — не номенклатурная терминологическая эквивалентность, а, несомненно, сдвиг содержания исследуемого понятия. Конечно, функциональная перспектива в предложении и актуальное членение — понятия не идентичные. В более ранних чешских работах «членение» передавалось более точно как «dissection».

<sup>6</sup> Жанр настоящей заметки не дает возможности здесь и в дальнейшем широко привлекать библиографические сведения. Значительное число необходимых указаний содержится в статье О. А. Лаптевой.

вопроса о том, как представлено актуальное членение предложения с вопросительным словом, обычно привлекается ответное предложение, т. е. рассматривается некоторое текстовое дуальное единство из двух предложений.

Средства выражения компонентов актуального членения разнообразны по своим языковым возможностям (это синтаксические средства, интонационные, введение и расположение особого рода модальных слов<sup>7</sup> — *Вероятно, отец приехал — Отец, вероятно, приехал* и т. д.). Проанализируем более подробно то, как формально проявляется один из центров актуального членения предложения; это формальное проявление обычно нерасчлененно называют «акцентированностью», и его имеют в виду, говоря, что тема или рема «акцентированы»<sup>8</sup>.

1. Первый случай «акцентированности», если так можно выразиться, «нулевой». Это — те предложения, в которых не представлены как ярко акцентированные ни тема, ни рема (т. е. большинство реальных предложений в речи).

2. Второй случай — отчетливое членение на две противопоставленных синтагматически части: *А жизнь / была прекрасна; Вам / плакать // мне / смеяться* и т. д.

3. Третий случай — так называемое «логическое ударение» — *П а в е л* *сделает это* (а не Петр); *Я в к и н о* *пойду* (а не домой).

4. Четвертый случай имеет место в высказываниях типа *М о р щ и н* *и с т а* *была эта ладонь; П о р а з и т е л ь н ы м* *бывает иногда человеческое непостоянство*<sup>9</sup>. Этот тип, несомненно, отличается от остальных, но затруднительно найти ему название.

Разберем эти случаи. Первый может рассматриваться как отражение компромисса содержательной и формальной точек зрения; при этом обычно говорят, что «логическое ударение совпадает с фразовым и располагается в зоне последнего ударного слова». Однако выделенность области последнего ударного слога есть факт просодического уровня, зона реализации фразовых интонационных противопоставлений — зона так называемых каденций<sup>10</sup>. Эти просодические факты — показатели терминальности — не имеют отношения к актуальному членению, что видно при расширении предложения: *Я встретил жену — Я встретил жену брата —*

<sup>7</sup> В последнее время все большее внимание привлекает лексический состав предложения (см. работы П. Адамца, Я. Фирбаса и др.). При таком подходе делается попытка «предсказать» членение на тему и рему внутри высказывания, исходя из комплексного анализа его лексико-грамматического состава (т. е. учитывая классы слов и их принадлежность к разным частям речи).

<sup>8</sup> Строго говоря, специфических мелодических конструкций актуальное членение не имеет, но сдвиг интонационного центра на более близкую к началу позицию, т. е. сдвиг ударения с его автоматической просодической позиции, воспринимается слушателем (см. об этом: Е. А. Брызунова, О смысловых различительных возможностях русской интонации, ВЯ, 1971, 4). О более сложных явлениях просодии на фонетическом уровне см.: М. М. Галева, Элементы интонации и их взаимодействие в синтагмах повествовательного предложения в русском языке. Автореф. канд. диссерт., М., 1968.

<sup>9</sup> Эти примеры (и ряд последующих примеров) взяты из работы И. И. Ковтуновой «Принципы словорасположения в современном русском языке» (сб. «Русский язык. Грамматические исследования», М., 1967), где очень полно и интересно представлены разнообразные случаи выражения актуального членения.

<sup>10</sup> Выделение именно этой зоны для фразовых просодических решений доказано экспериментальным путем для ряда европейских языков, в том числе и славянских. В случае мелодического сдвига показателями терминальности могут выступать другие компоненты фразовой просодии — интенсивность и длительность этого участка. Кроме того, к наблюдаемому в ряде случаев мелодическому сдвигу можно относиться как к явлению речевого узуса, противопоставляемому норме (скажем, как к употреблению настоящего времени в значении прошедшего — *Presens historicum* и т. п.).

*Я встретил жену брата Петра — Я встретил жену брата Петра Ивана* и т. д. Во всех этих случаях просодический центр будет автоматически смещаться, но столь же автоматического сдвига ремы не произойдет<sup>11</sup>.

Второй случай есть, несомненно, актуальное членение, т. е. расчленение предложения на две части, соотносимых друг с другом.

Третий случай — это так называемое логическое ударение, которое обычно принято считать ударением на реме. Однако очевидно, что «пафосом» логического ударения является не отношение к тематической части (т. е. к «остальной» части), а отношение к совсем другому элементу, парадигматически противопоставляемому выделенному, но в данное предложение не входящему: *В кино пойдет С е р е ж а* (а не кто-то иной). Таким образом, в явление логического ударения входят содержательные компоненты, выводящие его за рамки бинарного противопоставления темы — ремы внутри одного предложения.

Четвертый случай — обычно инверсивный. Он обозначается как «экспрессивный вариант нейтральных форм»<sup>12</sup>. Однако, возможно, он является вариантом, в котором нейтрализуются две формы: *Музей закрыт* и *Музей/закрыт*, т. е. *З а к р ы т музей*. Этот случай, по всей вероятности, есть факт актуального членения.

Таким образом, и в содержательной, и в формальной плоскости актуальное членение соотносится с целым рядом явлений, имеющих отношение к несинтаксическому членению предложения, явлений достаточно разнородных, не сводимых друг к другу, но, очевидно, объединяемых одним — старой терминологической традицией.

Очевидно, что договориться о том, что же такое актуальное членение — явление прежде всего формальное или прежде всего содержательное, трудно: нужно встать на ту или иную точку зрения. Возможно, что критерием, помогающим принять ту или иную точку зрения, окажется большая или меньшая «лингвистичность» исследуемых явлений. Представляется, что статус лингвистичности того или иного языкового факта определяется не только наличием относящихся к нему тех или иных регулярных (т. е. употребляющихся в одной и той же функции) языковых средств, но и «лингвистичностью» тех содержательных категорий, которые выражаются этими средствами<sup>13</sup>. Обычно же актуальное членение интерпретируется на содержательном уровне в терминах и понятиях наук, смежных с лингвистикой, но не тождественных ей, — логики, психологии, либо описывается через не совсем ясные категории «коммуникативной установки», «коммуникативного задания» и пр.<sup>14</sup>.

Расплывчатость понятия актуального членения при общем согласном мнении, что это — явление лингвистическое, сказывается в том, что (при наличии большого числа исследований по данному вопросу) исследователи

<sup>11</sup> Кроме того, утверждение, что логическое ударение в таких случаях совпадает с фразовым и располагается в конце, не позволяет различать случаи типа *Сергея пошел в кино* и *Сергея пошел в к и н о*.

<sup>12</sup> Эта точка зрения высказывалась П. Адамцем и И. И. Ковтуновой.

<sup>13</sup> В целом это относится к проблеме идентификации того или иного языкового факта как лингвистического. Мы различаем эти понятия: языковой факт выражает нечто посредством языка; лингвистический факт есть часть системы данного языка.

<sup>14</sup> Эти распространенные понятия все же остаются неясными при реальном анализе представленных текстов. Более понятными и операционно выделяемыми оказываются понятия «данного» и «нового», но они в свою очередь далеко не покрывают более общие понятия «темы» и «ремы», с которыми они частично пересекаются. В этом отношении интересно последовательное различение этих двух пар понятий в разделе «Порядок слов в простом предложении» «Грамматики современного русского литературного языка» (М., 1970), где выявлены самые разные соотношения темы и ремы, с одной стороны, и данного и нового, с другой.

очень неохотно занимаются выяснением того, каков языковой статус актуального членения, какое место занимает содержательная сторона актуального членения в общей системе содержательных средств языка. Наиболее определенные точки зрения по этому вопросу высказываются Ф. Данешем и И. Ф. Вардулем — каждый из них представляет свою теорию<sup>15</sup>.

Ф. Данеш различает три уровня в синтаксисе: 1) уровень грамматической структуры предложения; 2) уровень смысловой структуры предложения; 3) уровень организации высказывания. Актуальное членение — это третий уровень синтаксического пласта, по мнению Ф. Данеша, связанный с остальными. Здесь обращает на себя внимание, однако, тот факт, что третий уровень относится к сфере высказывания, предшествующие же два — к предложению.

Согласно теории И. Ф. Вардуля, формальное и актуальное членения относятся к разным языковым уровням. Уровень формального членения называется потенциально-синтаксическим, уровень актуального членения — актуально-синтаксическим. Здесь представляется крайне важным то обстоятельство, что обоим синтаксическим уровням приписываются разные единицы. Так, актуальный синтаксис имеет верхнюю единицу — фразу, а нижнюю — фразу (аналогичную синтагме «по Щербе»). Актуально-синтаксические величины интонационные, потенциально-синтаксические неинтонационные.

Обе эти теории достаточно определенно показывают, что категориям актуального членения по существу не оказывается места в системе языковых категорий. Актуальное членение трудно вставить в какую-то языковую ячейку, определив, «между чем и чем» оно расположено. Поэтому оба исследователя, специально занимавшиеся этим вопросом, вынуждены были создать для актуального членения особый уровень.

А между тем актуальное членение в последнее время все чаще вводится в другую, но также лингвистическую сферу — сферу текста<sup>16</sup>. Текст, в современном лингвистическом понимании, — это отнюдь не только совокупность сведений о типах соединения предложений в единицы высшего ранга, т. е. не только то, что обычно называется «связным текстом»<sup>17</sup>. Теорию текста можно сформулировать как изучение тех отношений, которые возникают в процессе создания последовательности высказываний; эти отношения, именно возникающие, а не данные в системе языка, могут связывать и элементы внутри одного высказывания. Для того чтобы быть понятными для всех носителей языка, отношения, связывающие элементы

<sup>15</sup> См.: M. D o k u l i l, F. D a n e š, K tzv. významové a mluvnické stavbě věty, «O vědeckém poznání soudobých jazyků», Praha, 1958; F. D a n e š, A threelevel approach to syntax, TLP, 1, 1964; см. еще: P. N o v á k, On the three-level approach to syntax, TLP, 2, 1967; И. Ф. В а р д у л ь, О двух синтаксических уровнях языка, «Исследования по японскому языку», М., 1967; е г о ж е, Основные понятия актуального синтаксиса, там же; е г о ж е, К обоснованию актуального синтаксиса, сб. «Язык и мышление», М., 1967.

<sup>16</sup> Не случайно именно этой проблематике посвящена значительная часть докладов на Симпозиуме по актуальному членению 1970 г. Это доклады: M. A. K. H a l l i d a y, The place of «functional sentence perspective» in the system of linguistic description, «Functional sentence perspective ...»; W. D r e s s l e r, Funktionelle Satzperspektive und Texttheorie, там же; F. D a n e š, FSP and the organisation of the text, там же. М. А. К. Халлидей определяет актуальное членение как средство выражения одной из основных функций языка, а именно — функции создания текста. Это — текстосозидающий компонент языка.

<sup>17</sup> Разумеется, речь идет не о «несвязном» тексте. Однако представляется, что гипноз прилагательного «связный» приводит к концентрации интереса исследователя в первую очередь на внешних формальных средствах — показателях внутритекстовой связи и во вторую очередь — на тех смысловых отношениях, которые возникают внутри текста. Кроме того, при поисках «связности» часто остаются вне внимания текстовые отношения, возникающие внутри одного предложения.

текста, должны быть одинаково интерпретируемы и иметь единообразную систему средств выражения. Это значит, что речь идет о грамматике текста с системой своих специфических средств и системой содержательных категорий<sup>18</sup>.

Представляется, что интонация является одним из основных средств этой пока еще не исследованной грамматики текста. Вероятно, в эту систему войдут в качестве особых содержательных категорий текста многие специфические отношения, передаваемые интонацией и обычно называемые синтаксическими (хотя в обычном синтаксисе они не находят своего места). Это — отношения противопоставления, сопоставления, смыслового равновесия, пояснения и т. д. Смысловые отношения, передаваемые связью элементов текста, могут корреспондировать сложным образом ингерентным значениям слов, составляющих предложения. Тогда создаются более сложные компенсаторные и параллельные зависимости<sup>19</sup>.

Каково же будет место актуального членения в грамматике текста (вернувшись к началу, добавим, — актуального членения, понимаемого прежде всего как формальное средство)?

Обратимся к реальным случаям выражения актуального членения. Прежде всего мы видим, что в каждом предложении, в котором действительно выражено актуальное членение, бывает особым образом выделено некоторое число элементов. Это могут быть два элемента: *П р и с у т с т в о в а л о в о в с е й п р и р о д е / ч т о - т о л и х о р а д о ч н о е*; *В ы г о р а ю т з а л е т о е е в о л о с ы*; *А в о п р о с э т о т з а п у т а н д о в о л ь н о о с н о в а т е л ь н о*; *М а р ш р у т о н и в ы б р а л и г р о м а д н ы й*. В большинстве случаев формально выраженного актуального членения бывает выделен один элемент, который в соответствии с рядом критериев считается темой или ремой. Например: *А ж и з н ь / б ы л а о ч е н ь х о р о ш а я*; *М у з ы к у / я в д о м е с л ы ш а л о т р о ж д е н я*; *П о р а з и т е л ь н ы м / и н о г д а б ы в а е т ч е л о в е ч е с к о е н е п о с т о я н с т в о*.

Таким образом, актуальное членение можно рассматривать на фоне некоторой общей категории текста, которую мы предлагаем называть к а т е г о р и е й в ы д е л е н и я<sup>20</sup>. Под выделением понимается противопоставление одного элемента текста другим его элементам. Это противопоставление может осуществляться как в синтагматическом плане — элемент противопоставлен единицам, эксплицитно представленным в том же тексте, так и в парадигматическом плане — элемент противопоставляется речевым единицам, не представленным в тексте: это, очевидно, имеет место при так называемом логическом ударении.

Категория выделения имеет свои средства, формирующие ее в речи. К ним относятся: 1) перифраза; 2) вынесение акцентируемого члена в виде так называемого «именительного темы»; 3) инверсия разных видов; 4) местоименная реприза; 5) логическое ударение; 6) актуальное членение.

Выше уже говорилось, что в своей содержательной части актуальное членение входит в ряд содержательных отношений, передающих несобственно синтаксические смысловые отношения внутри высказывания.

<sup>18</sup> О существовании «особой области лингвистики, изучающей неграмматические элементы и правила организации высказывания» писал Ф. Данеш (см. его «A three-level approach ...»). В настоящее время интерес к теории текста, рассматриваемой в чисто лингвистическом плане, стремительно увеличивается, уже распространенными стали термины «текстовая лингвистика» и «текстлингвистика». Для более подробного освещения этой проблематики требуется особое исследование обзорного характера.

<sup>19</sup> См. о разных типах таких отношений: Т. М. Николеева, О соотношении сегментных указателей и суперсегментных языковых средств, ВЯ, 1968, 6.

<sup>20</sup> См. об этом также: Т. М. Николеева, Порождение и восприятие речевых отрезков и некоторые лингвистические категории, «Материалы III Всесоюзного симпозиума по психолингвистике», М., 1970.

В своей формальной части актуальное членение включается во второй ряд — средств, обслуживающих текстовую категорию выделения.

Таким образом, актуальное членение представляет собой как бы нечто, лежащее на пересечении этих двух рядов. Иными словами: все несобственно синтаксические смысловые отношения, характеризующие высказывание, не сводятся к актуальному членению<sup>21</sup>, и все средства категории выделения также не сводятся только к актуальному членению.

Если актуальное членение при таком понимании есть именно членение, то, напротив, идея градуального нарастания или убывания некоторого смыслового качества в высказывании (напряжения, коммуникативного динамизма и т. п.), строго говоря, не связана с членением предложения, а соотносится с поэлементной модификацией всего высказывания. Это смысловое качество может быть (и скорее всего является) особой содержательной категорией текста. Столь же особой категорией явится и текстовая оппозиция «данное — новое», соотносимая в плане выражения не столько с актуальным членением, сколько с дейктическими и артиклеобразными показателями, анафорическими конструкциями и другими единицами текста в сходной функции; таким образом, оппозиция «данного — нового» соприкасается с категорией «определенности — неопределенности».

Целью настоящей заметки было, с одной стороны, очертить рамки актуального членения как формального средства, поставив его в более узкие границы наряду с другими текстовыми средствами; с другой стороны — показать, что актуальное членение, представленное в современной лингвистической теории, — это конгломерат различных подходов к гетерогенным языковым явлениям, разъединить и описать которые, может быть, настало время.

---

<sup>21</sup> В частности, И. Г. Торсуева различает смысловое членение (по степени важности) и актуальное членение (см., например: И. Г. Торсуева, Роль интонации в оформлении элементов смыслового членения предложения, «Уч. зап. [МГПИИЯ]», 60 — Исследования языка и речи, 1971).

Я. ФИРБАС

ФУНКЦИИ ВОПРОСА В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ

Исследование вопросительных предложений с точки зрения функциональной перспективы предложения (ФПП, или актуального членения)<sup>1</sup> связано прежде всего с общей разработкой теории ФПП. Следуя за Ф. Дашешом<sup>2</sup>, мы различаем семантическую структуру предложения и грамматическую структуру предложения. Для простоты мы будем, однако, говорить здесь о семантико-грамматической структуре предложения. Эта структура может проявляться (функционировать) в разных контекстах, или в разных перспективах; таким образом, она служит разным коммуникативным целям. Об этом ясно свидетельствует тот факт, что интонационный центр, т. е. функционально наиболее важная просодическая примета предложения, может соответственно относиться к разным элементам предложения, например, *The 'girl 'came into the`room*, *The`girl came into the room*, или с сильным контрастным ударением *The`girl came into the room*, *The girl came`into the room*<sup>3</sup> и т. д. Теория ФПП ставит своей целью установление закономерностей, которые определяют функционирование разных семантико-грамматических структур в разных контекстах

Теория ФПП оперирует понятиями «тема» и «рема». Согласно концепции Матезиуса, тема предложения состоит из элементов, которые выражают нечто известное, данное, а также то, что можно узнать из предыдущего контекста; рема состоит из элементов, выражающих что-то новое, неизвестное, не следующее из предыдущего текста<sup>4</sup>. Так, если структура предложения *The girl came into the room* представляет *the girl* как новое лицо, появляющееся на сцене, то элемент *the girl* следует считать рема-

<sup>1</sup> Указанной проблемой с точки зрения ФПП занимались некоторые чешские исследователи. См.: V. M a t h e s i u s, Základní funkce pořádku slov v češtině, SaS, 1941. 7, стр. 173; е г о ж е, Ze srovnávacích studií slovosledných, «Casopis pro moderní filologii», 1942, 28, стр. 302; е г о ж е, сб. «Čeština a obecný jazykozpyt», Praha, 1947, стр. 336—337; F r. D a n e š, Intonace otázky, «Naše řeč», 1949, 33; е г о ж е, Intonace a věta ve spisovné češtině, Praha, 1957, стр. 80—81; J. F i r b a s, Some thoughts of the function of word order in Old English and Modern English, «Sborník prací filosofické fakulty brněnské university», 6, A 5, 1957, стр. 90—92; M. G r e p l, O větách tázacích, «Naše řeč», 1965, 48; е г о ж е, Emocionálně motivované aktualizace v syntaktické struktuře výpovědi, Brno, 1967, стр. 41; J. M i s t r í k, Slovosled a vetosled v slovenčine, Bratislava, 1966, стр. 97—98; Н. К ř í ž k o v a, Tázací věta a některé problémy tzv. aktuálního (kontextového), členění, «Naše řeč», 1968, 51. Структурально-функциональный подход свойствен и работе: M. A. K. H a l l i d a y, Notes on transitivity and theme in English, II, «Journal of linguistics», 1967, 3, разд. 5.

<sup>2</sup> F r. D a n e š, A three-level approach to syntax, «Travaux linguistiques de Prague», 1964, 1, стр. 225—240.

<sup>3</sup> В приведенной системе обозначений объединяется выражение тона и ударения (см.: R. K i n g d o n, The groundwork of English intonation, London, 1958; P. A. D. M a c C a r t h y, English conversation reader, London, 1956): ' — ударяемый слог с высоким ровным тоном, ` — ударяемый слог с высоким падающим тоном, ' — ударяемый слог с высоким восходящим тоном, " — эмфатически ударяемый слог с высоким падающим тоном, " — эмфатически ударяемый слог с высоким восходящим тоном, ' — ударяемый слог с высоким падающе-восходящим тоном, ' — частично ударяемый слог с низким ровным тоном, ' — частично ударяемый слог, содержащийся в отрезке слогов с восходящим тоном.

<sup>4</sup> В. Матезиус определяет тему как «то, что известно или хотя бы очевидно в данной ситуации и от чего говорящий отправляется в своем высказывании» (V. M a t h e s i u s, O tak zvaném aktuálním členění větném, SaS, 1939, 5, стр. 171. См. также: J. F i r b a s,

тическим, а остальную часть предложения тематической. Если же в качестве нового выступает сцена, на которой кто-то появляется, то элемент *the girl* следует считать тематическим, а остальную часть предложения рематической. Ниже будет показано, что анализ функциональной перспективы предложения можно осуществлять более точно и тонко.

Переходя к интерпретации ФПП вопросительных предложений, следует напомнить, что существует два основных типа вопросительных предложений: 1) так называемые замкнутые (или глагольные) вопросы (по М. Халлидею, *polar interrogative*) и 2) так называемые развернутые (или местоименные) вопросы [по М. Халлидею, *non-polar (WH-) interrogative*] <sup>5</sup>. Примером первого типа является *Are you reading this book?*, примером второго типа — *What are you reading at the moment?*

В. Матезиус ремой местоименного вопроса (*non-polar interrogative*) считает начальное вопросительное слово, т. е. для английского языка WH-элемент (*What are you reading at the moment?*) <sup>6</sup>, поскольку вопросительное слово заменяет неизвестный элемент, который должен быть раскрыт как рема ответа. Элементы, находящиеся после вопросительного слова, образуют тему вопроса. По поводу замкнутых (*polar interrogatives*) вопросов Матезиус замечает, что наиболее частый в чешском языке тип вопроса начинается личной формой глагола, которая несет главное ударение и является рематической. Глагол выражает рему, потому что он указывает на неизвестный элемент, который должен быть раскрыт ответом («да» или «нет»). Ср.: *Pojedeš dnes večer s Petrem do Prahy?* = *Fährst du heute abend mit Peter nach Prag?* Остальная часть вопроса интерпретируется как часть, содержащая известные спрашивающему понятия и поэтому воспринимаемые им как тематические. В то же время Матезиус указывает, что главное ударение может находиться и на другом элементе, а не только на личной форме глагола. В таком случае этот элемент находится не в начальной, а в конечной позиции <sup>7</sup>.

Ф. Данеш, выражая несогласие с Матезиусом, считает, что в местоименном вопросе вопросительное слово не всегда должно быть рематическим; рема может выражаться и другим элементом, а не только вопросительным словом <sup>8</sup>. Вот несколько облегченные примеры Данеша; это две группы предложений, каждая из которых состоит из вопроса и ответа:

A: *Chceme jet do Prahy.*

B: *Kdy tam pojedete?*

A: *Zítرا jedeme do Prahy?*

B: *Kdy pojedete do Brna?*

По Данешу, элемент *kdy* в первой группе действительно функционирует как рема, а все другие элементы передают известную информацию. В другой группе, однако, элемент *kdy* оттесняется элементом *do Brna*, который противопоставляется элементу *do Prahy*.

Наблюдения Данеша показывают, что глагол в замкнутом вопросе нельзя считать однородным носителем ремы. Разные интонации показывают разные оттенки интересов спрашивающего (ср.: *'Have you 'seen my*

b a s, On defining the theme in functional sentence analysis, «Travaux linguistiques de Prague», 1964, 1, стр. 268). Рема предложения (ядро высказывания) определяется Матезиусом как «то, что говорящий утверждает что-то, или то, что он утверждает относительно темы высказывания» (V. M a t h e s i u s, указ. соч., стр. 171; J. F i r b a s, указ. соч., стр. 277).

<sup>5</sup> M. A. K. H a l l i d a y, указ. соч.

<sup>6</sup> V. M a t h e s i u s, Základní funkce ...; его же, Ze srovnávacích studií ....

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> Fr. D a n e š, Intonace otázky, стр. 81—82.

'hat?', 'Have you 'seen my'hat?', 'Have 'you 'seen my 'hat?', 'Have you 'seen `my hat?', 'Have you 'seen my 'hat?'). Глагол выражает рему только тогда, когда он является носителем интонационного центра.

Мы уже пытались показать, что взгляды Матезиуса и Данеша нуждаются в определенном соотношении<sup>9</sup>. Здесь мы предлагаем следующую несколько исправленную и улучшенную аргументацию.

Вопрос отражает иные отношения между говорящим и слушающим, чем повествовательное предложение. В повествовательном предложении говорящий обладает определенным знанием и сообщает его слушателю. В вопросительном предложении главной целью говорящего является получение знания от слушающего; он требует от слушающего, чтобы тот занял позицию говорящего, и, став говорящим, отдал требуемое знание. Чтобы это сделать, говорящий пользуется вопросом.

В местоименных вопросах функция, выражающая желание говорящего получить знание, выполняется в первую очередь местоименным словом (WH-элемент). В замкнутых вопросах эта функция выполняется главным образом личной формой глагола. Другие элементы передают хорошо известные говорящему (спрашивающему) понятия. Спрашивая, например: 'What did you dis'cuss with 'Peter yesterday?', говорящий знает, что слушающий обсуждал вчера что-то с Петром. Это давало основание Матезиусу считать тематическими те элементы, которые стоят в вопросе рядом с показателями желания получить знание.

Указанные понятия могут быть известны также слушателю, и в нашем примере это действительно так (он прекрасно знает, что вчера с Петром нечто обсуждалось). Они могут представлять, как это имеет место в нашем примере, часть общих знаний слушающего и говорящего. Однако при обычных условиях все эти понятия не являются одинаково важными для говорящего, и он должен дать понять это слушателю. Он должен ему показать, в каком именно аспекте следует подойти к вопросу. Этот аспект является новым для слушателя, и в этом виде надо его представить и сообщить слушателю. Важным средством, указывающим на способ подхода к этой позиции, т. е. на перспективу, в которой должен функционировать вопрос, является интонация: 'What did you dis'cuss with 'Peter yesterday?', 'What did you dis'cuss with `Peter yesterday?', 'What did you dis'cuss with 'Peter `yesterday?', 'What did you dis'cuss with `Peter `yesterday?...

Возможно и такое представление проблемы. Говорящий может разделять со слушающим некоторую часть или части знаний. Но во всяком случае он должен сообщить слушающему, какие знания он имеет в виду. При нормальных условиях спрашивающий не может спросить только *Что?* ('What?). Это можно сделать, когда требуется повторение уже высказанного ответа (в этом случае допустима, конечно, также форма 'What did you dis'cuss with 'Peter 'yesterday?').

Отсюда следует, что элементы, которые можно считать известными, поскольку они являются общими знаниями, разделяемыми говорящим и слушающим, нельзя отождествлять с информацией, известной к моменту высказывания. Эти элементы могут оказаться и неизвестными в случае узкого, специального контекста, установленного в самый момент высказывания, или, иными словами, относительно коммуникативной цели вопроса<sup>10</sup>.

Элементы, которые оказываются неизвестными относительно коммуникативной цели предложения, следует считать контекстуально независимыми<sup>11</sup>. Примером может послужить следующее наблюдение. В предло-

<sup>9</sup> J. F i r b a s, Some thoughts ...

<sup>10</sup> J. F i r b a s, Non-thematic subjects in contemporary English, «Travaux linguistiques de Prague», 1966, 2, стр. 246.

<sup>11</sup> Там же.

жении *John has gone to the window* элемент *the window* может быть хорошо известен из предыдущего контекста. Но если целью сообщения является передача направления движения, уточнение места, которое достигнуто или должно быть достигнуто, в данном случае *the window*, обязательно становится контекстуально независимым. Пользуясь объяснением Халлидея, можно сказать, что контекстуально независимые элементы можно было бы представить как элементы, которые передают информацию невыводимую, не извлекаемую из предыдущего контекста <sup>12</sup>.

Итак, можно утверждать, что вопрос выполняет две важные коммуникативные функции: 1) он выражает желание спрашивающего получить знание и обращается к информанту с тем, чтобы тот удовлетворил это желание; 2) он сообщает предполагаемому информанту знание того, чем интересуется спрашивающий (о чем он в данный момент думает), и соответствующий аспект, исходя из которого следует удовлетворить недостаток знания.

Наша попытка согласовать точки зрения Матезиуса и Данеша может быть резюмирована следующим образом. Матезиус наибольшее внимание уделяет первой функции; заслуга Данеша состоит в том, что он достиг лучшего понимания второй. В целом следует сказать, что у Матезиуса нельзя согласиться с тем, как он интерпретирует известные и неизвестные элементы внутри вопроса. Толкование функциональной перспективы вопроса, допускающее только две степени коммуникативной важности, нельзя признать вполне адекватным.

Можно предположить, что в вопросительных предложениях, как и в повествовательных, элементы различаются мерой, в которой они способствуют развертыванию сообщения. Вот пример наиболее обычного функционирования семантико-грамматической структуры *He has found a hat*. Элемент *he* — единственный, который можно считать контекстуально независимым, передающим известную с точки зрения узкой сцены информацию; он в наименьшей мере способствует дальнейшему развертыванию сообщения. *A hat* способствует этому развертыванию в наибольшей мере. Элементы *has* и *found* находятся между *he* и *hat*, причем *found* способствует дальнейшему развертыванию сообщения больше, чем *has*. Указанные элементы передают разные степени коммуникативного динамизма (КД). Элемент, передающий самую низкую степень КД, образует тему, а элемент, передающий наивысшую степень КД, образует рему предложения. Элементы, стоящие между темой и ремой, можно считать переходными. Хотя в немецкой передаче рассматриваемого предложения наблюдается другой порядок слов, относительно распределения степеней КД здесь обнаруживаются те же самые отношения: *Ich habe einen Hut gefunden* <sup>13</sup>. С уверенностью можно полагать, что даже в вопросительных формах *Has he found a hat?*, *Hat er einen Hut gefunden?*, *What has he found?*, *Was hat er gefunden?* представлены разные степени КД. В немаркированном случае элементы *he/er* интерпретируются как тематические.

\*

Переходя непосредственно к вопросу о роли глагола и WH-элемента (далее ВЭ «вопросительный элемент») в ФПП, обратимся к утверждению М. Халлидея, согласно которому функции «данного» и «нового» нельзя

<sup>12</sup> М. А. К. Halliday, указ. соч., разд. 4.

<sup>13</sup> О взаимодействии средств с разной степенью КД см., например: J. Firbas, указ. соч.; его же, *On the interplay of means of functional sentence perspective*, «Actes du X<sup>e</sup> Congrès international des linguistes», I, Bucarest, 1970.

отождествлять с функциями «темы» и «ремы»<sup>14</sup>. Думается все же, что «данное» и «новое» объединяется в общем понятии «степени КД»; элемент(ты), передающий(е) самую низкую степень КД, образует(ют) тему предложения. Халлидей считает, что тема занимает начальную позицию в предложении; тема — это точка, от которой предложение начинается как сообщение; все, что следует за ней, является ремой<sup>15</sup>. Согласно нашей точке зрения, рема, напротив, не связывается исключительно с началом предложения; элементы, составляющие тему и передающие самую низкую степень КД, принципиально не зависят от их позиции внутри предложения (в немаркированном случае структура *I saw him* имеет два тематических элемента: *I* и *him*).

Для обозначения «темы» (по Халлидею) Э. Бенеш употребляет термин «база». Этот «начальный элемент предложения соединяет высказывание с контекстом и ситуацией, выбирая из нескольких возможных соединений то, которое становится исходной точкой, из которой разворачивается все последующее высказывание и относительно которой оно ориентируется»<sup>16</sup>. Расхождение с Халлидеем состоит в том, что тематизация предложения, по Халлидею, не зависит от предшествующего контекста. Дальнейшие исследования, видимо, покажут правомерность и того и другого взгляда. Термин «тема» используется Бенешем для обозначения темы в нашем понимании, т. е. элемента(ов), передающего(их) самую низкую степень КД.

Наше понимание темы отвечает информационной системе Халлидея. Здесь возникает вопрос, какое отношение существует между информационной системой и грамматической структурой. Халлидей подчеркивает, что информационная система предписывает высказыванию структуру, не зависящую от структуры предложения<sup>17</sup>. С нашей точки зрения ФПП образует систему, которую следует интерпретировать в ее собственных терминах, однако ее надо рассматривать как накладываемую на семантическую и грамматическую структуру предложения. Эти три уровня действуют в процессе коммуникации взаимосвязанно.

В понимании Халлидея немаркированной и наиболее частой темой местоименных вопросов является ВЭ; немаркированной и наиболее частой темой замкнутых вопросов является личная форма глагола. По Халлидею, темой сообщения является существование чего-то, о чем говорящий не знает и что он хочет узнать; остальная часть сообщения представляет собой объяснение его требований. Это наблюдение полностью подтверждает наш вывод относительно двух функций, выполняемых вопросительным предложением<sup>18</sup>. Подчеркивая объяснительную функцию предложения, Халлидей подтверждает нашу интерпретацию элементов, находящихся в вопросе рядом с главными указателями желания получить знание (т. е. в соответствующих случаях ВЭ и/или личная форма глагола): по отношению к узкой сцене эти элементы обычно нельзя интерпретировать как передающие только известную информацию. Это возвращает нас к тому, какая роль должна быть приписана личной форме глагола и ВЭ на уровне ФПП.

Семантическое содержание глагола не однородно. Это также отражается на уровне ФПП. В немаркированном случае элементы личной формы

<sup>14</sup> М. А. К. Halliday, указ. соч., разд. 2, стр. 205.

<sup>15</sup> Там же, стр. 212.

<sup>16</sup> E. Benes, *Začátek německé věty z hlediska aktuálního členění výpovědi*, *Časopis pro moderní filologii*, 41, 1959, стр. 216.

<sup>17</sup> М. А. К. Halliday, указ. соч., стр. 211.

<sup>18</sup> См. еще: J. Firbas, *Some thoughts ...*, стр. 90—92; см. также: М. А. К. Halliday, *Functional diversity in language*, London, 1970 (ротапринт), стр. 36, примеч. 36.

глагола неодинаково способствуют дальнейшему развертыванию сообщения: понятийная составляющая передает более высокую степень КД, чем темпоральные и модальные указатели (далее — ТМУ). Вслед за Б. Трнкой<sup>19</sup> мы понимаем под ТМУ все формальные средства, которые используются для передачи темпоральных и модальных значений глагола. Сюда относится, например, чередование корневых гласных в *sing, sang, sung*, глагольный суффикс *-ed*, вспомогательные глаголы. Различение роли говорящего (mood) и наклонения (modality), предложенное Халлидеем, полезно. По Халлидею, коммуникативная роль говорящего состоит в том, что он может выступать в зависимости от речевой ситуации как информант, рассказчик, спрашивающий, проситель; наклонение — это форма, при помощи которой говорящий объясняет или определяет то, что он в данный момент говорит. Предложенное определение ТМУ распространяется также на модальные прилагательные, которые в зависимости от контекста относятся к первому, второму или одновременно к обоим аспектам. Видно, что для нашей статьи это решение является приемлемым.

О функции ТМУ в ФПП мы уже писали более подробно; в немаркированных случаях ТМУ связывают тематическую и нетематическую часть предложения<sup>20</sup>. Они передают самую низкую степень КД внутри тематической части предложения и составляют таким образом собственно переход. В немаркированных предложениях информация, передаваемая ими, т. е. темпоральные и модальные значения, представляется всегда новой, т. е. контекстуально независимой, не извлекаемой из предыдущего контекста. Пользуясь терминами Халлидея, можно сказать, что обычно говорящий выбирает коммуникативную роль и решает форму своего объяснения или определения в каждом новом акте предикации заново. Так же устанавливаются темпоральные отношения между языковым событием (предложением) и внеязыковым явлением, о котором сообщает говорящий. В нормальных условиях ТМУ несут темпоральные и модальные значения и тем самым начинают создавать информацию, ради которой произносится предложение, на основе, подготовленной тематическими элементами. Таким образом, они являются переходными по самой своей природе.

В маркированных случаях ТМУ, напротив, образуют собственно рему или становятся частью более или менее обширной темы. Это бывает в случаях, когда предложение употребляется при резком и специальном контрасте одного из своих элементов. Отобранный для такого контраста элемент становится носителем собственно ремы, а остальные элементы образуют более или менее обширную собственно тему. Сравним *I h a v e f o u n d a h a t* с *I h a v e f o u n d a h a t*. В первом случае *have* функционирует как носитель собственно ремы, во втором является частью более широкой собственно темы. ТМУ в повествовательных предложениях проявляют чрезвычайно высокую степень совпадения, может быть, наивысшую в системе языка, между грамматическим уровнем и уровнем ФПП. Высокая степень совпадения подтверждается также просодическими свойствами личной формы глагола<sup>21</sup>. Исследование взаимоотношения просодических и грамматических черт было начато Р. Кверком и его сотрудниками<sup>22</sup>.

<sup>19</sup> B. T r n k a, Some thoughts on structural morphology, сб. «Charisteria Guilelmo Mathesio ... oblata», Prague, 1932, стр. 58.

<sup>20</sup> J. F i r b a s, A note on transition proper in functional sentence analysis, «Philologica Pragensia», 8, 1965.

<sup>21</sup> См.: J. F i r b a s, On the prosodic features of the Modern English finite verb as means of functional sentence perspective, «Brno studies in English», 7, 1968.

<sup>22</sup> R. Q u i r k (in collaboration with J. Svartvik, A. P. Cuckworth, J. P. L. Rusiecki and A. J. T. Colin), Studies in the correspondence of prosodic to grammatical features in English, «Proceedings of the IX<sup>th</sup> International congress of linguists», The Hague, 1964.

Из-за недостатка места мы не можем здесь подробно исследовать проблему соответствия между шкалой КД и шкалой просодической весомости. Все же вкратце попытаемся показать, на какой основе можно оценивать просодическую весомость ТМУ в повествовательных и вопросительных предложениях<sup>23</sup>. Несколько слов о шкале КД и шкале просодической весомости.

Шкала КД состоит из собственно темы, т. е. из элементов, передающих самую низкую степень КД, из остатка темы, собственно перехода, остатка перехода, из остатка ремы, из собственно ремы, т. е. элемента, который передает самую высокую степень КД. Шкала просодической весомости в английском состоит, по А. Гимсону, из четырех степеней ударяемости<sup>24</sup>. Не вдаваясь в подробности, эти степени можно обозначить следующим образом: неударяемый, частично ударяемый, ударяемый и несущий ядро элемент. Вслед за А. Гимсоном мы применяем термин «ядро» для обозначения просодических черт полностью ударяемого слога, который отличается от ударяемого, частично ударяемого и неударяемого тем, что несет (хотя бы в своем начале) изменение высоты тона, т. е. падение или повышение тона или их комбинацию. Соответствие указанных шкал надо искать внутри дистрибутивных полей, которые возникают из грамматических структур посредством явной или скрытой предикации<sup>25</sup>. Дистрибутивным полем первого типа является предложение, полем другого типа может служить определительная конструкция (управляющее слово + определение). Мы должны добавить, что если внутри одного и того же дистрибутивного поля встречаются два просодических признака, описываемых фонически сходными терминами (см. указанные степени ударяемости), то признак, встречающийся позже, следует считать функционально более весомым (сигнализирующим более высокую степень КД). Из этого следует, что при встрече внутри дистрибутивного поля двух или больше ядер ядро, находящееся на последнем месте, будет функционально наиболее весомым. Так, сложное предложение *They 'said on the ~radio last `night that a `thaw was expected* составляет основное дистрибутивное поле, внутри которого находится дистрибутивное поле высшего порядка, образованное зависимым объектным предложением. Зависимое предложение выступает внутри основного дистрибутивного поля в качестве ремы, что сигнализируется наибольшей функциональной весомостью. Главное предложение обладает своей собственной ФПП структурой. *They* функционирует как собственно тема, тематическим также является элемент *last `night*, элементы *'said on the ~radio* — переходные.

Предложенное для английского языка положение относительно функциональной весомости фонически сходных признаков нуждается в том уточнении, что если внутри одного и того же дистрибутивного поля после падающего тона следует низкий, восходящий, то несущий его элемент функционально менее важен, чем предшествующий с нисходящим тоном, ср. *I'll `show them to you if you like*.

Сказанное, конечно, не следует понимать в том смысле, что в языке наблюдается полное соответствие этих двух шкал. Напротив, полное соответствие могло бы препятствовать языку в выполнении его коммуникативных задач. С другой стороны, для выполнения этих задач требуется сравнительно высокая мера соответствия. Исследования Кверка и Халли-

<sup>23</sup> Подробнее см.: J. F i r b a s, On the prosodic features...

<sup>24</sup> A. C. G i m s o n, An introduction to the pronunciation of English, London, 1962, стр. 244.

<sup>25</sup> A. S v o b o d a, The hierarchy of communicative units and fields as illustrated by English attributive constructions, «Brno studies in English», 7, 1968.

дея показали, что во всяком случае не все элементы шкал точно совпадают<sup>26</sup>.

Все же следует заметить, что внутри переходно-ремагической части повествовательного предложения встречается почти идеальное соответствие двух шкал. Напротив, в тематическо-переходной части могут появляться отчетливые отклонения от полного соответствия, поскольку распределение КД выражается достаточно ясно взаимодействием средств ФПП, где значимы и непросодические средства. Мы имеем в виду случай хорошо известного отклонения, которое можно описать как просодическое усиление темы. Оно может появляться по разным причинам. Например, в предложении *~ Mine is from the 'library* тема *~ Mine* находится в ясном, хотя и нерезком контрасте с определенным элементом, упомянутым выше и легко понятным из предыдущего контекста. Важно заметить, что *~ Mine* могло бы потерять свой тематический характер, если бы за ним не следовал элемент, передающий функционально более значимый признак. Просодическое усиление, которое осуществляется посредством отклонения от полного соответствия двух шкал, остается, таким образом, внутри определенных границ, установленных требованиями ФПП. Это заключение подтверждается исследованием просодических свойств личной формы глагола: в немаркированных случаях ТМУ выполняют функцию собственно перехода, между тем как в маркированных случаях они становятся собственно ремой или частью более или менее обширной темы.

Теперь обратимся к функции ТМУ в вопросах. Несомненно, ТМУ в вопросах обладают большим коммуникативным весом, чем в повествовательных предложениях. Это связано с типом роли говорящего (mood), который выражается в вопросах. Если тип роли, выраженный ТМУ в повествовательном предложении, немаркирован, то в вопросительных предложениях он маркирован. Особенно это очевидно в замкнутых вопросах, где ТМУ выражают желание спрашивающего получить знание, а также обращение к слушателю с тем, чтобы он удовлетворил это желание. Маркированность типа роли говорящего отчетливо выражается в форме замкнутых вопросов. Во-первых, в них используется вспомогательный глагол *do*, во-вторых, они, взятые в целом, обладают более высокой частотой вспомогательных элементов, которые находятся в сильной (полной, несокращенной), а иногда даже и в сильной ударяемой форме; в-третьих, в них встречается инверсия. Случайное отсутствие инверсии, а также возможное отсутствие вспомогательного *do* должно быть компенсировано наличием хотя бы вопросительной интонации. Указывая, что ожидаются ответы «да» или «нет», а не ответ, сигнализируемый и требуемый ВЭ, ТМУ замкнутого вопроса тем самым участвуют в информировании говорящего о том, как он должен подойти к ответу. Это значит, что ТМУ замкнутого вопроса хотя бы в некоторой мере принимают участие в объяснительной функции вопроса. Ни объяснительная, ни указательная функция не выводятся из предыдущего контекста.

Описанная функция ТМУ менее заметна в местоименных вопросах, в которых главным показателем вопросительной роли (mood) является ВЭ. Здесь ТМУ лишь помогают сигнализировать о желании спрашивающего получить знание, а ВЭ посредством своего семантического содержания активно участвует в его определении. ВЭ — подобно ТМУ в замкнутых вопросах — не исключается из участия в объяснительной роли вопроса. В нормальных условиях в местоименном вопросе ВЭ превосходит ТМУ

<sup>26</sup> R. Quirk, Descriptive statement and serial relationship, «Language», 1965, 41; M. A. K. Halliday, Clause types and structural functions, London, 1969 (по-тапринт). Более подробно см.: его же, Language structure and language function, New horizons in linguistics, ed. by J. Lyons, Harmondsworth.

по степени КД. Просодические признаки соответствуют этому наблюдению. ВЭ оказывается в нормальных условиях на просодическом уровне более весомым, чем ТМУ. ВЭ — обычно ударяемый элемент, тогда как ТМУ не получают ударения.

Итак, ТМУ в замкнутых вопросах и ВЭ в местоименных выступают не только как указатели желания получить знание; они также принимают участие в объяснительной функции. Это позволяет им участвовать в дальнейшем развертывании сообщения в большей мере, чем ТМУ в повествовательных предложениях. Повествовательные ТМУ мы интерпретировали как нетематические, переходные; вопросительные ТМУ и ВЭ также следует интерпретировать как нетематические. Это требует некоторого объяснения.

Относительно функции, касающейся желания говорящего получить знание, их трудно интерпретировать как релативные — выполняемая ими модальная функция в немаркированных случаях должна рассматриваться как сопровождающая. Что касается объяснительной функции, то ВЭ и ТМУ лишь участвуют в указании на точку зрения, с которой надо подойти к вопросу; в немаркированных случаях они не определяют конкретно эту точку зрения, ту перспективу, в которой должен функционировать вопрос, и, бесспорно, не становятся релативными. Тот факт, что они замещают подлинное знание и являются элементами стереотипного характера, подтверждает такое заключение. Видимо, наиболее адекватной является их интерпретация как переходных, при допущении, что вопросительные элементы могут находиться близко к реме или даже встречаться на ее периферии. Этот вывод подтверждается просодическими свойствами ТМУ и ВЭ в их соотношении с просодическими свойствами других элементов вопросительного предложения.

Хотя мы не располагаем результатами статистических исследований (а такие исследования необходимо провести), уже сейчас можно утверждать, что случаи, в которых ВЭ или ТМУ оказываются носителями интонационного центра, встречаются сравнительно редко, причем они заметно маркированы. Это бывает, когда требуется повторение ответа, например, *"What has he 'found?"*, *"Have you 'found your 'hat?"*. В таких случаях единственной семантической единицей, которую можно считать контекстуально независимой и которая делает ВЭ или ТМУ собственно ремой (вследствие чего они становятся носителями интонационного центра), является указание на желание получить знание. Объяснительная функция становится при этом избыточной. Обсуждаемые случаи обладают чрезвычайно высокой степенью контекстуальной зависимости, которая проявляется в виде сигнала о том, что требуется повторение. В немаркированных случаях ни ВЭ, ни ТМУ не бывают носителями наиболее значимых признаков в вопросе; наш анализ показывает, что ВЭ и ТМУ исключаются из релативной части. Отклонения от полного соответствия шкалы КД и шкалы просодической весомости встречаются в нерелативной части предложения, особенно в его тематической области. Тем не менее можно предполагать, что эти отклонения достаточно компенсированы действием непросодических средств ФПП, как это бывает с повествовательными ТМУ. Но просодические средства не исключаются полностью из участия в становлении шкалы КД. ВЭ или ТМУ теряют свой переходный характер именно тогда, когда они сами становятся носителями интонационного центра, ср.: *"What have you 'found?"*, *"Have you 'found your 'hat?"*. Они теряют переходный характер и в том случае, когда находятся в части предложения, лишенной просодической весомости из-за того, что какой-то другой элемент внутри вопроса выбирается для резкого и специального контраста, например, *What have ^you found?* (повторяется заданный уже вопрос

и в объяснении выделяется один элемент, который может допустить плохое понимание).

Подведем теперь итоги предложенному анализу. В немаркированных случаях мы интерпретировали ВЭ и ТМУ как переходные элементы. Дальнейшее исследование должно определить, в какой мере ВЭ приближается к области ремы. Вопросительные ТМУ участвуют в образовании собственно перехода, но наличие семантической единицы вопросительной роли (mood) позволяют им передавать более высокую степень КД, чем у повествовательных ТМУ, и поэтому они покрывают более широкую часть шкалы КД. У просодических признаков наблюдается отчетливая тенденция находиться в согласии с установленными степенями КД.

Прежде чем окончить наш разбор, следует сделать некоторые замечания относительно просодической формы ремы в вопросительных предложениях. В чешском языке в немаркированных, неэмоциональных вопросах интонационный центр находится на последнем слове. Е. Кржижкова объясняет это явление ритмической тенденцией, которая является типичной для чешских немаркированных предложений и которую можно заметить как в немаркированных повествовательных предложениях, так и в немаркированных вопросительных<sup>27</sup>. Но если в немаркированных повествовательных предложениях интонационный центр находится на последнем слове из-за своего рематического характера, то в немаркированных вопросах он находится на последнем слове только благодаря названной ритмической тенденции. Е. Кржижкова считает, что в немаркированных вопросах эта тенденция действует вполне автоматически. Такое предположение означает, что в чешском вопросе нет соответствия между элементом, выражающим рему, и элементом, несущим интонационный центр. Это сомнительно.

В качестве примера возьмем вопросительную структуру *Pracuje tatínek doma?*. При наиболее естественном произношении интонационный центр помещается на *doma*, т. е. на последнем слове вопроса. Возможен и другой порядок слов с интонационным центром на последнем слове: *Pracuje doma tatínek?*, *Tatínek pracuje doma?*, *Tatínek doma pracuje?*, *Doma pracuje tatínek?*, *Doma tatínek pracuje?*. Мы здесь не исследуем того, маркированы ли эти варианты или нет и если да, то в какой степени. Интересно в данном случае следующее. Очевидно, что в определенных ситуациях некоторые из вариантов взаимозаменяемы. Но в равной степени верно и то, что каждый из них способен выражать определенный оттенок перспективы, который нельзя передать другими вариантами. Иными словами, каждый из вариантов в той или иной степени имеет специфическую коммуникативную цель.

Это справедливо (с некоторыми изменениями) и относительно набора вариантов с интонационным центром на предпоследнем слове, а также набора вариантов с интонационным центром на первом слове. Первый набор: *Pracuje tatínek doma?*, *Pracuje doma tatínek?*, *Tatínek pracuje doma?*, *Tatínek doma pracuje?*, *Doma pracuje tatínek?*, *Doma tatínek pracuje?*. Второй набор: *Pracuje tatínek doma?*, *Pracuje doma tatínek?*, *Tatínek pracuje doma?*, *Tatínek doma pracuje?*, *Doma pracuje tatínek?*, *Doma tatínek pracuje?*.

Все приведенные варианты приемлемы для носителя чешского языка. Однако ясно, что другие типы семантических и грамматических структур не всегда дают такое большое число приемлемых вариантов<sup>28</sup>. В других

<sup>27</sup> Н. Кřížková, указ. соч.

<sup>28</sup> См.: Н. Seiler, On the syntactic role of word order and of prosodic features «Word», 1962, 18.

случаях коммуникативные цели, которые удовлетворяются этими вариантами, в действительности различаются очень мало. Кроме того, такие языки, как английский и немецкий, не обладают таким количеством вариантов — в английском и немецком порядок слов не настолько свободен, как в чешском (в немецком и частично в английском это связано с сильной взаимосвязанностью субъекта и глагола на уровне порядка слов). Но и в чешском, и в английском, и в немецком изменение позиции интонационного центра тесно связано с изменением аспекта, в котором надо ответить на вопрос. Такой сдвиг может оказаться незначительным, но важно то, что возможность его существует (хотя бы потенциально). Не ритм предложения, а указание на тот аспект, в котором следует рассматривать вопрос, определяет главным образом место интонационного центра. Иначе говоря, ритмические структуры в чешском, английском и немецком языках не возникают под действием неких автоматических принципов — они в конечном итоге вызываются требованиями ФПП. Мы полагаем, что взаимное соответствие (совпадение) собственно ремы и интонационного центра — это общее свойство как замкнутых, так и местоименных вопросов. Оба типа вопросов разделяют это свойство с повествовательными и повелительными предложениями и с переходными случаями <sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> См.: D. B o l i n g e r, *Interrogative structures of American English*, «Publications of the American dialect society», 28, Alabama, 1957.

А. Л. ПУМПИАНСКИЙ

О ЛОГИКО-ГРАММАТИЧЕСКОМ ЧЛЕНЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Опыт, накопленный нами в результате многолетнего билингвистического исследования функционального стиля научной и технической литературы<sup>1</sup>, позволил приступить к рассмотрению информационной роли порядка слов в научной и технической литературе на материале 5000 английских и 5000 русских повествовательных предложений с одинаковым содержанием. Русские эквиваленты английских предложений даны более чем 400 научными сотрудниками, аспирантами и инженерами и отражают, в среднем, нормы современной русской научной и технической литературы.

Методологической основой исследования послужила концепция о целесообразности исследования конкретного материала человеческого языка<sup>2</sup>, исходящая из положения о диалектической связи языка и мышления и социальной обусловленности языка. Теоретической основой исследования явилась концепция В. З. Панфилова о логико-грамматическом членении предложения<sup>3</sup>. Согласно этой концепции, логико-грамматическое членение предложения можно исследовать не только на речевом уровне, как это делают представители актуального членения предложения, но и на языковом уровне. Исследование можно проводить в билингвистическом плане, поскольку предложения различных языков, выражающие одну и ту же мысль, на логико-грамматическом уровне будут иметь одну и ту же структуру. Результаты нашего исследования подтверждают справедливость этих положений применительно к функциональному стилю научной и технической литературы.

В ходе исследования разработано цифровое обозначение логико-грамматического членения предложения (I—XIV), где I—VI — индекс основной информации (логико-грамматический предикат), VII—XI — индекс вспомогательной информации (логико-грамматический субъект); XII — акцентуаторы (слова и конструкции, изменяющие в английском языке распределение основной и вспомогательной информации); XIII — конкретизаторы (слова, уточняющие основную информацию); XIV — логико-грамматический эллипсис, указывающий на элементы вспомогательной информации, латентно присутствующие в предложении. Это цифровое обозначение положено в основу рабочей билингвистической схемы логико-грамматического членения предложения. При разработке схемы мы исходили из следующих теоретических и методологических соображений.

<sup>1</sup> См. список работ автора в книге: А. Л. П у м п и а н с к и й, Чтение и перевод английской научной и технической литературы. Лексика, грамматика, фонетика, упорядочения, 3-е изд. перераб. и доп., М., 1968.

<sup>2</sup> О. С. А х м а н о в а, «Смысл» естественных человеческих языков и рациональная семантика, «Ин. яз. в шк.», 1968, 3; е е ж е, Естественный человеческий язык как объект научного исследования, «Ин. яз. в шк.», 1969, 2.

<sup>3</sup> В. З. П а н ф и л о в, Грамматика и логика, М.—Л., 1963; е г о ж е, Взаимотношение языка и мышления, М., 1971.

Любое предложение любого языка, несущее одинаковую научную и техническую информацию, обладает одинаковым логико-грамматическим членением и состоит из двух компонентов: логико-грамматического предиката и логико-грамматического субъекта. Логико-грамматический субъект может быть выражен не только эксплицитно, но и имплицитно, т. е. подразумеваться из ситуации (устная речь) или латентно присутствовать в контексте (письменная речь) и восстанавливаться при переводе для повышения его надежности.

Распределение основной информации и вспомогательной информации в предложении зависит от типа речи (устная — письменная) и от строя языка (например, аналитический — синтетический). Дихотомия «устная речь — письменная речь» решается в научной и технической литературе в пользу письменной речи. Устный тип научной и технической литературы является производным от письменного типа (а не наоборот). Поэтому для билингвистического исследования порядка слов в научной и технической литературе решающее значение имеет знание принципа подачи основной информации и вспомогательной информации в письменной речи исследуемых языков.

Имеющиеся в литературе сведения о распределении информации в предложении весьма противоречивы, поскольку ученые приводят смешанные данные устной и письменной речи или недостаточно четко разграничивают их. Билингвистическое исследование логико-грамматического членения предложения в научной и технической литературе показало разную степень расхождения между порядком слов в устной и письменной речи в разных языках.

В русском языке наблюдается большое расхождение в подаче основной информации и вспомогательной информации в устной и письменной речи. В устной речи вспомогательная информация часто присутствует в предложении имплицитно, поскольку она и так ясна из ситуации, или же тихо «проговаривается» к концу предложения. Поэтому при устной речи основная информация часто вводится в начале предложения. Например: «1) *Красную рубашку* (повышенная интонация, жест) *дай мне*; 2) *Елочка родилась в лесу*; 3) *Новые данные были получены в лаборатории*» и т. д. В письменной речи вспомогательная информация обычно присутствует эксплицитно в начале предложения, а основная информация тяготеет к концу предложения. Свойственная письменной речи пассивная, не формирующая смысл интонация компенсируется действием принципа «линейной» подачи информации, согласно которому сначала в предложении вводится вспомогательная информация, а затем основная информация, причем основная информация располагается после сказуемого, а вспомогательная информация находится в начале предложения до сказуемого. Например, в предложении *В лаборатории работало 20 человек* в письменной речи сообщается, сколько в лаборатории работало человек, а в предложении: *20 человек работало в лаборатории* сообщается, что эти люди работали в лаборатории.

Поскольку исходным типом речи в научной и технической литературе является письменная речь, в ней, естественно, наблюдается наиболее строгое соблюдение принципа линейной подачи вспомогательной и основной информации.

В письменной речи устные высказывания имеют уже совсем другой смысл, а именно — *Красную рубашку дай мне* — указывает на «дай мне, а не другому»; *Елочка родилась в лесу* — означает: в лесу, а не в другом месте; *Новые данные были получены в лаборатории* свидетельствует о том, что новые данные были получены именно в лаборатории. Для того чтобы передать информацию, выделенную в устной речи интонацией, в письмен-

ной речи необходимо перестроить предложения следующим образом: *Дай мне красную рубашку, В лесу родилась елочка, В лаборатории были получены новые данные.*

В английском языке не наблюдается особого расхождения между подачей основной и вспомогательной информации в устной и письменной речи. Например: *Нбвые данные были получены* русской устной речи соответствует *Были получены новые данные* русской письменной речи, а в английском языке в обоих типах речи существует только один вариант: *New data were obtained*. Отсюда следует существенное расхождение в принципе подачи основной информации между русской и английской научной и технической литературой. В английском языке основная информация может располагаться не только после сказуемого, но и до него. Например: 1) *These new data were obtained in our laboratory*; 2) *New data were obtained in our laboratory*.

Как в устной, так и в письменной речи, в первом предложении сообщается, что были получены новые данные, а во втором предложении — что было получено в лаборатории. Но это еще не основное расхождение в принципе подачи информации в аналитическом (английском) и синтетическом (русском) языках. Главное расхождение заключается в том, что в английском языке вспомогательная информация перемежается с основной информацией, т. е. может находиться до, в середине или после основной информации. Такой способ подачи информации можно графически изобразить в виде волнистой линии, условно приближающейся к синусоиде. *Recently (ВИ) new data (ОИ) however (ВИ) were reported (ОИ) by us (ВИ) on the mechanism of this reaction (ОИ) in the preceding paper (ВИ).*

При разработке четких критериев разграничения основной и вспомогательной информации в научной и технической литературе основополагающее значение имеет понятие о полисемии и моносемии членов предложения.

На логико-грамматическом уровне все члены предложения *п о л и с е м и ч н ы* и в зависимости от логико-грамматического членения предложения несут либо основную информацию, либо вспомогательную информацию. Отсюда возникает необходимость теоретической оценки информационности силы или слабости полисемичных членов предложения при различных конкретных вариантах логико-грамматического членения предложения в научной и технической литературе. Для решения этой задачи назовем члены предложения, несущие основную информацию, — «сильными», несущие вспомогательную информацию, — «слабыми».

Носителями основной информации в предложении являются сильные члены предложения, т. е. сильное сказуемое (I), сильное дополнение (III)<sub>2</sub>, сильное обстоятельство (IV)<sub>2</sub>, сильное подлежащее (V<sub>2</sub>, VI<sub>1</sub>). В русской научной и технической литературе они тяготеют к концу предложения.

Особо стоит вопрос об информационном качестве глагола-сказуемого. В английской научной и технической литературе преобладают шесть вариантов грамматического выражения основной информации (I—VI), и все они связаны с глаголом-сказуемым. Однако только в первом варианте (I) глагол является сильным сказуемым и самостоятельно выражает основную информацию (обычно с конкретизатором XIII). В научной и технической литературе глагол-сказуемое семантически ослаблено и приближается к копуле. Тем не менее, являясь неотъемлемым синтаксическим организатором предложения, он всегда присутствует в логико-грамматическом предикате, входя в состав именного сказуемого (II) и образуя в письменной речи предикатные комплексы с сильным дополнением (III<sub>1</sub> + III<sub>2</sub>), сильным обстоятельством (IV<sub>1</sub> + IV<sub>2</sub>) и сильным постпозитивным

подлежащим ( $V_1 + V_2$ ) или препозитивным подлежащим ( $VI_1 + VI_2$ ). При билингвистическом исследовании логико-грамматического членения предложения в научной и технической литературе представляется либо теоретически невозможным, либо практически неоправданным: 1) повышать семантическую значимость глагола-сказуемого путем интонационного выделения глагола-сказуемого (ср. устную речь: *Они поехали в лес — поехали, а не пошли*); 2) снижать семантическую значимость глагола-сказуемого, превращая его в промежуточный информационный довесок предложения (ср. *Опыты // проходили // успешно*); 3) игнорировать синтаксические связи глагола-сказуемого, отрывая его от основной информации и искусственно включая его в вспомогательную информацию (ср. *Опыты дали // хорошие результаты или Опыты прошли // хорошо*).

Носителями вспомогательной информации в предложении являются слабые члены предложения, т. е. слабое подлежащее (VII п), слабое дополнение (VII д), слабое обстоятельство (VIII). В русской научной и технической литературе эти члены предложения тяготеют к его началу. Но исследование логико-грамматического членения предложения немислимо без анализа других элементов вспомогательной информации, организующих научное и техническое высказывание, а именно таких исключительно важных для научной и технической литературы «слов», как частицы, союзы, союзные слова, предложно-именные словосочетания и предложения, которые объединяют части предложения, целые предложения и другие составляющие большого синтаксического целого. В данном исследовании мы оперируем шестью элементами вспомогательной информации (VII п, VII д, VIII, IX, X, XI). Рассмотрим их по порядку.

VII обозначает слова, вводящие тематический контекст, синтаксически представленные слабым подлежащим (VII п, для англ. VII n) и слабым дополнением (VII д, для англ. VII g). Эти слова обеспечивают развитие основной информации предыдущего контекста, вводя ее в предложение в ослабленном виде. Поэтому они обычно выражены личными или указательными (дейктическими) местоимениями или существительными с указательными местоимениями или определенным артиклем в его лексическом значении.

VIII обозначает слова, вводящие обстоятельственный контекст, синтаксически представленные слабым обстоятельством места, времени, образа действия, цели, причины и др. Эти слова могут находиться в любом месте английского предложения.

IX, X, XI представлены словами, вводящими логический контекст (IX), словами, характеризующими степень объективности информации (X), и словами, указывающими на отношение автора к высказыванию (XI). Кроме союзов и союзных слов, эти слова могут располагаться в английском предложении до, в середине или после любого варианта основной информации.

Если подойти к существующему разграничению порядка слов не с точки зрения позиции подлежащего и сказуемого в предложении, а исходя из логико-грамматического членения предложения, т. е. с точки зрения информационного качества полисемичного подлежащего, то окажется, что прямой (нормальный, объективный) порядок слов дает логико-грамматическую формулу: «слабое подлежащее + сказуемое», а обратный (инверсионный, инвертированный, субъективный) порядок слов дает другую логико-грамматическую формулу: «сказуемое + сильное подлежащее». Но во многих языках часто встречается еще не описанный, «третий» порядок слов: «сильное подлежащее + сказуемое», не подпадающий ни под «прямой», ни под «обратный» порядок слов. Поэтому при анализе логико-грамматического членения предложения в научной и технической лите-

ратуре целесообразно разграничить порядок слов по логико-грамматическому информационному качеству полисемичного подлежащего и именовать порядок слов со слабым подлежащим слабым порядком слов, а порядок слов с сильным подлежащим — сильным порядком слов.

Указанное информационное разграничение порядка слов позволяет нам вывести шесть типовых логико-грамматических формул предложений, доминирующих в английской научной и технической литературе, из них четыре логико-грамматические формулы (АЛГФ) со слабым порядком слов:

АЛГФ I: «слабое подлежащее (VII п) + сильное глагольное сказуемое I». *The temperature (VIIп) was raised (I)*;

АЛГФ II: «слабое подлежащее (VII п) + сильное именное составное сказуемое II». *The overall loss (VIIп) is constant (II)*;

АЛГФ III: «слабое подлежащее (VII п) + ослабленное сказуемое (III)<sub>1</sub> + сильное дополнение (III)<sub>2</sub>». *The signal (VIIп) controls (III<sub>1</sub>) an expander (III)<sub>2</sub>*;

АЛГФ IV: «слабое подлежащее (VII п) + ослабленное сказуемое (IV)<sub>1</sub> + сильное обстоятельство (IV)<sub>2</sub>». *The information (VIIп) is transmitted (IV)<sub>1</sub> over a separate channel (IV)<sub>2</sub>*; и две формулы с сильным порядком слов:

АЛГФ V: «ослабленное сказуемое (V)<sub>1</sub> + сильное подлежащее (V)<sub>2</sub>». *To this journal (VIIг) is bolted (V)<sub>1</sub> a crank assembly (V)<sub>2</sub>*;

АЛГФ VI: «сильное подлежащее (VI)<sub>1</sub> + ослабленное сказуемое (VI)<sub>2</sub>». *New data (VI)<sub>1</sub> were obtained (VI)<sub>2</sub> by us (VIIг)*.

При слабом порядке слов наличие слабого подлежащего (VII п), вводящего тематический контекст, делает присутствие других элементов вспомогательной информации факультативным; сильный порядок слов выявляет только основную информацию и требует присутствия в предложении элементов вспомогательной информации (VII д — XI) в эксплицитном или латентном виде.

Исследуя распределение основной и вспомогательной информации в научной и технической литературе, необходимо учитывать действие «акцентуаторов» (XII), «конкретизаторов» (XIII) и механизм восстановления логико-грамматического эллипсиса (XIV). Акцентуаторы перераспределяют вспомогательную и основную информацию в английском предложении, конкретизаторы уточняют значение отдельных элементов основной информации в английской и русской научной и технической литературе.

Акцентуаторы (XII) вызывают изменение логико-грамматического членения предложения, превращая вспомогательную информацию в основную информацию, и приводят к появлению окказионального, усиленного порядка слов. Они служат в письменной речи эквивалентами интонационного выделения устной речи, являясь своеобразными «интонаторами». В научной и технической литературе акцентуаторы специфичны для языков с более или менее фиксированным порядком слов, в частности для английского языка. Например: 1) *It is this reaction that (XII) was discovered (IV)<sub>1</sub> in 1965 (IV)<sub>2</sub>*; 2) *It is only (XII) to the change in temperature that (XII) we (VIIп) ascribe (III)<sub>1</sub> this phenomenon (III)<sub>2</sub>*; 3) *It was not until (XII) 1950 that (XII) this mixture (VII п) could be decomposed (I)*. 1) *В 1965 г. (VIII) была открыта (V)<sub>1</sub> именно (XIII) эта реакция (V)<sub>2</sub>*; 2) *Это явление (VII д) мы (VII п) приписываем (III)<sub>1</sub> только (XIII) изменению температуры (III)<sub>2</sub>*; 3) *Эту смесь (VII д) удалось разложить (IV)<sub>1</sub> лишь (XIII) в 1950 г. (IV)<sub>2</sub>*.

В английской и русской научной и технической литературе большую роль играют предикатные модальные и наречные конкретизаторы глагола-сказуемого (XIII). Они особенно важны в предложениях с сильным глагольным сказуемым (I), поскольку они обеспечивают его семантическую

полноценность. Например: *This requirement (VII<sub>n</sub>) must (XIII) be met (I). Compound 21 (VII<sub>n</sub>) can (XIII) be hydrolysed (I). This substance (VII<sub>n</sub>) is bound (XIII) to react (I). Это условие (VII д) надо (XIII) выполнить (I). Соединение 21 (VIIп) может (XIII) гидролизироваться (I). Это вещество (VIIп) должно (XIII) реагировать (I).*

Наречные конкретизаторы располагаются в русской научной и технической литературе всегда перед сказуемым, так как постпозиция наречия в русском языке дает при логико-грамматическом членении предложения другую логико-грамматическую формулу. Ср.: 1) *Эти вещества (VII п) быстро (XIII) реагируют (I)*; 2) *Эти вещества (VII п) реагируют (IV)<sub>1</sub> быстро (IV)<sub>2</sub>*. В первом случае основная информация выражена сильным глагольным сказуемым (I) с конкретизатором качества процесса (XIII), во втором случае — предикатным комплексом «ослабленное сказуемое (IV)<sub>1</sub> + сильное обстоятельство (IV)<sub>2</sub>».

В английской научной и технической литературе позиция наречия не имеет информационной значимости и очень часто наречные конкретизаторы встречаются в постпозиции к сказуемому. Например: *All available conditions (VII<sub>n</sub>) correlate (I) well (XIII). Все имеющиеся данные (VII п) хорошо (XIII) согласуются (I).*

Особо стоит вопрос о «конкретизаторах негативного качества процесса», которые сосредоточивают основную информацию в глаголе-сказуемом (I) независимо от их способов выражения в английском языке. Например: *In this approach (VIII) rates of reactions (VII п) are not (XIII) measured (I). Yet (IX), no (XIII) reaction (VII п) took place (I). In ethers and similar solvents (VIII) the frequency (VII п) was unaffected (XIII) (I). Hence (IX) sulphonic acid (VII п) fails (XIII) to rearrange (I). При этом методе (VIII) скорости реакций (VII п) не (XIII) измеряются (I). Все же (IX) реакция (VII п) не (XIII) возникла (I). В простых эфирах и аналогичных растворителях (VIII) эта частота (VII п) не (XIII) изменялась (I). Поэтому (IX) метатолоуол-сульфоновая кислота (VII п) не (XIII) перегруппировывается (I).*

В функциональном стиле научной и технической литературы вводные слова полисемичны. Они несут вспомогательную информацию, когда вводят логический контекст (IX), указывают на объективную модальность (X) или выражают субъективную модальность (XI). В таком случае они относятся ко всему предложению в целом и обычно стоят в русской письменной речи в начале предложения. Например: *Кроме того (IX), к сожалению (XI), известно (X), что (IX) опыты (VII п) не (XIII) удалась (I). Эти же слова могут уточнять основную информацию (конкретизаторы, XIII) и входить в состав логико-грамматического предиката. Например: Это вещество (VII п) реагирует (III)<sub>1</sub>, кроме того (XIII), с окисью марганца (III)<sub>2</sub>.*

Последний пункт (XIV) цифрового обозначения логико-грамматического членения предложения в научной и технической литературе касается элементов вспомогательной информации, находящихся в предложении в латентном виде. Из-за ряда объективных и субъективных причин (отчасти связанных и с проблемой избыточной информации) эти элементы вспомогательной информации присутствуют в предложении имплицитно, подразумеваясь из лингвистического контекста и (или) экстралингвистического макроконтекста (суммы научных и технических знаний читающего или переводящего). Применение при монолингвистической и билингвистической речевой деятельности (переводе) механизма восстановления эллиптических компонентов вспомогательной информации значительно повышает надежность понимания содержания научного и технического текста. Например, в предложении *The possibility of excitation of ion plasma waves (VI)<sub>1</sub> has been predicted (VI)<sub>2</sub> on the basis of the kinetic theory (VIII)*

может быть потенциально выявлена следующая вспомогательная информация (XIV): *Однако (XIV—IX) пять лет тому назад (XIV—VIII), на основе кинетической теории (VIII) Прикантом (XIV—VII д) была предсказана (V)<sub>1</sub> возможность возбуждения ионных волн плазмы (V)<sub>2</sub>.*

На логико-грамматическом уровне все члены предложения моносемичны, т. е. способны нести в разных предложениях аналогичную (сильную или слабую) информационную нагрузку. Моносемия членов предложения особенно широко распространена в синтетических языках (русском), в котором наблюдается логико-грамматическая эквивалентность слабого подлежащего (VII п), слабого дополнения (VII д) и слабого обстоятельства (VIII), а также сильного подлежащего (V)<sub>2</sub> и сильного дополнения (III)<sub>2</sub>. Так, например, английское слабое подлежащее (VII п) в АЛГФ I, III, IV может быть эквивалентно русскому слабому подлежащему (VII п), слабому дополнению (VII д) и слабому обстоятельству (VIII). Ср.: *The plant (VII п) produces (III)<sub>1</sub> weaving looms (III)<sub>2</sub>. Завод (VII п) выпускает (III)<sub>1</sub> ткацкие станки (III)<sub>2</sub>. Заводом (VII д) выпускаются (V)<sub>1</sub> ткацкие станки (V)<sub>2</sub>. На заводе (VIII) выпускают (III)<sub>1</sub> ткацкие станки (III)<sub>2</sub>.* Следовательно, в синтетических языках (русском) слабый порядок слов включает предложения со слабым дополнением (VII д) и слабым обстоятельством (VIII), моносемичными слабому подлежащему (VII п). Это положение позволяет вывести типовые логико-грамматические формулы, преобладающие в русской научной и технической литературе (РЛГФ). Например:

РЛГФ I: «слабое подлежащее (VII п) + сильное глагольное сказуемое (I)». *Температура (VII п) поднялась (I).*

РЛГФ VII д + I: «слабое дополнение (VII д) + сильное глагольное сказуемое (I)». *От этой методики (VII д) отказались (I).*

РЛГФ II: «слабое подлежащее (VII п) + сильное именное составное сказуемое (II)». *Затухание (VII п) было постоянным (II).*

РЛГФ III: «слабое подлежащее (VII п) + ослабленное сказуемое (III)<sub>1</sub> + сильное дополнение (III)<sub>2</sub>». *Этот сигнал (VII п) управляет (III)<sub>1</sub> дополнительным экспандером (III)<sub>2</sub>.*

РЛГФ VII д + III: «слабое дополнение (VII д) + ослабленное сказуемое (III)<sub>1</sub> + сильное дополнение (III)<sub>2</sub>». *Изомеру (VII д) приписали (III)<sub>1</sub> цис-конфигурацию (III)<sub>2</sub>.*

РЛГФ VIII + III: «слабое обстоятельство (VIII) + ослабленное сказуемое (III)<sub>1</sub> + сильное дополнение (III)<sub>2</sub>». *В патенте № 2025388 (VIII) заявили (III)<sub>1</sub> звукосниматель (III)<sub>2</sub>.*

РЛГФ IV: «слабое подлежащее (VII п) + ослабленное сказуемое (IV)<sub>1</sub> + сильное обстоятельство (IV)<sub>2</sub>». *Информация о громкости (VII п) передается (IV)<sub>1</sub> по отдельному каналу (IV)<sub>2</sub>.*

РЛГФ VII д + IV: «слабое дополнение (VII д) + ослабленное сказуемое (IV)<sub>1</sub> + сильное обстоятельство (IV)<sub>2</sub>». *Дно трубки (VII д) нагревают (IV)<sub>1</sub> до белого каления (IV)<sub>2</sub>.*

РЛГФ V «ослабленное сказуемое (V)<sub>1</sub> + сильное подлежащее (V)<sub>2</sub>». *В настоящей статье (IX) описываются (V)<sub>1</sub> методы, используемые для создания таких выпрямителей на полупроводниках (V)<sub>2</sub>.*

По сравнению с английским языком в русской научной и технической литературе сильный порядок слов представлен только одной логико-грамматической формулой РЛГФ V, поскольку в ней отсутствует «третий» порядок слов (АЛГФ VI). В то же время расширение сферы действия слабого порядка слов за счет моносемичных слабому подлежащему (VII п) слабым дополнения (VII д) и обстоятельства (VIII) значительно увеличивает количество синтаксических вариантов логико-грамматического членения предложения в русском языке.



Экспериментальная проверка выдвинутых положений осуществляется билингвистическим исследованием шести логико-грамматических формул предложений, доминирующих в английской научной и технической литературе (АЛГФ I—VI), и их русских эквивалентов (РЛГФ I—V).

В английских и русских предложениях с одинаковым содержанием выявляется логико-грамматическое членение, т. е. местонахождение в них логико-грамматического предиката, несущего основную информацию (I—VI), и элементов логико-грамматического субъекта, несущих вспомогательную информацию (VII—XI), с учетом роли акцентуаторов (XII), конкретизаторов (XIII) и логико-грамматического эллипсиса (XIV). После каждого слова (словосочетания) ставится цифровое обозначение его информационной роли в логико-грамматическом членении. Если логико-грамматическое членение английского предложения «линейное», то это членение совпадает с членением русского предложения. Если логико-грамматическое членение английского предложения «синусоидное», то распределенная в его разных местах вспомогательная информация окажется в начале русского предложения, а основная информация в его конце.

Соблюдение этих условий, проследить которое не представляет труда, благодаря наличию цифровых показателей (I—VI — основная информация, VII—XI — вспомогательная информация), означает доказательство справедливости предложенной языковой билингвистической схемы логико-грамматического членения предложения в функциональном стиле научной и технической литературы на материале английского и русского языков.

Слабый порядок слов в английской научной и технической литературе представлен четырьмя логико-грамматическими формулами: АЛГФ I (VII п + I); АЛГФ II (VII п + II); АЛГФ III (VII п + III<sub>1</sub> + III<sub>2</sub>); АЛГФ IV (VII п + IV<sub>1</sub> + IV<sub>2</sub>). В этих формулах принцип подачи информации «линейный», и поэтому они эквивалентны соответствующим им логико-грамматическим формулам в русской научной и технической литературе: РЛГФ I, РЛГФ II, РЛГФ III и РЛГФ IV. Тем не менее, распределение логико-грамматического членения английских и русских предложений с этими формулами полностью не совпадает, поскольку отсутствующие в них дополнительные элементы вспомогательной информации (VII д — XI) пронизывают английское предложение, но располагаются в начале русского предложения.

При этом надо также иметь в виду вспомогательную информацию, входящую в эксплицитной или имплицитной форме в состав английского сказуемого: 1) *This mixture (VII п) must have exploded (X; I)*; 2) *They (VII п) are known (X) to be derivatives of 0-methoxycompound (II)*. 1) *Вероятно (X), эта смесь (VII п) взорвалась (I)*; 2) *Известно (X), что (IX) они (VII п) являются производными 0-метоксисоединения (II)*.

Сильный порядок слов в английской научной и технической литературе представлен двумя формулами, АЛГФ V (V<sub>1</sub> + V<sub>2</sub>) и АЛГФ VI (VI<sub>1</sub> + VI<sub>2</sub>) («третий» порядок слов). Отсутствие у сильного подлежащего (V)<sub>2</sub>, (VI)<sub>1</sub> тематической связи с предыдущим контекстом требует участия в предложении элементов вспомогательной информации: слабого дополнения (VII д), слабого обстоятельства (VIII), слов, вводящих логический (IX) или модальный (X, XI) контекст.

АЛГФ V в «чистом виде» эквивалентна РЛГФ V и РЛГФ III, поскольку и сильное подлежащее (V)<sub>2</sub> и сильное дополнение (III)<sub>2</sub> несут основную информацию, и во всех трех формулах следование сильного члена предложения за ослабленным сказуемым соответствует «линейному» расположению

информации. В начале английского предложения стоит слабое дополнение (VII д), слабое обстоятельство (VIII) или слово, вводящее логический контекст (IX), за ним следует ослабленное сказуемое и сильное подлежащее. Такой порядок слов не является «инверсионным» или «субъективным». Он издавна существует в английском языке и появился значительно раньше «прямого» порядка слов. Например: 1) *To the mixture (VII g) is added (V)<sub>1</sub> 0,5 g. of sulphuric acid (V)<sub>2</sub>*; 2) *In Fig. 2 (VIII) is shown (V)<sub>1</sub> a diagram of energy levels (V)<sub>2</sub>*; 3) *Then (IX) followed (V)<sub>1</sub> the discovery of a new compound (V)<sub>2</sub>*. 1) *К этой смеси (VII д) прибавляют (III)<sub>1</sub> 0,5 г серной кислоты (III)<sub>2</sub>*; 2) *На рисунке 2 (VIII) представлена (V)<sub>1</sub> диаграмма энергетических уровней (V)<sub>2</sub>*; 3) *Затем (IX) последовало (V)<sub>1</sub> открытие нового соединения (V)<sub>2</sub>*.

Однако нередко перед (V)<sub>1</sub> стоит неперебиваемое *there*, сигнализирующее о сильном подлежащем (V)<sub>2</sub> и, большей частью, о следующем за ним слабом обстоятельстве (VIII), которое располагается в начале русского предложения: *There are (V)<sub>1</sub> few virus particles (V)<sub>2</sub> in the cell (VIII)<sub>1</sub> in the first half of the latent period (VIII)<sub>2</sub>*. *В первой половине латентного периода (VIII)<sub>2</sub> в клетке (VIII)<sub>1</sub> почти нет (III)<sub>1</sub> вирусных частиц (III)<sub>2</sub>*.

Отсутствие слабого обстоятельства (VIII) в эксплицитном виде указывает на логико-грамматический эллипсис и приводит в действие механизм его восстановления (XIV): *This theory (VII п) is very interesting (II)*. *There are (V)<sub>1</sub> many important points (V)<sub>2</sub> (XIV—VIII)* соответствует русскому эквиваленту: *Эта теория (VII п) очень интересная (II)*. *В ней (XIV—VIII) имеется (V)<sub>1</sub> много важных соображений (V)<sub>2</sub>*.

АЛГФ VI «третьего» порядка слов вызывает большие трудности при анализе из-за ее синтаксического совпадения с АЛГФ I, III, IV. Ср.: например: 1) *These new data were obtained in our laboratory*; 2) *New data were obtained in our laboratory*. Эти два синтаксически идентичные предложения обладают совершенно различным логико-грамматическим членением, что ясно видно из эквивалентных им русских РЛГФ IV и V: 1) *Эти новые данные (VII п) были получены (IV)<sub>1</sub> в нашей лаборатории (IV)<sub>2</sub>*; 2) *В нашей лаборатории (VIII) были получены (V)<sub>1</sub> новые данные (V)<sub>2</sub>*.

При отсутствии русских эквивалентов, выявлению АЛГФ VI в контексте способствует ряд логико-грамматических критериев, обусловленных языковой полисемией подлежащего, дополнения и обстоятельства, которые могут нести как основную, так и вспомогательную информацию. Ослабленное сказуемое образует комплекс только с одним из этих членов предложения. Если в предложении присутствует сильное подлежащее, остальные члены предложения являются слабыми. Для того чтобы подлежащее было сильным, необходимо: 1) отсутствие у подлежащего тематической связи с предыдущим контекстом; 2) дополнение не должно образовывать комплекс с ослабленным глаголом, но должно вводить тематический контекст (VII д); 3) обстоятельство не должно образовывать комплекс с ослабленным сказуемым, но должно вводить обстоятельственный контекст (VIII). Другими словами, если подлежащее сильное (VI)<sub>1</sub>, то дополнение и обстоятельство слабые (VII д, VIII) и находятся в начале русского предложения. Применим эти критерии к анализу английского предложения с «синусоидным» логико-грамматическим членением: *Recently (VIII)<sub>1</sub> new data (VI)<sub>1</sub> however (IX) were reported (VI)<sub>2</sub> by us (VIIg) on the mechanism of this reaction (VI)<sub>1</sub> in the preceding paper (VIII)<sub>2</sub>*.

В этом предложении: 1) подлежащее не связано тематически с предыдущим контекстом, так как оно не выражено ни личным местоимением, ни указательным местоимением (дейктикой), 2) подлежащее выражено существительным без определенного артикля, без указательного местоимения, но с нулевым артиклем и информационно усилено определением имени существительного, «синусоидно» оторванным от него сказуемым и косвен-

ным дополнением; 3) в предложении нет сильного дополнения, так как оно выражено личным местоимением (VII д); 4) в предложении нет сильного обстоятельства, поскольку обстоятельство в начале предложения слабое (VIII)<sub>1</sub>, а второе обстоятельство (VIII)<sub>2</sub> уточняет первое и не претендует на основную информацию. Следовательно, в данном предложении основная информация выражена АЛГФ VI: «сильное подлежащее (VI)<sub>1</sub> + ослабленное сказуемое (VI)<sub>2</sub>», а вспомогательная информация представлена слабыми обстоятельствами (VIII)<sub>1</sub> и (VIII)<sub>2</sub>, слабым дополнением (VII д) и словом, вводящим логический контекст (IX). Таким образом, проделанный анализ выявил сильное препозитивное подлежащее, установил наличие в предложении АЛГФ VI и уточнил распределение в предложении вспомогательной информации, доказав «синусоидный» характер логико-грамматического членения предложения.

В русской научной и технической литературе соблюдается принцип «линейной» подачи информации; сначала вводится вспомогательная информация, затем основная информация. Следовательно, для адекватной передачи логико-грамматического членения этого предложения необходимо «выравнивать синусоиду». Для этого сосредоточим всю вспомогательную информацию (IX, VII д, VIII)<sub>1</sub>, VIII)<sub>2</sub> в начале русского предложения, до сказуемого, а основную информацию (VI)<sub>1</sub>, (VI)<sub>2</sub>, (VI)<sub>1</sub> разместим после сказуемого. Получаем русское «линейное» предложение: *Однако (IX) недавно (VIII)<sub>1</sub>, в предыдущей статье (VIII)<sub>2</sub>, нами (VII д) уже (XIV) были сообщены (V)<sub>1</sub> новые данные о механизме этой реакции (V)<sub>2</sub>.*

Как видно, для данного предложения АЛГФ VI в английском языке эквивалентна РЛГФ V. Это естественно, поскольку в русской письменной речи нет «третьего» порядка слов. Зато в русском языке слабое дополнение (VII д) можно заменить эквивалентным ему слабым подлежащим (VII п) и тогда идентичная информация будет представлена РЛГФ III: *Мы (VII п) сообщили (III)<sub>1</sub> новые данные (III)<sub>2</sub>.*

Аналогичным образом исследуется логико-грамматическое членение сложных предложений, в которых вспомогательная и основная информация могут быть частично или полностью выражены простым или комплексным членом предложения или обстоятельственным, определительным или дополнительным предложением, в пределах которого наблюдается свое собственное логико-грамматическое членение. Например: *In this section (VIII)<sub>1</sub> the major constraints (VI)<sub>1</sub> which (IX)<sub>1</sub> influenced (III)<sub>1</sub> the design of the Teletar system (III)<sub>2</sub> and (IX)<sub>2</sub> affected (III)<sub>1</sub> the system parameters (III)<sub>2</sub> [VI]<sub>1</sub> are (VI)<sub>2</sub> however (IX)<sub>3</sub> discussed (VI)<sub>2</sub> in a general way (VIII)<sub>2</sub>.*

В главном предложении основная информация представлена формулой АЛГФ VI, пронизанной вспомогательной информацией (VIII)<sub>1</sub>, IX)<sub>3</sub>, VIII)<sub>2</sub>. Подлежащее (VI)<sub>1</sub> имеет при себе придаточное определительное предложение [VI]<sub>1</sub> с «линейным» порядком слов (IX)<sub>1</sub>+III)<sub>1</sub>+III)<sub>2</sub>+IX)<sub>2</sub>+III)<sub>1</sub>+III)<sub>2</sub>). Все сложное предложение имеет следующее логико-грамматическое членение: VIII)<sub>1</sub>+VI)<sub>1</sub>+IX)<sub>1</sub>+III)<sub>1</sub>+III)<sub>2</sub>+IX)<sub>2</sub>+III)<sub>1</sub>+III)<sub>2</sub>+VI)<sub>2</sub>+IX)<sub>3</sub>+VI)<sub>2</sub>+VIII)<sub>2</sub>.

Для достижения адекватного логико-грамматического членения предложения в русском языке, вспомогательная информация английского главного предложения (VIII)<sub>1</sub>, IX)<sub>3</sub>, VIII)<sub>2</sub> располагается в начале русского предложения, а основная информация (VI)<sub>1</sub> в конце предложения в виде РЛГФ V, подлежащее (V)<sub>2</sub> которой имеет при себе придаточное определительное предложение с собственным логико-грамматическим членением [V]<sub>2</sub>: IX)<sub>1</sub>+III)<sub>1</sub>+III)<sub>2</sub>+IX)<sub>2</sub>+III)<sub>1</sub>+III)<sub>2</sub>: *Однако (IX)<sub>3</sub> в этом параграфе (VIII)<sub>1</sub>, в общем виде (VIII)<sub>2</sub> обсуждаются (V)<sub>1</sub> основные факторы (V)<sub>2</sub>, которые (IX)<sub>1</sub> определили (III)<sub>1</sub> конструкцию системы Телестар*

(III)<sub>2</sub> и (IX)<sub>2</sub> воздействовали (III)<sub>1</sub> на параметры этой системы (III)<sub>2</sub> [VI]<sub>2</sub>. Все сложное предложение имеет следующее логико-грамматическое членение: IX<sub>3</sub> + VIII<sub>1</sub> + VIII<sub>2</sub> + V<sub>1</sub> + V<sub>2</sub> + IX<sub>1</sub> + III<sub>1</sub> + III<sub>2</sub> + IX<sub>2</sub> + III<sub>1</sub> + III<sub>2</sub>.

Наличие во многих языках «третьего» порядка слов (сильное подлежащее + сказуемое) опровергает концепцию об универсальном законе «линейной» подачи информации (субъект + предикат) при «объективном», «прямом», порядке слов<sup>4</sup> и значительно расширяет сферу полисемичности подлежащего. Однако из-за синтаксического совпадения слабого и сильного подлежащих перед сказуемым выявить наличие «третьего» порядка слов в ходе монолингвистического исследования одного языка довольно трудно. Исходя из принципа «линейной» подачи информации в русской письменной речи, можно билингвистически однозначно доказать, независимо от контекста, наличие препозитивного подлежащего в любом языке, в котором имеется «третий» порядок слов, а именно: если предложение исследуемого языка имеет сильное препозитивное подлежащее, то в аналогичном предложении русского языка это подлежащее будет находиться в конце предложения, а обстоятельство и дополнение будут располагаться в его начале. Проиллюстрируем эту билингвистическую закономерность на материале функционального стиля научной и технической литературы таких языков, как английский, французский и немецкий: *The possibility of excitation of ion plasma waves (VI)<sub>1</sub> has been predicted (VI)<sub>2</sub> on the basis of the kinetic theory (VIII)*. *На основе кинетической теории (VIII) была предсказана (V)<sub>1</sub> возможность возбуждения ионных волн плазмы (V)<sub>2</sub>*. *Dans cette éventualité (IX), un voyant néon (VI)<sub>1</sub> s'allume (VI)<sub>2</sub> sur la face avant du «livre» incriminé (VIII)*. *В этом случае (IX), на передней поверхности неисправной «книжки» (VIII) вспыхивает (V)<sub>1</sub> яркая неоновая лампа (V)<sub>2</sub>*. *Die Polarität der Speisespannung, der Eingangsamplitude und der Elektrolytkondensatoren (VI)<sub>1</sub> sind (VI)<sub>2</sub> dann (VIII) zu vertauschen (VI)<sub>2</sub>*. *Затем (VIII) надо поменять (III)<sub>1</sub> полярность питания, входной амплитуды и электрического конденсатора (III)<sub>2</sub>*.

<sup>4</sup> См., например: И. И. Ковтунова, Принципы словорасположения в современном русском языке, в кн: «Русский язык. Грамматические исследования», М., 1967, стр. 103.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В. КИПАРСКИЙ

О СУДЬБЕ *-ь-* В СУФФИКСАХ *-ьск* И *-ьство*

Явления, связанные с вокализацией и выпадением праславянских глухих *ъ* и *ь*, в целом подчиняются закону, открытому в 1889 г. чешским ученым А. Гавликом; этот закон известен под его чешским названием «*jeřové pravidlo*». Однако уже давно замечено, что как в морфологии, так и в словообразовании в различных славянских языках встречается много отклонений от закона Гавлика; эти отклонения обычно объясняются аналогическими выравниваниями, ср., например, др.-русск. *рънѣтъ/рънѣту* → *рпот/рпоту* → русск. *рѣном/рѣнота*<sup>1</sup>.

В своей вышедшей недавно работе с новым интересным объяснением некоторых из этих отклонений выступил А. В. Исаченко<sup>2</sup>. Основываясь на идеях своего учителя Н. С. Трубецкого, высказанных в 1934 г.<sup>3</sup>, А. В. Исаченко показывает, что закон Гавлика действовал в древнерусском языке только в течение сравнительно короткого периода — начиная от окончательной вокализации глухих в сильном положении, происшедшей в севернорусской области около 1200 г., и вплоть до конца XV в. Этот период А. В. Исаченко называет «*period of trial and error*», на его протяжении в текстах реально встречаются различные теоретически возможные комбинации, основывающиеся на законе Гавлика, — вроде уже упомянутого *рпот/рпоту* или, например, *мѣсть/мѣсти*, *дска/доск* и т. п. Около 1500 г. наступил, по А. В. Исаченко, период действия принципиально иных, не фонетически, а морфонематиически обусловленных правил, которыми и объясняются многочисленные отклонения от закона Гавлика в современном русском языке. Главными из этих новых правил являются, по А. В. Исаченко, следующие два: 1) элиминирование так наз. «*multiple vowel/zero alternation*»<sup>4</sup>, вроде *рпот/рпоту*, *шеѡ/шеѡца*, *снем/сонѡма* и т. п., встречающихся в текстах XIV—XV вв.; 2) стабилизация развившегося из глухого *ъ*, *ь* гласного *о*, *е*, если последний оказывался на расстоянии более чем одного согласного от конца основы, например, *мѣсти*, *лѣсти*, *доска* вместо ожидаемых по закону Гавлика *мѣсти*, *лѣсти*, *дска*, которые встречаются в текстах XIV—XV вв. Подробный разбор и критику предложенных А. В. Исаченко морфонематиических правил я надеюсь дать в другой работе, здесь же обращусь лишь к судьбе глухих в праславянских суффиксах *-ьскъ* и *-ьство*, которым А. В. Исаченко уделяет в своей статье лишь несколько строк.

<sup>1</sup> Подробный анализ подобных отклонений в области морфологии русского языка дан в кн.: V. K i p a r s k y, *Russische historische Grammatik*, II, Heidelberg, 1967, стр. 114—129. Отклонения от закона Гавлика в области русского словообразования будут подробно рассмотрены в готовящемся к печати третьем томе этой работы.

<sup>2</sup> A. V. I s a č e n k o, *East Slavic morphophonemics and the treatment of the Jers in Russian: a revision of Havlík's law*, «*International journal of Slavic linguistics and poetics*», XIII, 1971.

<sup>3</sup> N. S. T r u b e t z k o y, *Das morphologische System der russischen Sprache*, TCLP, 5, 2, 1934.

<sup>4</sup> В книге «*Russische historische Grammatik*» (II) я называю это же явление «*Stellungswechsel des vokalisiertes ь, ѡ*» (стр. 116).

Суффиксу *-iskъ* посвящен небольшой раздел в неславистическом труде Н. Хомского и М. Халле<sup>5</sup>. Ссылаясь на неопубликованную работу молодого американского слависта Т. Лайтнера, Н. Хомский и М. Халле предлагают следующие формулы для определения развития праславянских гласных *ъ* и *ь*, которые они определяют как «nontense high vowels» (ненапряженные гласные верхнего подъема):

$$(134) \left[ \begin{array}{l} + \text{voc} \\ - \text{cons} \\ - \text{tense} \\ + \text{high} \end{array} \right] \rightarrow \emptyset / - \left\{ C_1 \left[ \begin{array}{l} \ddagger \\ + \text{voc} \\ - \text{cons} \\ \{ - \text{high} \} \\ + \text{tense} \end{array} \right] \right\}$$

$$(135) \left[ \begin{array}{l} + \text{voc} \\ - \text{cons} \\ - \text{tense} \end{array} \right] \rightarrow [- \text{high}]$$

Формулы (134) и (135) читаются следующим образом: «ненапряженные гласные верхнего подъема уничтожаются в конце слова или если следующий за ними слог содержит гласный неверхнего подъема или напряженный гласный; в иных случаях они становятся гласными неверхнего подъема». При ближайшем рассмотрении эти формулы оказываются лишь парафразой закона Гавлика — при условии, что *ъ* и *ь* действительно были «ненапряженными гласными верхнего подъема»<sup>6</sup>.

Н. Хомский и М. Халле продолжают: «К исключениям из правила (134) относится суффикс /isk/. Гласный этого суффикса не уничтожается согласно правилу, если основа, к которой присоединен суффикс, оканчивается на велярный или палатальный согласный, т. е. на согласный, который [— передний, — корональный]. В конечном результате велярные в этой позиции обычно реализуются как резкие палато-альвеолярные, так как велярные перед передними гласными подвергаются так называемой „первой палатализации“». При этом Н. Хомский и М. Халле, ссылаясь опять-таки на Т. Лайтнера, утверждают, что палатализации, считающиеся обычно «окаменевшими историческими процессами», в действительности все еще продуктивны в большинстве современных славянских языков<sup>7</sup>. Очевидно, Н. Хомский и М. Халле имеют здесь в виду не фонетическое изменение (нем. Lautwandel, англ. sound change), а чередование (нем. Lautwechsel, англ. alternation); это явствует из приводимых ими примеров: с одной стороны, *сибирский*, *римский*, *учительский*, с другой — *греческий*, *монашеский*, *мужеский*, в которых «гласный суффикса /isk/», т. е. старый *ь*, не уничтожается по правилу (134). Однако, замечают Н. Хомский и М. Халле, «имеется дальнейший пласт исключений из только что упомянутых исключений, а именно формы, в которых суффикс /isk/ следует за непредним согласным, но в которых гласный суффикса уничтожается»; как примеры приводятся *мужской*, *волжский*, *чешский*. Для объяснения этих «исключений второй степени» Н. Хомский и М. Халле предлагают вспомогательную формулу:

$$(137) \left[ \begin{array}{l} + \text{voc} \\ - \text{cons} \\ + \text{high} \\ - \text{back} \\ - \text{tense} \end{array} \right] \rightarrow - [\text{rule (134)}] / \left[ \begin{array}{l} + \text{cons} \\ - \text{ant} \\ - D \end{array} \right] + - \text{sk} +$$

<sup>5</sup> N. Chomsky, M. Halle, The sound pattern of English, New York, 1968, стр. 379—380.

<sup>6</sup> Определение действительной фонетической значимости праславянских и даже древнерусских *ъ* и *ь* представляет значительные трудности, см.: В. Кипарский, указ. соч., I, стр. 78 и 93.

<sup>7</sup> N. Chomsky, M. Halle. указ. соч., стр. 420.

Формула (137) читается следующим образом: «гласный суффикса /isk/ не подвергается уничтожению по правилу (134), если основа, к которой присоединен суффикс, оканчивается на велярный или палатальный согласный, кроме тех случаев, в которых основа обозначена специальным диакритическим знаком [+D], который указывает, что это — исключение из дополнительного правила (137)<sup>8</sup>. Другими словами, Н. Хомский и М. Халле предлагают читателям при образовании прилагательных на *-(е)ский, -(е)ской* каждый раз справляться, не отмечена ли данная основа диакритическим знаком, т. е. образует ли она прилагательное на *-еский* или на *-ский*. Но такого справочника пока что нет.

К сожалению, Н. Хомскому и М. Халле, по-видимому, остались неизвестными статья Е. А. Земской<sup>9</sup> и написанный ею же раздел «Изменения в системе словообразования прилагательных» в коллективном труде под ред. акад. В. В. Виноградова<sup>10</sup>, в которых подробно рассматривается роль беглых гласных в именных суффиксах, и между прочим в суффиксе *-(е)ск-*. Е. А. Земская рассматривает формы *-ьск-/ск-* как «варианты», имея, конечно, в виду полную идентичность значения таких слов, как *мужеский/мужской*, и считает, что беглые гласные «по своей функции в составе слова... близки интерфиксам. Их роль — чисто соединительная: препятствовать скоплению согласных на морфемном пье»<sup>11</sup>. Е. А. Земская пишет: «за вариантом *-ьск-* была закреплена ранее позиция после шипящих и заднеязычных (с соответствующими чередованиями): *пастушеский, вражеский, товарищеский, чиновнический*. Однако в той же позиции (преимущественно в образованиях от топонимов) встречалось и *-ск-*: *волжский, калужский, рижский, парижский, чешский*; без чередований (в образованиях от поздних заимствований): *петербургский* (в XIX в. отмечалось и *петербуржский*), *лейпцигский, нюрнбергский, хельсинский*<sup>12</sup>. Широко употребляется вариант *-ск-* в образованиях от названий народностей: ср. *казахский, лакский, каракалпакский, кумыкский* и мн. др. Вариант *-ск-* (после заднеязычных и шипящих) проникает и в образования не от географических наименований (например, *герцогский, команчский*<sup>13</sup>, *мужской*). Таким образом, происходит расширение сферы действия *-ск-* за счет *-ьск-*<sup>14</sup>.

Разобрав так подробно распределение суффиксов *-ьск-* и *-ск-* в современном русском языке, Е. А. Земская, к сожалению, не объясняет, почему «в той же позиции» встречалось как *-ьск-*, так и *-ск-*, хотя, как она говорит, «за вариантом *-ьск-* была закреплена ранее позиция после шипящих и заднеязычных». Н. Хомский и М. Халле также не дают объяснения возникновению этих вариантов. Здесь будет сделана попытка заполнить этот пробел и дать историческое объяснение параллелизма *-ьск-/ск-* в русском языке.

Как известно, праславянский суффикс *-ьsk-* индоевропейского происхождения и фонетически точно соответствует германскому *-isk-*, литовскому *-iškas-*, латышскому *-isks* и, вероятно, фракийскому суффиксу, сохра-

<sup>8</sup> Там же, стр. 380.

<sup>9</sup> Е. А. Земская, Интерфиксация в современном русском словообразовании, сб. «Развитие грамматики и лексики современного русского языка», М., 1964.

<sup>10</sup> «Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX века. Изменения в словообразовании и формах существительного и прилагательного в русском литературном языке XIX века», М., 1964.

<sup>11</sup> Е. А. Земская, Интерфиксация ..., стр. 59.

<sup>12</sup> Нормально: *хельсинкский*. Здесь, должно быть, опечатка.

<sup>13</sup> Непонятно, почему как пример взято это чрезвычайно редкое название индейского племени. В качестве примера сочетания *-чский* можно привести засвидетельствованное в 1782 г. *палачский* (позднее *палаческий*).

<sup>14</sup> Е. А. Земская, Интерфиксация ..., стр. 59—60.

нившемуся в румынском *-escu*<sup>15</sup>. Высказанное некогда К. Бругманом и А. Мейе предположение, что славянский и балтийский суффиксы заимствованы из германского<sup>16</sup>, совершенно не обосновано<sup>17</sup>. В праславянском языке суффикс *\*-ъskъ* был одним из наиболее продуктивных в отыменном словообразовании имен прилагательных и мог, по-видимому, присоединяться к любым основам<sup>18</sup>. Если эти основы оканчивались на задненебный согласный, то происходила 1-я палатализация, например:

ст.-слав. *богъ/божьскъ*, др.-русс. *божьскыи*, русск. *божеский*, болг. *божески*, польск. *boski*, чеш. *božský*;

ст.-слав. *грѣкъ/грѣчьскъ*, др.-русс. *греческыи*, русск. *греческий*, *грецкий*, ср.-хорв. *грчки*, болг. *грѣчки*, польск. *grecki*, чеш. *řecký* (<*hřěčský*);

ст.-слав. *чловѣкъ/чловѣчьскъ*, др.-русс. *человѣчьскыи*, русск. *человеческий*, ср.-хорв. *човечки*, болг. *човешки*, чеш. *člověcký*, верхнелуж. *čłowieski*;

праслав *\*mъnichъ* (< ст.-в.-нем. *munih*), др.-русс. *мнишьскыи*, польск. *mniski*, чеш. *mníšský*.

Чередование *к : ч*, *г : ж*, *х : ш*, вызванное 1-й палатализацией, было довольно долго живым в русском языке: в IX в. было образовано *варяжский* от *варяг*, в X—XI вв. *печеньжский* от *печеньгъ*, *ляшский* от *ляхъ*; от названия основанного в 1203 г. города Риги образуется в 1229 г. *ризкий* (<*\*рижьский*)<sup>19</sup>. К началу XVIII в. это чередование перед суффиксом *-ск-* очевидно, уже отмирает (см. приведенные выше отдельные случаи употребления прилагательного *петербуржский*), что Земская объясняет «ростом агглютинативности, т. е. свободного „приклеивания“ морфем друг к другу без изменения при этом их звукового состава»<sup>20</sup>. 1-я палатализация и вызванные ею чередования *к : ч* наблюдаются и в тех случаях, когда суффикс *-ъskъ* присоединяется к основам, уже расширенным суффиксом *-ъць* или *-ица*, а также суффиксами *-ик-*, *-ык-*, *-ак-*, *-як-*, *-ок-*, *-ук-*, *-юк-* (последние очень редки), например: ст.-слав. *чръньць/чръньчьскъ*, ст.-слав. *дѣвица/дѣвичьскъ*, ст.-слав. *мѣченикъ/мѣченичьскъ*, ст.-слав. *Азыкъ/Азычьскъ*, др.-русс. *новакъ/новачьскыи*. Суффиксальных образований на *-очьскъ*, *-учьскъ* ни для старославянского, ни для древнерусского я не смог отметить, но, по всей вероятности, они были бы образованы именно так, ср. *пророчьскъ*, *ночьскъ*, где *-ок-* принадлежит основе.

Дальнейшее развитие прилагательных на *-ъsk-* шло по закону Гавлика. Формы им. падежа ед. числа муж. рода и род. падежа мн. числа всех родов *отчьскъ*, *дѣвичьскъ*, *язычьскъ*, *мученичьскъ*, *новачьскъ* должны были дать *отческ*, *дѣвическ*, *языческ*, *мученическ*, *новаческ*, а все остальные падежные формы — *отческа* (*-ску*, *-скы* и т. д.), *дѣвичску*, *язычка*, *мученичка*, *новачка* и т. д., откуда *отецка*, *дѣвица*, *языца*, *мученица*, *новаца* и т. д. Так как форм последнего типа было значительно больше, следовало бы ожидать их преобладание, что действительно и находим в большинстве других славянских языков — поскольку там вообще представлены такие формы, ср. чеш. *otěcký*, *mičednický*. В русском и, как мы увидим, в болгар-

<sup>15</sup> Ср., например: A. I. R o s s e t t i, Istoria limbii române, II — Limbile balcanice, Bucureșt, 1943, стр. 60—61.

<sup>16</sup> К. B r u g m a n n, В. D e l b r ü c k, Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, Straßburg, 1897—1916, II, 1, стр. 501—502; А. M e i l e t, Etudes sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave, Paris, 1902—1905, стр. 332.

<sup>17</sup> Ср., например: J. E n d z e l i n, Lettische Grammatik, Riga, 1922, § 190.

<sup>18</sup> Ср.: Ж. Ж. В а р б о т, Древнерусское именное словообразование, М., 1969, стр. 159.

<sup>19</sup> См.: «Смоленские грамоты XIII—XIV веков», под ред. Р. И. Аванесова, М., 1963, стр. 20.

<sup>20</sup> Е. А. З е м с к а я, Изменения в системе словообразования прилагательных, стр. 298.

ском в целом возобладал вариант на *-чesk-*; в нескольких случаях имеются параллельные формы с разными значениями (*царедворческий/дворецкий, богоборческий/Борецкий*); довольно многочисленны стилистически различаемые варианты, причем вариант на *-цкий* обычно имеет оттенок вульгарности, например, *кулачesкий/кулацкий, батрачesкий/батрацкий, полковнический/полковницкий, чиновнический/чиновницкий* и др.<sup>21</sup> Подобный параллелизм, вызванный следствиями закона Гавлика, следовало бы ожидать также в суффиксах *-ж(е)ский* и *-ш(е)ский*, однако Е. А. Земская приводит всего два примера, и те из говоров<sup>22</sup>, а мне известны лишь варианты *мужеский/мужской*.

Почему же в суффиксе *-ьск-* после возникших по 1-й палатализации шипящих в литературном русском языке возобладала вокализация *-ь-*?

Не соответствующая закону Гавлика вокализация *-ь-* в суффиксе *-ьск-* известна лишь русскому и болгарскому и другим славянским языкам не свойственна даже в том случае, когда в них представлены соответствующие прилагательные на *-ьск-*. Ср.: польск. *boski, meški, towarzyski, mniški*, чеш. *božský, mužský, tovaryšský, pastušský, soudružský, člověký, mnišský*, верхнелуж. *čłowjeski*, ср.-хорв. *мушки, монашки*, болг. *мъжки, белорусск. манашки* и др. Только в современном болгарском русским прилагательным *божеский, вражеский, девический, дружеский, княжеский, монашеский, монаршеский, супружеский, языческий* соответствуют *божески, вражески, девически, дружески, княжески, монашески, монаршески, супружески, езически*, а русским формам без вокализации *-ь-* *волошский, грецкий, мужской* соответствуют *влашки, гръцки, мъжки*, также без вокализации.

Эти сопоставления позволяют предположить, что причина «незаконной» вокализации *-ь-* в суффиксе *-ьск-* должна быть общей для русского и болгарского, но не известна другим славянским языкам. Таким общим фактором, не известным, во всяком случае в полной мере, другим славянским языкам, является влияние церковнославянского, т. е. старо- и среднеболгарского языка. Известно, что в русском литературном языке имеется целый ряд слов, где влияние церковного произношения вызвало вокализацию *ѣ* или *ь*, которые по закону Гавлика должны были выпасть. Так, др.-русск. *сѣвѣтъ* дало вместо ожидаемого \**свет* современное *совет*, др.-русск. *сѣюзъ* вместо ожидаемого \**сюз* — современное *союз*, др.-русск. *възлюбити* дало нормально *взлюбить* и в церковном произношении *возлюбить* (своего ближнего) и т. п.

Еще А. А. Шахматов правильно указал на то, что здесь главную роль играло произношение эмигрантов-болгар XV в., которые произносили каждый *ѣ*, вероятно, как [л] и которым стали подражать русские священники<sup>23</sup>. По-видимому, и в суффиксах *-чьск-*, *-жьск-*, *-шьск-*, *-цьск-*, *-б-* произносилось этими болгарскими священниками как [л] или [э] и образовывало слог. Русские священники стали произносить в этих суффиксах как бы неударяемое *е*, что постепенно отразилось на письме, где старый *ь* стал заменяться новым *е*, подобно тому как в словах *сѣвѣтъ, възлюби* и т. д. *ѣ*, произносившийся как [л], стал заменяться на письмо буквой *о*. То, что возникшие таким образом «варианты» *-ьск-* сравнительно недавнего происхождения, доказывается тем, что Котошихин, язык которого близок к деловому языку Московской Руси, употребляет наряду с чисто русской

<sup>21</sup> Подробный перечень появлявшихся в XIX в. подобных вариантов, из которых, однако, многие не укоренились в литературном языке, см.: Е. А. Земская, Изменения в системе ..., стр. 303—304.

<sup>22</sup> Е. А. Земская, Интерфиксация ..., стр. 60.

<sup>23</sup> А. А. Шахматов, Очерк древнейшего периода истории русского языка, Пг., 1915, § 395.

формой *мужской* (11 раз) и «церковную» *мужеский* (3 раза) (по данным А. Пеннингтон). В XVIII—XIX вв. форма *мужеский* начинает определенно преобладать и только с начала XX в. постепенно уступает место форме *мужской*, которая полностью ее вытесняет лишь после Октябрьской революции. Понятно, что вокализация развилась почти исключительно в словах так называемого «высокого штиля» или просто церковнославянских, таких, как *вражеский*, *монашеский*, *супружеский*, *языческий*, *божеский* и т. п. Прилагательные, образованные от названий географических или названий народностей, вероятно, не произносились «по церковному» (например, *варяжский*, *печенѣжскыи*, *ляшский*, *волжский*, *рижский*), там же, где они имели значение для церкви, образовывались «варианты», например, *греческий/грецкий*. Когда слово выходило из ежедневного конкретного употребления и оставалось только в так называемом «высоком штиле», в нем могла произойти замена *-ск-* на *-еск-*, как, например, современное *палаческий* «как у палача», которое еще в 1782 г. писалось (и, вероятно, произносилось) как *палачский* и выступало в значении «принадлежащий палачу».

Но если вокализация *-ь-* была вызвана причинами стилистическими и влиянием произношения нерусских священников, то почему она ограничилась позицией после заднеязычных и шипящих? Здесь следует обратить внимание на тот факт, что в суффиксе *-ство* в русском и болгарском языках вокализация *-ь-* происходила почти без исключения после заднеязычных и шипящих, в то время как в других славянских языках ее вообще не было, ср. *мужество*, болг. *мъжество* (польск. *męstwo*, чеш. *mužstvo*), *содружество* (чеш. *soudružství*), *товарищество* (чеш. *tovaryšstvo*, *tovaryšství*), *тож(д)ество*, болг. *тъждество*, *существо*, болг. *същество* и мн. др. Совр. русск. *скотоложество* и *мужеложество* писались еще в XIX в. как *скотоложество*, *мужеложество*. Уже тот факт, что все эти слова, очевидно, происхождения церковного, делает вероятным, что именно в церковнославянском господствовало правило вокализации *-ь-* между спирантами, точнее между шипящим и *-с-*. П. Кипарский сравнил это явление с известным правилом образования множественного числа существительных в современном английском языке: если основа оканчивается на [š], [z], [č], [ž], [s], то нормальное окончание [s] или [z] заменяется окончанием [iz], например, *fishes*, *roses*, *churches*, *hedges*, *asses*<sup>24</sup>.

Таким образом, причина «незаконной» вокализации *-ь-* в суффиксах *-ск-* и *-ство* в конце концов все же фонетическая, но ее следует искать не в русской, а в церковнославянской (среднеболгарской) фонетике. Можно согласиться до известной степени с Е. А. Земской, которая относительно современного русского языка говорит, что роль беглого *e* «чисто соединительная: препятствовать скоплению согласных на морфемном шве».

<sup>24</sup> «First Scandinavian summer school of linguistics, July — August 1969».

А. БАРТОШЕВИЧ

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СИСТЕМЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

Современное состояние науки о структуре языка как совокупности ряда взаимодействующих систем все больше подтверждает обоснованность выделения словообразования как самостоятельного, особого раздела лингвистической дисциплины, далеко выходящего за пределы лексикологии и грамматики и одновременно тесно соприкасающегося с ними. Хотя среди языковедов и существуют мнения, согласно которым среди языковых уровней с их основными единицами словообразование отсутствует<sup>1</sup>, все большее распространение получает мысль о наличии специфического словообразовательного яруса наряду с другими уровнями в языковой структуре<sup>2</sup>. Несомненно, что в отличие от других уровней языка словообразование характеризуется особой системой, своими специфическими внутренними отношениями, сложными и многообразными связями с другими сферами языка<sup>3</sup>, многоплановостью, своими законами функционирования и, следовательно, должно иметь свою основную единицу с характерными для нее признаками. Однако несмотря на богатую литературу по теории словообразования, словообразовательный ярус языка пока еще остался не вскрытым, не вполне ясным остается место словообразования в кругу других лингвистических дисциплин, нет достаточно всеобъемлющей и наиболее достоверной общей схемы, отражающей действие словообразовательной системы какого-нибудь языка, еще окончательно не выработаны необходимые точные и эффективные методы анализа. Среди языковедов нет единогласия относительно даже определения понятия продуктивности — непродуктивности и ее шкалы, не говоря уже о спорных проблемах принципов словообразовательного анализа слова<sup>4</sup> и о различных попытках классификации производных слов<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Так, например, Ч. Ф. Хоккет в структуре языка выделяет фонетику, фонологию, морфонологию, морфологию, синтаксис и семантику (см.: Ch. H o s k e t t, A course in modern linguistics, New York, 1958, стр. 137 и сл.). Согласно же концепции Фр. Дана и К. Гаузенбласа («Проблематика уровней с точки зрения структуры высказывания и системы языковых средств», в кн.: «Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие», М., 1969, стр. 18) в языке существуют уровни: фонем, морфем, словоформ, предложений и сложных единиц.

<sup>2</sup> См.: Е. С. Кубрякова, Что такое словообразование, М., 1965; В. В. Лопатин, И. С. Улуханов, К соотношению единиц словообразования и морфонологии, в кн.: «Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие».

<sup>3</sup> Здесь взаимодействуют явления различного лингвистического характера: фонологические, морфологические, лексические, семантические и даже синтаксические. Поэтому неудивительным является предложение М. Д. Степановой («О месте словообразования в системе языка», в кн.: «Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие», стр. 279), согласно которому словообразование следует рассматривать «не как отдельный уровень, а как специфическую область языка», потому что «оно имеет междуровневый характер».

<sup>4</sup> Об этом см.: А. В а r t o s z e w i c z, Суффиксальное словообразование существительных в русском языке новейшей эпохи (на материале новообразований после 1940 года), Poznań, 1970, стр. 8 и сл.

<sup>5</sup> См. «Основы построения описательной грамматики современного русского литературного языка», М., 1966, стр. 72 и сл.; А. В а r t o s z e w i c z, указ. соч., стр. 15 и сл.

Не претендуя на сколько-нибудь обстоятельное освещение и окончательное решение всех спорных проблем теории словообразования, на основании данных прежде всего русского языка в настоящей статье будут затронуты лишь некоторые весьма сложные вопросы общей теории словообразования, а также будут предложены наши соображения<sup>6</sup>, которые, надеемся, послужат материалом для дискуссий и новых поисков в области словообразования.

Прежде всего хочется отметить, что к числу особо актуальных вопросов теории словообразования принадлежит проблема описания словообразовательных явлений как системы, которая должна быть основана на характере взаимосвязанных и взаимообусловленных языковых фактов (элементов), образующих более сложное единство. К тому же, как известно, «...система — это не только гармоническое сочетание элементов одного и того же порядка, но в то же время и совокупность противоречивых элементов и отношений, отражающих диалектическую борьбу противоположностей, борьбу старого с новым, отживающего с нарождающимся»<sup>7</sup>. Следовательно, разные уровни языка характеризуются наличием своих специфических единиц и тем самым невозможно говорить о словообразовательной системе, о словообразовательном уровне, не определив его основной единицы. Как раз такое положение — неопределенность объекта, основной единицы все еще наблюдается в исследованиях по словообразованию, создающих в этом отношении впечатление пестроты и отражающих самые различные концепции лингвистов по вопросу принципов определения и самого характера словообразовательной единицы. Отметим здесь лишь наиболее распространенные точки зрения, а именно мнения, высказанные М. Докулилом, Е. С. Кубряковой и В. В. Лопатиным и И. С. Улухановым.

Согласно концепции «единства ономаσιологической структуры слова», предложенной М. Докулилом и его последователями, в качестве основной единицы словообразования выделяют словообразовательный тип, вычленимый в пределах словообразовательной категории и определяющийся общностью трех элементов: а) единством ономаσιологической структуры (т. е. единством целостного структурного значения и единством взаимоотношений составных частей этой структуры), б) единством лексико-грамматического характера словообразовательной основы, в) тождеством форманта (во всех его обязательных частях)<sup>8</sup>. Эта точка зрения учитывает план выражения и план содержания языка, и благодаря этому она разделяется и развивается большинством советских и чешских лингвистов; все чаще высказывается мнение, что «подход к словообразовательному типу как о с н о в н о й е д и н и ц е системы словообразования ныне можно считать, вероятно (sic. — А. Б.), общепризнанным»<sup>9</sup>. Заметим, что в практике описания системы словообразования словообразовательный тип применяется обычно к аффиксальному словопроизводству, причем наряду с ним часто вводится понятие «словообразовательной модели», которая иногда является почти тождественной словообразовательному типу<sup>10</sup>.

<sup>6</sup> Они найдут свое воплощение в монографии, посвященной истории отсубстантивной деривации существительных в русском языке и находящейся в настоящее время в стадии разработки.

<sup>7</sup> Ф. П. Ф и л и н, Заметки о состоянии и перспективах советского языкознания, ВЯ, 1965, 2, стр. 21.

<sup>8</sup> М. D o k u l i l, Tvořeni slov v češtině, Praha, 1962, стр. 202.

<sup>9</sup> Г. С. З е н к о в, Вопросы теории словообразования, Фрунзе, 1969, стр. 26.

<sup>10</sup> См.: М. С. М а л е е в а, Суффиксальная словообразовательная модель (на материале имен существительных с усеченной производящей основой современного русского языка). Автореф. канд. диссерт., Орел, 1968.

Понимаемый таким образом словообразовательный тип не включает образований, одноструктурных с формальной точки зрения, но способных передавать несколько лексических значений, например: *заправщик* в значении лица и предмета, *телятник* — лицо и предмет.

Другое определение основной единицы словообразования предложила Е. С. Кубрякова. Отмечая необходимость определения центральной единицы системы словообразования наподобие центральных понятий фонологии и морфологии и указывая на назревшую необходимость в создании собственной словообразовательной терминологии, она пишет: «Пока же, за неимением лучшего термина, мы предлагаем использовать для названия всех видов словообразовательных единиц термин „производное“. В него мы вкладываем в соответствии со сказанным выше гораздо более широкое содержание, чем обычно, т. е. для нас производными в буквальном смысле слова являются и аффиксальные образования, и сложные слова, и аббревиатуры, и конвертированные единицы (т. е. образованные без специального словообразовательного элемента, ср. *пыль* — *пылить*, *зелень* — *зеленеть* и т. д.), и все прочие виды вторичных словообразовательных конструкций. Это и следует иметь в виду, когда в дальнейшем изложении мы... утверждаем, что центральной единицей системы словообразования является производное»<sup>11</sup>.

Недавно В. В. Лопатин и И. С. Улуханов предложили новый подход к определению основной единицы словообразовательного уровня и, соответственно, выделили особую единицу данного уровня. Исходя из того, что «красные уровни языка целесообразно выделять не только на основании сегментных единиц, но также и на основании различий в их функциях и способах организации (как в синтагматическом, так и в парадигматическом планах)»<sup>12</sup> и что «для словообразовательного уровня языка релевантны только такие признаки, которые характеризуют мотивированное (производное) слово в целом, а не отдельные словоформы»<sup>13</sup>, основной единицей словообразовательного уровня они считают формант, который является более узкой единицей в рамках словообразовательного типа, понимаемого ими как основная единица классификации словообразовательных явлений, и определяют его как «структурную схему, общую для всех образований одного типа и, следовательно, являющуюся носителем словообразовательного значения»<sup>14</sup>. Отметим лишь, что неудобство введения понятия «формант» в таком значении станет совершенно очевидным, если принять во внимание, что это понятие может охватывать как одно<sup>15</sup> так и несколько словообразовательных средств и даже формантов<sup>16</sup>, хотя в иных значениях оно употребляется относительно широко<sup>16</sup>.

Трудность определения основной единицы словообразовательного уровня заключается, как уже говорилось, в специфике и чрезвычайной сложности словообразовательных отношений. Достаточное выявление этих отношений и, следовательно, искомой единицы немислимо, по-видимому, до тех пор, пока не будут учитываться одновременно, кроме плана выражения и плана содержания языка, другие ярусы языковой структуры и, что очень важно, место и функции их среди компонентов языка как системы средств коммуникации.

<sup>11</sup> Е. С. Кубрякова, указ. соч., стр. 24.

<sup>12</sup> В. В. Лопатин, И. С. Улуханов, указ. соч., стр. 120.

<sup>13</sup> Там же, стр. 121.

<sup>14</sup> Там же, стр. 122.

<sup>15</sup> Например, при смешанном способе словообразования с участием сложения и аффиксации формант будет равен сумме формантов, присущих составляющим способам словообразования.

<sup>16</sup> Ср.: О. С. Ахманова. Словарь лингвистических терминов, М., 1966.

Бесспорно, что определение основной единицы той или иной системы во многом зависит от общих, принятых данным исследователем, положений. В нашем случае при определении основной единицы системы словообразования мы будем исходить из следующего:

1. Конкретное значение слова, находящегося, как известно, на более высоком уровне абстракции системы языка, чем, например, предложение, всегда проявляется в контексте в широком смысле этого определения<sup>17</sup>.

2. Аффикс, выделяемый в производном слове, не имеет сам по себе никакого лексикологического значения, ибо он — лишь один из компонентов, формирующих только внешнюю сторону слова — слово-структуру на основе того или иного слова.

3. В языке, общей и основной целью существования системы которого является общение, на базе его средств производство слов протекает прежде всего по образцу уже существующих слов-структур.

4. Сложность отношений и отсутствие полного соответствия между планом выражения и планом содержания.

5. Структура языка — это «спираль» взаимопроникающих уровней, что особенно проявляется в словообразовании.

6. Основная единица системы должна представлять собой нечто целостное в статике и в историческом развитии и репрезентанты ее на данном уровне должны характеризоваться двумя группами признаков: дифференциальными (противопоставляющими их другим одноярусным объектам) и объединительными (по которым они объединяются с другими одноярусными объектами).

7. При определении основной единицы словообразовательного уровня должны учитываться все способы деривации слов: префиксация, суффиксация, нулевая суффиксация<sup>18</sup>, конфиксация<sup>19</sup>, чистое сложение, сложение с аффиксацией, сращение, аббревиация, субстантивация и т. д.

Учитывая эти положения и основные принципы структурно-функционального языкознания, производное (мотивированное) слово целесообразнее, как нам кажется, рассматривать в структурном и функциональном аспектах. В структурном аспекте производное слово — это определенная структура, характеризующаяся определенными лексико-грамматическими свойствами производящего слова и определенным словообразовательным средством<sup>20</sup>. Функциональный план этой структуры определяется использованием ее в речи с новым значением по сравнению со значением производящего слова, причем та или иная структура может выражать частные значения в отдельности (например, личности, предметности, отвлеченности и т. д.) или с течением времени может стать средством для передачи нескольких значений (например, личности и предметности, действия и предмета). В частности, в отношении такого определения функционального плана слов-структур примечателен один хорошо известный факт, что «...в словообразовательных процессах всех славянских языков исторического периода выделяются две основные тенденции: активное развитие

<sup>17</sup> Ср.: Ф. Д е С о с с у р, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 128.

<sup>18</sup> О нулевой суффиксации см.: В. М. М а р к о в, Явления нулевой суффиксации в русском языке. «Тезисы докладов межвузовской конференции по исторической лексикологии, лексикографии и языку писателя», Л., 1961; В. В. Л о п а т и н, Нулевая аффиксация в системе русского словообразования, ВЯ, 1966, 1.

<sup>19</sup> См.: В. М. М а р к о в, Замечания о конфиксальных образованиях в языке поэтических произведений М. В. Ломоносова, «Очерки по истории русского языка и литературы XVIII века (Ломоносовские чтения)», I, Казань, 1967.

<sup>20</sup> При аффиксации общим словообразовательным средством будет общий аффикс, при словосложении — способ сложения с учетом соединительной морфемы, порядка компонентов, характера усечения основы или основ и т. д.

вторичных значений — конкретных из абстрактных (*-nъe, -stvo, -ka, -nja, -isko*), значение предмета из значения действующего лица...»<sup>21</sup>.

При таком подходе к основной единице словообразовательного уровня объединяются, по-нашему, все основные словообразовательные признаки, причем понимаемая таким образом единица будет исполнять свое главное назначение, т. е. будет общей схемой образования средств языковой коммуникации. Эту единицу мы предлагаем назвать дериватемой<sup>22</sup> (от лат. *derivatum* «отведенный»), что соответствует термину «деривация» в значении словопроизводства вообще, а не только аффиксального<sup>23</sup>. И так, д е р и в а т е м а — это абстрагированная от речи общая схема образования новых слов — средств языковой коммуникации, которая характеризуется определенным словообразовательным средством и определенными лексико-грамматическими свойствами слов, реально и потенциально составляющих производящую базу, и тем, что слова-структуры, произведенные по ее образцу, могут использоваться для выражения новых лексических или лексико-грамматических значений по сравнению с исходными для них словами. Дериватема — единица словообразовательного уровня, абстрагированная от речи. Манифестацией ее в речи являются дериваты — вторичные слова соответствующей структуры (т. е. слова с определенным словообразовательным средством и определенными лексико-грамматическими свойствами производящего слова), несущие в речи конкретные новые по отношению к исходным словам лексические или лексико-грамматические значения. Следовательно, между дериватом и дериватемой существуют, в основном, такие соответствия, как и между морфой и морфемой, и соответственно в структуре языка наряду с уровнем фонем, морфем и т. д. можно выделить уровень дериватем.

Согласно такому определению центральной единицы словообразовательной системы, то или иное слово-структура является репрезентантом той или иной дериватемы при условии, если оно, во-первых, имеет или способно передавать новое лексическое или лексико-грамматическое значение по отношению к слову, исходному для него, т. е. является или способно быть средством языковой коммуникации, и, во-вторых при условии, если оно является или может быть моделью для создания других одноструктурных слов. Иначе говоря, второе условие означает, что деривация репрезентантов той или иной дериватемы необязательно должна быть продуктивной. Она может быть формально и / или качественно продуктивной или формально и / или качественно непродуктивной<sup>24</sup>. Так, например, в современном русском языке дериваты типа *тракторист* являются репрезентантами дериватемы «предметное существительное + *ист*»; типа *пахарь* — дериватемы «наименование действия (глагол) + *арь*»; типа *пастух* — дериватемы «наименование действия (глагол) + *ух*», хотя степень продуктивности их деривации различна: деривация слова типа *тракторист* формально и качественно продуктивна, образование слов типа *пахарь* формально непродуктивно и качественно продуктивно, деривация слов типа *пастух* формально и качественно непродуктивна.

<sup>21</sup> «Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов'янських мов. Проспект», Київ, 1962, стр. 36.

<sup>22</sup> Заметим, что понятие дериватемы в смысле абстрагированных от физической субстанции однородных словообразовательных типов предложил ввести Г. С. Зенков (указ. соч., стр. 100). Не вдаваясь в подробности, отметим лишь, что относительно понятия дериватемы наше мнение не совпадает с точкой зрения Г. С. Зенкова.

<sup>23</sup> Ср.: О. С. А х м а н о в а, указ. соч.

<sup>24</sup> О понятии формальной и качественной продуктивности — непродуктивности подробнее см.: О. Г. Р е в з и н а, Структура словообразовательных полей в славянских языках, М., 1969, стр. 91 и сл.

По отношению к своим манифестациям дериватемы могут быть монофункциональными и полифункциональными. Монофункциональные дериватемы обладают одной функцией, т. е. их репрезентанты несут одно основное значение. Так, например, дериватема типа «предметное существительное + *ист*» монофункциональна, ибо дериваты *тракторист*, *проекторист* и т. д. служат для обозначения только лица. Полифункциональные дериватемы обладают несколькими функциями, т. е. их репрезентанты могут служить для передачи нескольких значений, например, дериватема типа «имя действия + *щик*» полифункциональна, ибо дериваты *заправщик* и т. п. могут обозначать лицо и предмет.

В системе словообразования дериватемы взаимосвязаны и взаимообусловлены и противопоставлены друг другу в структурном и функциональном планах. В структурном плане дериватемы различаются по двум признакам (по словообразовательному средству и по общему классу производящих слов, объединенных по общим лексико-грамматическим признакам) или только по одному (по словообразовательному средству или по характеру производящей базы). В первом случае они всегда разноструктурны (ср., с одной стороны, дериваты типа *тракторист* и, с другой стороны, типа *упаковка*). Во втором же случае дериватемы совпадают по словообразовательному формативу (например, *компрессорщик* и *заправщик*) или по характеру производящей основы (например, *компрессорщик* и *проекторист*). Функциональный план у дериватем по отношению к другим дериватам также может быть частично или полностью и различен, и одинаков и, соответственно, среди них есть разнофункционалирующие и однофункционалирующие дериватемы. Разнофункционалирующие дериватемы в речи проявляются в наличии дериватов, различных по структуре и по общему значению (например, дериваты на *-ист*, *-ость*, *-ние*), однофункционалирующие дериватемы — в наличии дериватов, разных по структуре и одинаковых по общему значению (например, дериваты на *-ист*, *-вед*, *-лог* и др.). Если однофункционалирующие дериватемы не различаются по общим лексико-грамматическим признакам производящей базы (ср. дериваты *проекторист* и *компрессорщик*), то в таких случаях можно наблюдать явления словообразовательной синонимии, которая на уровне дериватов особенно ярко проявляется в наличии семантически равноценных слов, произведенных от тех же производящих слов (например, дериваты *атомник* и *атомщик*, *целинник* и *целинщик* со значением лица). В языке, как известно, есть и другие случаи, когда разнофункционалирующие дериватемы совпадают по словообразовательному средству, например, дериваты *парашютистка*, *семилетка* и *упаковка*, оформленные формантом *-ка*. Такие явления можно определять как полифункциональность того или иного словообразовательного средства.

В связи со сказанным об отношениях между дериватами и характере проявления их в языке невольно возникает вопрос, чем регулируется место и роль дериватем в языке, который не терпит и старается устранить тем или иным способом (например, путем вытеснения, дифференциацией в употреблении) чрезмерную избыточность и дублетность коммуникативных средств. Чтобы ответить на данный вопрос, кроме основных структурных и функциональных признаков той или иной дериватемы, в том числе и накладывающих запреты и ограничивающих появление дериватов, следует выявить еще дополнительные признаки, которые имплицитно определяют функцию дериватемы в механизме функционирования словообразовательной системы языка. К более существенным, на наш взгляд, относятся следующие: 1) характер употребления дериватов в языке (= речи) с его разветвленной системой стилей, например, дериваты на *-ние* и *-ка* со значением действия в русском языке в общем плане различаются по сферам употреб-

ления: книжная и разговорная; 2) степень соответствия принципам языковых законов (например, слоговой экономии) и тенденциям развития системы языка в целом и словообразования, в частности; 3) количественная характеристика дериватов, которая определяется: а) количеством тех или иных дериватов в речи — это особенно важно при сопоставительном плане изучения дериватов; б) соотношением потенциального количества дериватов с количеством их, реально существующим — этим определяется соотношение абстрагированной схемы с ее реальным воплощением в языке; в) частотным показателем употребления в речи всех таких дериватов и каждого в отдельности — это весьма существенно для появления новых слов, ибо, как известно, количественные изменения в языке неизбежно приводят к качественным изменениям.

Предложенный нами подход к определению основной единицы словообразовательного уровня ни в коем случае не ограничивает возможности искать общие отношения, систематизирующие словообразование и классифицирующие дериваты, как внутри, так и вне пределов самого словообразования. Систематизация словообразовательных отношений и классификация дериватов — это вопрос, требующий особого рассмотрения. Отметим лишь, что для наиболее перспективного разрешения его, по-видимому, надо исходить из общих отношений, существующих и возможных у тех или иных предметов мысли (т. е. внеязыковые логические связи между предметами действительности предопределяют возможности появления новых понятий на базе данных, уже существующих понятий) и из общих отношений частей речи. В последнем случае особенно примечательно высказывание В. Н. Хохлачевой, что «словообразование представляет собой систему взаимодействия производных и производящих единиц как единиц частей речи»<sup>25</sup>.

<sup>25</sup> В. Н. Х о х л а ч е в а, О некоторых принципах построения описательной морфологии современного русского литературного языка, ФН, 1969, 5, стр. 99.

И. С. КОЗЫРЕВ

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДЛОГОВ  
ПРИ ФОРМЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ  
В БЕЛОРУССКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Сравнительно-историческое изучение родственных языков, как известно, является базой и надежным инструментом для изучения групп родственных языков в целом и каждого из них в отдельности. При этом «исследование служебных слов... очень продуктивно для выделения сходств и различий в структуре как родственных, так и неродственных языков»<sup>1</sup>. Служебные слова являются такими структурными лексико-грамматическими элементами, на развитие которых существенно не влияют внешние, внеязыковые факторы, а это важно учитывать при установлении внутренних тенденций развития языков на ограниченном языковом материале. В то же время изучение этого языкового материала, в нашем случае — предлогов, должно проводиться достаточно детально «в сравнительно-историческом плане, чтобы выводы о предлогах не сводились к словарной статье по каждому предлогу»<sup>2</sup>.

Предлоги при формах сравнительной степени особенно показательны в том отношении, что и предлоги, и формы сравнительной степени в русском и белорусском языках были вовлечены в интенсивные процессы перестройки языковых систем: в обоих языках действует зародившаяся в древнерусском тенденция расширения предложных конструкций за счет беспредложных<sup>3</sup>, а также древнерусский процесс утраты формами сравнительной степени прилагательных морфологической изменчивости и образования из них наречий<sup>4</sup>.

Наблюдения, легшие в основу данной работы, сделаны на основании материалов современного русского и белорусского языков и памятников письменности, а также диалектных данных. Такое объединение источников представляется оправданным, так как «только в связи с изучением закономерностей развития народных языков с их диалектами и литературных языков в их взаимодействии могут быть заложены прочные основы исторической и сравнительно-исторической лексикологии отдельных языков и групп языков»<sup>5</sup>. Объединение задач диалектологии и истории языка,

<sup>1</sup> М. С. Г у р ы ч е в а, К вопросу о сравнительно-типологическом изучении романских языков, «Методы сравнительно-сопоставительного изучения романских языков», М., 1966, стр. 68.

<sup>2</sup> «Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Типы простого предложения», М., 1968, стр. 14.

<sup>3</sup> См.: В. И. Б о р к о в с к и й, П. С. К у з н е ц о в, Историческая грамматика русского языка, 2-е изд., М., 1965, стр. 547; Т. П. Л о м т е в, Очерки по историческому синтаксису русского языка, М., 1956, стр. 240, 247, 253.

<sup>4</sup> См.: А. И. С о б о л е в с к и й, Лекции по истории русского языка, 4-е изд., М., 1907, стр. 227; Л. А. Б у л а х о в с к и й, Курс русского литературного языка, II (Исторический комментарий), 4-е изд., Киев, 1953, стр. 295—296.

<sup>5</sup> В. В. В и н о г р а д о в, [Вступительное слово], «Вопросы терминологии (Материалы Всесоюзного терминологического совещания)», М., 1961, стр. 6.

а также соответствующих источников следует признать целесообразным и перспективным<sup>6</sup>.

В современном русском литературном языке представлены следующие синонимические конструкции: 1) «сравн. ст. + род. падеж», 2) «сравн. ст. + союз *чем*», 3) «сравн. ст. + союз *нежели*». В качестве лексических средств связи в них выступают лишь союзы. В русских говорах связывать форму сравнительной степени с подчиненным членом, кроме союзов (*чем, што, как, когда*<sup>7</sup>), могут и предлоги *из, за, против*.

Лексические средства связи формы сравнительной степени с подчиненным членом конструкции в современном белорусском языке представлены шире, чем в русском. В литературном языке находим конструкции: 1) «сравн. ст. + предлог *за* + вин. падеж», 2) «сравн. ст. + союз *чым*», 3) «сравн. ст. + союз *як*», 4) «сравн. ст. + союз. *ніж*»; в говорах отмечаются еще конструкции: 1) «сравн. ст. + предлог *ад* + род. падеж»<sup>8</sup>, 2) «сравн. ст. + предлог *над* + вин. падеж», 3) «сравн. ст. + предлог *над* + твор. падеж», 4) «сравн. ст. + предлог *за* + род. падеж», 5) «сравн. ст. + предлог *аб* + вин. падеж», 6) «сравн. ст. + предлог *цераз* + вин. падеж», 7) «сравн. ст. + союз *як* + род. падеж»<sup>9</sup>. Уже самое предварительное сравнение показывает, что современные русский и белорусский языки имеют много расхождений в лексических средствах связи формы сравнительной степени с подчиненным ей компонентом.

Ниже остановимся на истории конструкций с предлогами.

**Предлог *за*.** Значения предлога *за* в русском и белорусском языках частично восходят к древнерусскому, частично развились позднее, после обособления этих языков<sup>10</sup>. Русский и белорусский унаследовали из языка-основы предлог *за* в основном с одними и теми же значениями; в период самостоятельного развития этих языков у предлога *за*, в силу различных обстоятельств, в свою очередь, появились некоторые общие значения. Вследствие этого функционирование предлога *за* в русском и белорусском на всем протяжении их истории имеет лишь незначительные отличия. Почти тождественными являются пространственные, временные, возмездительные, определительные значения этого предлога. В значениях посевивных, причинных и целевом предлог *за* в белорусском языке более, чем в русском, ограничен в своей сочетаемости<sup>11</sup>. Предлог *за* в древнерусском имел сравнительное значение (ср.: «Быти за единъ челоуѣкъ» Новг. I л., «За обычаю даемъ» Ефр. Крм.: Срезневский, I, стлб. 892, 894), которое

<sup>6</sup> Ср.: Р. И. А в а н е с о в, О состоянии и задачах научных исследований в области диалектологии, ИАН ОЛЯ, 1964, 6, стр. 559, см. также: «Общие проблемы диалектологии и истории языка (ответы на вопросник)», М., 1969, стр. 9—12, 20.

<sup>7</sup> См.: А. Б. Ш а п и р о, Очерки по синтаксису русских народных говоров. Строение предложения в народных говорах (по материалам говоров Гремяченского района Воронежской области), Воронеж, 1958, стр. 134—135.

<sup>8</sup> Т. П. Ломтев указанную конструкцию приводит в числе литературных (Т. П. Л о м т е в, Грамматика белорусского языка, М., 1956, стр. 278); в последнее время она считается областной (см.: «Курс сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Сінтаксіс», Мінск, 1959, стр. 66; «Белорусско-русский словарь», М., 1962, стр. 47).

<sup>9</sup> Употребление этих конструкций свидетельствуется, например, в работах: «Нарысы на беларускай дыялекталогіі», Мінск, 1964, стр. 325; «Дыялекталагічны атлас беларускай мовы», Мінск, 1963, ч. I, карта 225, ч. II, стр. 772—773; в белорусских говорах отмечается и конструкция «сравн. ст. + дат. падеж», а в литературном языке — конструкция «сравн. ст. + род. падеж».

<sup>10</sup> См.: Е. Ф. К а р с к и й, Белорусы, II, 2—3, М., 1956, стр. 428—429; И. С. К о з ы р е в, История значений и употребления предлога «за» в русском языке, «Уч. зап. Борисоглебск. пед. ин-та», IV, 1958, стр. 74—92.

<sup>11</sup> См.: М. С. Е в н е в и ч, Функции и значения предлогов *на, у, за, з* в современном белорусском литературном языке. Автореф. канд. диссерт., Минск, 1956, стр. 16—18.

не унаследовано ни русским, ни белорусским. В белорусском и некоторых русских говорах у предлога *за* появляется новое сравнительное значение, не связанное с древнерусским.

Как известно, из пространственного значения у предлога *за* развились временные, причинные, целевые, possessивные<sup>12</sup>. Из пространственного же значения, надо полагать, развилось и рассматриваемое сравнительное: способность предлога *за* выражать степень удаленности одного предмета от другого с точки зрения наблюдателя была использована для выражения «удаленности» предметов по качеству<sup>13</sup>. Предлог *за* со сравнительным значением, по-видимому, в первую очередь стал возможен при таких формах сравнительной степени, которые обозначали расстояние, длину и т. п. (*дуб вырас далей за бярозу, тое возера далейшае за гэта*<sup>14</sup>). Кроме того, базой образования указанной сравнительной конструкции могла послужить конструкция с количественным значением (типа *яму за трыццаць*)<sup>15</sup>.

Обычно считается, что вин. падеж в конструкциях с предлогом *за* при форме сравнительной степени первичен, а род. падеж сменяет его под влиянием беспредложных конструкций типа *брат старэйшы сясстры*<sup>16</sup>. В качестве аргументов можно указать на то, что в белорусском языке предлог *за* употребляется с вин. и твор. падежами, род. падеж без предлога при сравнительной степени употреблялся в древнерусском языке<sup>17</sup>, в современном белорусском языке беспредложная сравнительная конструкция с род. падежом сосуществует рядом с предложными<sup>18</sup>. Но можно допус-

<sup>12</sup> См.: А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, IV, М.—Л., 1941, стр. 284; И. С. Козырев, указ. соч., стр. 81—92.

<sup>13</sup> Интересно отметить, что уже в старобелорусском языке приставка *за-* (< предлог *за*) стала использоваться для образования превосходной степени (Е. Ф. Карский и, Белорусы, II, 2—3, стр. 51).

<sup>14</sup> Ср. развитие аналогичным образом у предлога *за* временного значения, но не при форме сравнительной степени: «Затопила [печь] *за ўсех наўпярот*» (Е. Ф. Карский и, Материалы по виленским говорам, РФВ, XXI, 2, 1898, стр. 259; здесь возможна и форма сравнительной степени *раней*), «Ванька посли за Кольки *побижаў*» (записано в д. Пашино Демидовск. р-н Смоленск. обл.), «Посли за Лёника *здедаў*» (записано там же); если считать, что конструкция «сравн. ст. + предлог *за* + род. падеж» непосредственно развилась из конструкции типа приведенной, то тогда вполне объяснима форма род. падежа подчиненного слова при форме сравнительной степени.

<sup>15</sup> Ср.: «...зарплата яванцаў... не бывае больш 40—60 гудльдаў у месяц, а для галадцаў не бывае меней за 150—200» (Мавр. Соч., I, стр. 323).

<sup>16</sup> Так, Е. Ф. Карский замечает: «Иногда *за* без нужды приставляется даже перед формой родительного; *жыто выросла луччы за той пшаницы*» (Е. Ф. Карский и, Белорусы, II, 2—3, стр. 428); ср.: «Нарысы па беларускай дыялекталогіі», стр. 325.

<sup>17</sup> Ср.: «Употребление в этом случае беспредложного родительного есть древнейшее общеславянское...» (А. А. Потебня, указ. соч., стр. 253); он обычен в древнерусском языке, например: «божие блюение лѣплѣъ есть челоуѣчьского» (Пов. вр. лет под 1096 г., стр. 163), «та бо есть молитва всѣх лѣпши» (там же, стр. 157); беспредложную сравнительную конструкцию из древнерусского унаследовал русский язык, в котором она является основной; отмечается она и в старобелорусском языке (см.: Е. Ф. Карский и, Белорусы, II, 2—3, стр. 47—49, 359), например: «Иже было тело его престоу яснейше неба, свѣтлѣише слнца» (Страсти Христовы, стр. 32), «невѣстка твоя, оже любима тебе, породила его, иже она лѣпши тобѣ еси свѣ» (Руф. XVI в., л. 336 — КСЕС).

<sup>18</sup> Беспредложная конструкция («сравн. ст. + род. падеж») в современном белорусском литературном языке считается продуктивной (см.: М. М. Барковский и, Конструкции с родительным падежом в белорусском языке. Автореф. канд. диссерт., Минск, 1954, стр. 9; «Курс сучаснай беларускай мовы. Сінтаксіс», стр. 66); поговорам эта конструкция локализована: «На северо-восточной территории Белоруссии (Могилевская и Витебская обл.) слова, называющие объект сравнения, при сравнительной степени качественных прилагательных и наречий очень широко употребляются в родительном падеже без предлога...» («Нарысы па беларускай дыялекталогіі», стр. 325); трудно объяснить происхождение беспредложной конструкции в современном белорусском языке: возможно, она сохранилась с древнерусского периода, возможно, возникла в результате «распада» других сравнительных конструкций, а возможно, появилась в результате расширения значений родительного беспредложного; не ясна

тить и исконность формы род. падежа в рассматриваемой конструкции, так как предлог *за* в древнерусском языке употреблялся с род. падежом (Срезневский, I, стлб., 894)<sup>19</sup>, в украинском языке указанный предлог сочетается с род. падежом времени (УРС, II, 1958, стр. 2), «в других славянских языках, например, болгарском, польском, чешском, украинском и некот. др., для обозначения объекта сравнения чаще всего используется форма родительного падежа с различными предлогами»<sup>20</sup>, у одного и того же автора XVI в. (С. Будного) используются обе формы. Скорее всего, обе конструкции вырабатывались параллельно, но конструкция с формой род. падежа формировалась под непосредственным воздействием беспредложной, взаимодействуя с некоторыми временными конструкциями.

Впервые предлог *за* в конструкции с формой сравнительной степени фиксируется в старобелорусском языке XVI в. Е. Ф. Карский из Кате-хизиса 1562 г. приводит такой пример: «один за другого лепшейший»<sup>21</sup>. В указанном памятнике отмечается и еще несколько случаев его употребле-ления: «Скажи дово(д)ней абы(х) розумѣль причину, лепшей ли бѣ любить порождованье за работ» (л. 37 б), «То пакъ не вси заровно такового тернія позбывають, але одинъ большей за другого» (л. 33б)<sup>22</sup>, «Нехай то былъ часъ гнѣва божіега за грѣхы предковъ нашихъ, который ся за преданія, або лепей за сны и стареческие басни, взявши, слово божіе были опустили мусило тако быти» (л. Г), «Третий блудъ теперешны(х) мниховъ есть, яко о дѣвствѣ розумеють, абы оное предъ богомъ достоинейшее за бракъ, або за женитву было» (л. 33). Нам удалось найти предлог *за* с таким значе-нием и в других памятниках: «Изали, слышачы, острейшыя за ме(ч), блю(з)нѣрскіе слова, насмѣвиска, оуруганя, и покива(н)е голо(в) со(н) мицы законопрестоу(п)ное: оутробою ся не расте(р)зала» (Карп. Каз., л. 47б, 1615 г.)<sup>23</sup>, «...поляки помо(р)чицы, мазурове тьи напре(д)нѣшыя

боги мѣли: Јовиша, которо(г) они хвалили за всѣ(х) моцнѣшо(г)» (Хр. словянов, л. 433). Как видно из приведенного материала, форма сравни-тельной степени с предлогом *за* управляла вин. и род. падежами.

В современном белорусском языке, как отмечалось выше, объект срав-нения при предлоге *за* может стоять в вин. и род. падежах (конструкция также в этом процессе роль русского языка: распространение беспредложных кон-струкций главным образом в восточной части Белоруссии как будто свидетельствует о заимствовании ее из русского языка, но наличие беспредложной конструкции не непо-средственно на границе двух языков, а на очень широкой полосе, нередко даже в цент-ральной и западной части белорусской языковой территории не позволяет сколько-нибудь решительно утверждать это; к тому же в соседних с белорусским русских го-ворах широко распространена конструкция «сравн. ст. + предлог *за* + род. падеж». Возможно, конструкция «сравн. ст. + род. падеж» сохранилась в белорусском языке с древнерусского периода в какой-то локализации и под влиянием русского языка стала активизироваться).

<sup>19</sup> Ср.: «В ст.-сл. *за* соединяется тоже с род., что трудно объяснить» (С т. Ге-р о д е с, Старославянские предлоги, «Исследования по синтаксису старославянского языка. Сборник статей», Прага, 1963, стр. 355), например: «вскръсь же за оутра. Мр. 16.9» (там же, стр. 356).

<sup>20</sup> Н. А. Т р о и ц к а я, Словосочетания со сравнительной и превосходной сте-пенью имени прилагательного в качестве подчиняющего слова в современном русском языке. Автореф. канд. диссерт., Новосибирск, 1967, стр. 7.

<sup>21</sup> См.: Е. Ф. К а р с к и й, Белорусы, II, 2—3, стр. 428; для определения формы падежа дадим более полный контекст: «шонедѣлокъ або второкъ, або иный который о(т) се(д)ми дней, поневажъ вси дни ровные суть, а не е(с) одинъ *за* другого лепшейший» (Будный, л. 42).

<sup>22</sup> См.: Е. Ф. К а р с к и й, Два памятника старого западнорусского наречия: лютеранский катехизис 1562 г. и католический катехизис 1582 г., в кн.: Е. Ф. К а р с к и й, Труды по белорусскому и другим славянским языкам, М., 1962, стр. 201.

<sup>23</sup> Ср. в этом же тексте рядом синонимичную конструкцию: «Изали, видячы го(р)-кій, онъ, оцгу и же(л)чи напою, до пр(с)ты(х) оустъ его принесеный: горчейшого, на(д) всякую жолч(ь)» (Карп. Каз., л. 47б).

с род. падежом считается областной). Территория распространения той и другой конструкции в белорусских говорах нанесена на карту 225 «Диалектологического атласа белорусского языка». Сравнительный оборот с предлогом *за* при вин. падеже распространен шире соответствующего оборота с род. падежом: первый употребляется в подавляющем большинстве населенных пунктов почти всей территории Белоруссии (в восточной части страны несколько реже, чем в западной и центральной), второй более или менее часто встречается лишь в восточной части БССР (преимущественно в Витебской и Могилевской областях), а на остальной территории он отмечается чрезвычайно редко (Атлас белорусск. языка, карта 225). Поскольку сравнительный предложный оборот с вин. падежом является литературным, поскольку можно предположить, что на востоке он не исконен, а вытесняет сравнительный предложный оборот с род. падежом.

Предлог *за* при форме сравнительной степени известен также украинскому языку<sup>24</sup> и некоторым русским говорам. Предлог *за* при форме сравнительной степени с род. падежом имени обычен в говорах Смоленщины (Добровольский, Словарь, стр. 229; Даль, I, стр. 549)<sup>25</sup>. П. А. Расторгуев пишет: «Отмечен он (предлог *за* с род. падежом.— И. К.) мною во всех селах (Смоленщины.— И. К.), говор которых был объектом моих наблюдений»<sup>26</sup>. Указанное употребление предлога *за* постоянно регистрировалось и нами в говорах Демидовского и Велижского районов Смоленской области.

Фиксируется конструкция «сравн. ст. + предлог *за* + вин. падеж» и в брянских говорах<sup>27</sup>.

На употребление предлога *за* при сравнительной степени в псковских говорах указано в «Опыте областного великорусского словаря» (1852), где приведен пример: «Моя шуба лучше за твою» (стр. 59). Этот же пример включен в словари Даля (I, стр. 549), Копаневича<sup>28</sup>, что вряд ли позволяет допускать широкую употребительность в псковских говорах указанного предлога со сравнительным значением.

В других говорах русского языка не находим предлога *за* при форме сравнительной степени.

Управление формы сравнительной степени с предлогом *за* род. падежом имени распространено в восточных белорусских и смоленских говорах, что свидетельствует об общности их развития и в этом смысле об их противооставлении многим белорусским и некоторым русским говорам, имеющим сравнительную конструкцию с предлогом *за*.

Предлог *за* при форме сравнительной степени находит редкое отражение в старобелорусской письменности, а в народном языке XIX—XX вв. он активен и распространен повсеместно; это дает основание полагать, что сравнительное значение у предлога *за* сложилось в народном языке не

<sup>24</sup> См.: E. O g o n o w s k i, Studien auf dem Gebiete der ruthenischen Sprache, Lemberg, 1880, стр. 179; в современном украинском литературном языке конструкция типа *вона добріша за сестру* считается разговорной (УРС, II, 1958, стр. 3).

<sup>25</sup> В Архиве РГО в фольклорной записи, сделанной в Рославльском уезде Смоленской губернии, читаем: «Знать в тябе есть получчи зы мяне» (К. А. К р а с н о п е р о в, Песни и загадки, записанные в Рославльском уезде, 1894, стр. 6, Рукопись РГО в Л-де, шифр 38.21.1); в рукописной книге уроженца Смоленщины находим: «... как бы ты скарей за мене не попал в чахотку от пьянства» (Алмазов, Моя жизнь, л. 23).

<sup>26</sup> П. А. Р а с т о р г у е в, Говоры на территории Смоленщины, М., стр. 157; непонятно, почему И. Б. Кузьмина и Е. В. Немченко считают, что П. А. Расторгуев пишет о конструкциях с вин. падежом (см.: И. Б. К у з ь м и н а, Е. В. Н е м ч е н к о, О различительных явлениях русских говоров в области предложных словосочетаний, ИАН ОЛЯ, 1964, 4, стр. 330).

<sup>27</sup> См.: И. Б. К у з ь м и н а, Е. В. Н е м ч е н к о, указ. соч., стр. 330.

<sup>28</sup> И. К. К о п а н е в и ч, Областные слова Псковского уезда и губернии, 1902—1904 (рукопись Рукописного отдела Библиотеки АН СССР, шифр 45.8.244).

позднее конца XV в. и лишь в живой речи интенсивно использовалось; в период появления предлога *за* при форме сравнительной степени смоленские говоры составляли одно целое с языком белорусской народности.

**Предлог *над*.** Предлог *надъ* имел в древнерусском языке ряд значений. Он употреблялся, в частности, «для обозначения движения кверху предмета», «места, находящегося выше другого» (Срезневский, II, стлб. 280—281). В этих значениях предлога *надъ* заложена потенциальная возможность выражения сравнения предметов по высоте. Реализация этой возможности в белорусском языке привела к формированию конструкций «сравн. ст. + предлог *над* + вин. падеж», «сравн. ст. + предлог *над* + твор. падеж». Состав форм сравнительной степени по семантике в них постепенно перестал ограничиваться выражением высоты.

В старобелорусском языке предлог *над* в этом значении фиксируется с XV в.: «да нине нетъ болшого и моцнейшого и богатшого на(д) него пана на свете» (Повесть о трех королях, стр. 95), «Иже над попа никто не есть достоинейши на свѣте» (там же, стр. 55), «оная пани не цуднейшая надъ нашу» (Пов. о Тристане, стр. 71)<sup>29</sup>.

В современном белорусском литературном языке предлог *над* в этом значении не закрепился; правда, он иногда встречается в художественной литературе, но в качестве приметы областной речи. В современных белорусских (брестских, гродненских, минских, частично гомельских и витебских) говорах он встречается с твор. и вин. падежами (конструкция *саладзейшы над мед* в «Атласе белорусского языка» отмечена лишь в девяти пунктах)<sup>30</sup>. Надо полагать, что сравнительные обороты с предлогом *над* издавна вытесняются конструкциями с предлогом *за*<sup>31</sup>.

Употребление предлога *над* при форме сравнительной степени в русском литературном языке, а также в русских говорах (в том числе и смоленских) не отмечается. Можно утверждать, что рассматриваемая конструкция появилась в языке белорусской народности, но не повсеместно (она была нехарактерна для восточных белорусских говоров, непосредственно граничащих со смоленскими).

**Предлог *ад*.** В современном белорусском языке употребляется сравнительный оборот с предлогом *ад*<sup>32</sup>, ср.: «[Ядвига:] У пана Лабановіча ёсць больш шчаслівейшая ад мяне» (Колас, Избр., IX, стр. 55). Отмечается он и в белорусском фольклоре: «страціла сваю пасербіцу, ад сабе харошчую» (асьев, Сказки, II, стр. 123), «Каню раса лепш ад аўса» (Янковский, вицы, стр. 106). Данный оборот возник в старобелорусском языке: «гердъ, мудрѣйший от мене, не розумѣль пришли речей» (Мам., 78).

в белорусских говорах конструкция типа *саладзейшы ад меду* распространена по всей территории Белоруссии, но сравнительно в небольшом числе пунктов; лишь в брестских говорах она встречается более или часто (Атлас белорусск. языка, карта 225).

в русском языке предлог *от* (*ад*) при форме сравнительной степени не встречается. Он известен западнославянским языкам<sup>33</sup>. О заимствовании рас-

Соответствующие примеры см. в кн.: Т. П. Ломтев, Очерки по историческо-таксису русского языка, стр. 149; Е. Ф. Карский, Белорусы, II, 2—3, 5.

«Нарысы па беларускай дыялекталогіі», стр. 325.

Ср. комментарий, записанный в д. Лаличы Могилевской области: (*лепшы над* - гавораць толькі старыя) (Атлас белорусск. языка, стр. 773).

В последнее время рассматриваемая конструкция считается нелитературной стр. 47: «Курс сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Сінтаксіс», стр. 66), но очень часто встречается в художественной литературе.

См.: А. А. Потебня, указ. соч., IV, стр. 253; в украинском языке предлог же употребляется при форме сравнительной степени (УРС, I, 1953, стр. 216).

смаатриваемаго оборота в белорусский язык из западнославянских вряд ли возможно говорить, скорее наличие одинакового оборота в этих языках говорит о сходстве в их развитии.

Сравнительное значение у предлога *от* (*од*) развилось, по-видимому, из пространственного: преимущества в качестве одного предмета были поставлены в связь с удаленностью одного предмета от другого. Первоначально, вероятно, он стал употребляться при форме сравнительной степени, обозначающей пространственные отношения, а впоследствии этот семантический критерий потерял силу<sup>34</sup>.

**Предлог *цераз*.** В говорах белорусского языка при сравнительной степени отмечено единичное употребление предлога *ц'ераз*, ср.: «л'епшаю балтуна н'ет ц'ераз ц'еб'е» (Атлас белорусск. языка, стр. 773), *Няма лепшай цераз яе*. Сравнительное значение у предлога *цераз* также развивается из пространственного. Аналогичное переосмысление наметилось уже в древнерусском языке: «што боудеть соулиль имь наима. через то/имь более не взяти» (Смоленск. гр. 1229 г., сп. Д, стр. 39; ср.: сп. F, стр. 51; сп. E, стр. 44; правда, в смоленских грамотах, возможно, отразилась локальная черта).

**Предлог *аб*.** В белорусских говорах в описываемой функции употребляется и предлог *аб*, ср.: «Сёння не больш аб усі дні рабіў» (Атлас белорусск. языка, стр. 773). Формирование сравнительного значения у данного предлога неясно.

**Предлог *из*.** В русских говорах при форме сравнительной степени иногда встречается предлог *из*, ср.: *Середняя горница суше из всех горниц*<sup>35</sup>. В русском литературном языке он употребляется при форме превосходной степени, в белорусском литературном языке соответственно используется предлог *з* (*са*). Употребление предлога *из* в русских говорах при форме сравнительной степени является вторичным, так как оборот с местоимением *всех* продолжает выражать значение превосходной степени.

**Предлог *против*.** В русских говорах употребляется предлог *против* при форме сравнительной степени, ср.: «Ты на вершоцек против его меньше»<sup>36</sup>. Этот предлог издавна указывал на расположение двух предметов рядом (Срезневский, II, стлб. 1593—1595), поэтому он мог быть легко приспособлен для сравнения их в каком-либо отношении. В современном русском литературном языке он употребляется со значением «по сравнению с чем-, кем-либо» (Словарь АН СССР, XI, стлб. 1448), но не при форме сравнительной степени. В белорусском языке соответственно употребляются предлоги *супраць*, *супроць*.

**Предлог *перед*.** В старорусском языке использовался предлог *перед* при форме сравнительной степени, ср.: «И от того Соболи почали быть перед старою ценою дороже. Котошихин»<sup>37</sup>. Этот предлог уже в древнерусском языке мог выражать расположение одного предмета впереди другого (ср.: Срезневский, II, стлб. 904), что заключало потенциальную возможность выразить качественное превосходство одного предмета над другим. Современный русский литературный язык не унаследовал предлог *перед* со значением, отмеченным в старорусском. В современном белорусском литературном языке этот предлог также не употребляется при форме сравнительной степени. В обоих языках предлог *перед* (*перад*) имеет значение «в сравнении», но в конструкциях без формы сравнительной степени (ср.: *они ничто перед ним — яны нішто перад ім*).

<sup>34</sup> Ср.: А. А. Потебня, указ. соч., IV, стр. 253.

<sup>35</sup> См.: А. Б. Шапиро, указ. соч., стр. 168.

<sup>36</sup> Там же, стр. 168.

<sup>37</sup> Т. П. Ломтев, Очерки по историческому синтаксису русского языка, стр. 426.

\*

Приведенные наблюдения позволяют сделать некоторые выводы.

В древнерусском языке использовалось два способа связи формы сравнительной степени с подчиненным членом: союзный и при помощи формы род. падежа без связочных слов. Оба этих способа выражения сравнения наследуют русский и белорусский языки. В обоих языках состав соответствующих союзов претерпел существенные сдвиги.

В разговорном языке белорусской народности развивается новый способ связи формы сравнительной степени с подчиненным членом конструкции — предложный; его осуществление происходило в русле четко определившейся уже в древнерусском языке общей тенденции замены беспредложных словосочетаний предложными. Для выражения объекта сравнения употребляется целый ряд предлогов (*за, над, ад, цераз, аб*). Сравнительное значение у них формируется главным образом на базе пространственных. Наиболее специализированным и устойчивым в указанной функции оказался предлог *за*. Соответствующая конструкция с ним развилась в некоторых русских (смоленских, частично брянских) говорах, что свидетельствует о развитии их в тот период в одном направлении с языком белорусской народности, об органическом вхождении их в его состав. Употребление в современных белорусских говорах предлогов *цераз, аб* при форме сравнительной степени как будто можно считать новым явлением. Это косвенно свидетельствует о том, что процесс образования конструкций с предлогами при форме сравнительной степени является живым в белорусском национальном языке.

В старорусском языке получила некоторое распространение конструкция с предлогом *перед* с формой сравнительной степени, но сколько-нибудь заметно она не потеснила традиционную конструкции без связочных слов с формой род. падежа. В некоторых русских говорах при форме сравнительной степени появляются предлоги *из, против*, но их сравнительное значение развивается на основе выделительности одного предмета из ряда других и расположения одного предмета впереди другого, а не на основе пространственной удаленности, высоты расположения предметов, что наблюдается в белорусском языке и некоторых западных русских (в прошлом белорусских) говорах.

Сравнение истории конструкций с формой сравнительной степени белорусского языка с развитием соответствующих конструкций русского языка показало, что, наряду с некоторой общностью, вызванной главным образом происхождением этих языков из одного языка-основы, белорусский язык развивался во многом иначе, чем русский. Различию в тенденциях развития конструкций с формой сравнительной степени в русском и белорусском пока трудно дать окончательное объяснение. Может быть, появление в белорусском языке целой серии предложных конструкций с формой сравнительной степени и почти полное отсутствие их в русском языке связано с тем, что изменяемость форм сравнительной степени прилагательных по местоименному склонению в белорусском языке не утратилась, а в русском языке сравнительная степень прилагательных застыла в краткой форме: у кратких форм прилагательных сильнее выражена способность к беспредложному управлению (при потере ими способности согласовываться она еще более возрастает), чем у полных, синтаксические и логические связи в предложении при таком условии более или менее строго фиксируются<sup>38</sup>, в то время как полные формы сравнительной степени, согласуясь с независимым членом конструкции, требуют усиления, уточнения синтаксической и логической связи с подчиненным членом сравнительного

<sup>38</sup> См.: В. И. Борковский, П. С. Кузнецов, указ. соч., стр. 547.

оборота. Наличие в белорусском языке наречных форм сравнительной степени, по-видимому, замедлило процесс вытеснения беспредложных сравнительных конструкций предложными. Определенную роль здесь могло сыграть влияние русского литературного языка как языка межнационального общения.

#### ПРИНЯТЫЕ В СТАТЬЕ СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ ИСТОЧНИКОВ

- Алмазов, Моя жизнь — Алмазов, Моя жизнь, рукопись XIX в., ГБЛ, шифр ф. 178, Муз. собр. № 7212.
- Атлас белорусск. языка — «Дыялекталагічны атлас беларускай мовы», Мінск, 1963.
- Афанасьев, Сказки — Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах, М., 1957.
- БРС — «Белорусско-русский словарь», М., 1962.
- Будный — С. Будны, Катихисисъ для детокъ христіанскихъ языка руского..., Несвиж, 1562.
- Даль — В. И. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, I—IV, М., 1955.
- Добровольский, Словарь — В. Н. Добровольский, Смоленский областной словарь, Смоленск, 1914.
- Карп. Каз. — Казанье двое... которое мѣл оцѣ Лео(н)тій Карповичъ... Евье, АХЭІ (1615).
- Колас, Избр. IX — Я. Колас, Збор твораў у дванаццаці тамах, Мінск, 1963.
- КСБС — Картотека старобелорусского словаря, Ин-т языкознания АН БССР.
- Мавр., Соч. — Янка Маўр, Збор твораў у двух тамах, Мінск, 1960.
- Мам. — Повесть о Мамаевом побоище, Сб. ОРЯС, 81, 7, СПб., 1906.
- Пов. вр. лет — «Повесть временных лет», I—II, М. — Л., 1950.
- Повесть о трех королях — «Повесть о трех королях-волхвах в западно-русском списке XV в.». Труд В. Н. Перетца, СПб., 1903 (ПДПИ, т. 150).
- Пов. о Тристане — Починаяется повесть о витязях с книгъ сэрбскихъ, а звлаца о славномъ рыцѣры Трычан(е)..., Сб. ОРЯС, 44, 3, СПб., 1888 (Приложение).
- РГО — Русское географическое общество (архив).
- Руф. XVI в. — Книга «Руф» по сборнику XVI в., ГПБ, Шифр 2.
- Словарь АН СССР — «Словарь современного русского литературного языка», I—XVII, М. — Л., 1948—1965.
- Смоленск. гр. — Смоленские грамоты XIII—XIV веков, М., 1963.
- Срезневский — И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, I—III (М., 1958).
- Страсти Христовы — «Страсти Христовы в западнорусском списке XV века». Труд Н. М. Тушикова, [СПб.], 1901 (ПДПИ, т. 140).
- Хр. словянов — Хроника Словяновъ руская..., рукопись ГПБ (Ф. IV, 688).
- УРС — «Украинско-русский словарь», I—VI, Киев, 1953—1963.
- Янковский, Пословицы — Ф. Янкоўскі, Беларускія прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы, Мінск, 1962.

Г.-Й. ШЕДЛИХ

**ПРОЦЕССЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И ВЫРАВНИВАНИЯ  
В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ В СВЕТЕ ФОНОЛОГИИ**

Современное состояние немецкого языка характеризуется процессом интеграции, сущность которого заключается в устранении диалектальных различий и — на более высоком уровне — различий в обиходно-разговорном языке (Umgangssprache). Под воздействием таких важных социальных факторов, как растущая индустриализация, современная система народного просвещения, массовые средства информации (радио, телевидение, пресса), происходит всеохватывающий процесс выравнивания, движущей силой которого является, в конечном счете, господствующий в обществе литературный язык<sup>1</sup>, т. е. форма проявления языка, представляющая собой, в ее письменном и устном вариантах, общеобязательную и единую норму.

В связи с этим германистика все чаще обращается в последнее время к проблемам социально обусловленной дифференциации языка. «Благодаря Г. Венкеру и Ж. Жильерону, создателям немецкого и французского лингвистического атласа, языкознание обрело в последней четверти прошлого века, в добавление к исторической глубине, еще и географическую широту. С тех пор прошло пять десятилетий, и сейчас настает пора расширить здание лингвистики в еще одном измерении: в ее поле зрения вступает вертикальная шкала социологической дифференциации. Предметом исследований становится противопоставленность диалекта и литературного языка, сложные взаимоотношения между ними и явлениями, занимающими промежуточное положение — обиходным языком, городскими полу-диалектами, промежуточными (междиалектными) говорами, территориальным обиходным языком»<sup>2</sup>.

Изучение того промежуточного явления, которое принято называть обиходным языком, и его взаимоотношений с диалектами и с литературным языком, затруднено значительными расхождениями в терминологии, которые по сути дела являются отражением многообразия предпосылок употребления, форм и функций обиходного языка<sup>3</sup>. В качестве отправной

<sup>1</sup> Термин «литературный язык» (Schriftsprache) служит нам «для обозначения единого наддиалектного литературного языка (Literatursprache), существующего как в устной, так и в письменной форме». Ср.: М. М. G u c h m a n n, Der Weg zur deutschen Nationalsprache, Тl., 1, Berlin, 1964, стр. 18.

<sup>2</sup> R. G r o ß e, C. J. H u t t e r e r, Hochsprache und Mundart in Gebieten mit fremdsprachigen Bevölkerungsteilen, Berlin, 1961, стр. 3.

<sup>3</sup> Poleмику по этому вопросу, а также библиографические указания см., в частности, в следующих изданиях: W. H e n z e n, Schriftsprache und Mundarten, Bern, 1954; H. M o s e r, Umgangssprache. Überlegungen zu ihren Formen und ihrer Stellung im Sprachganzen, «Zeitschrift für Mundartforschung», 27, 1960; R. E. K e l l e r, German dialects. Phonology and morphology, Manchester, 1961; V. M. S h i r m u n s k i, Deutsche Mundartkunde, Berlin, 1962; H. R o s e n k r a n z, K. S p a n g e n b e r g, Sprachsoziologische Studien in Thüringen, Berlin, 1963; G. B e r g m a n n, Das Vorerzgebirgische Mundart und Umgangssprache im Industriegebiet um Karl-Marx-Stadt, Zwickau—Halle, 1965; R. E. K e l l e r, Some problems of German Umgangssprache, «Transactions of the philological Society. 1966 (1967)», стр. 87 и сл.; R. G r o ß e, Tradition und Innovation in der Umgangssprache der Großstadt, PBB, 89, 1967, стр. 440.

точки здесь можно принять определение верхнесаксонского обиходного языка, сформулированное представителями лейпцигской школы. Принадлежащая Т. Фрингсу характеристика верхнесаксонского обиходного языка как формы языка, промежуточной между литературным языком и диалектом<sup>4</sup>, получает следующее уточнение у Р. Гроссе: «С тех пор как литературный язык консолидировался и упрочился, с тех пор как он был кодифицирован в словарях Дудена и Зибса и тем самым обрел общезначимые нормы, с тех пор литературный язык оказывает обратное воздействие на диалекты». «Таким образом, ... по отношению к диалектам литературный язык находится в положении наступающего. Этот антагонизм между диалектом и литературным языком породил территориальный обиходный язык (*landschaftliche Umgangssprache*)<sup>5</sup>. «Итак, этот язык представляет собой нечто среднее между литературным языком и диалектом, он является территориально окрашенным обиходным языком»<sup>6</sup>.

Можно сказать, что термин «обиходный язык» используется преимущественно для обозначения формы речи, занимающей промежуточное положение между диалектом (говором) и стандартизованным (литературным) языком<sup>7</sup>. Многообразие и вариативность этой промежуточной формы определяется, по мнению Р. Э. Келлера, тремя факторами: а) географическим районом (*locality*), накладывающим свой отпечаток на диалектальную окраску результирующего промежуточного языкового образования, б) социальным положением говорящего, определяющим, в какой мере ему нужно приспособляться к нормам литературного языка, в) речевой ситуацией, побуждающей говорящего приспособляться к собеседнику<sup>8</sup>.

Представляется, что эту промежуточную форму языка можно рассматривать под углом зрения интерференции языков, межъязыковых контактов (*languages in contact*) в том смысле, который вкладывал в это понятие У. Вайнрайх<sup>9</sup>. Сам Вайнрайх считал, что в проблематику межъязыковых контактов входят взаимоотношения не только различных языков, но и различных диалектов одного и того же языка и даже вариантов одного и того же диалекта<sup>10</sup>. Такое определение понятия интерференции наталкивает на мысль пересмотреть под этим углом зрения также и взаимоотношения диалекта и литературного языка. Обиходный язык можно было бы при этом рассматривать как своего рода продукт интерференции. Проблематика и методика исследований в области интерференции языков во многом применима к изучению обиходного языка.

При изучении обиходного языка как явления, лежащего между диалектом и литературным языком, перед исследователем с самого начала стоит двоякая задача: лингвистическая и социологическая<sup>11</sup>. Лингвистический анализ, который при исследовании немецкого обиходного языка

<sup>4</sup> Th. Frings, *Sprache und Geschichte*, III, Halle, 1956, стр. 159.

<sup>5</sup> R. Große, *Die obersächsischen Mundarten und die deutsche Schriftsprache*, в кн.: R. Große, C. J. Hutterer, *Hochsprache und Mundart in Gebieten mit fremdsprachigen Bevölkerungsteilen*, Berlin, 1961, стр. 31.

<sup>6</sup> R. Große, *Die obersächsischen ...*, стр. 12.

<sup>7</sup> Ср. также: R. Keller, *German dialects*, стр. 91.

<sup>8</sup> Там же, стр. 92.

<sup>9</sup> U. Weinreich, *Languages in contact. Findings and problems*, The Hague, 1963.

<sup>10</sup> Там же, стр. 1, примеч. 9.

<sup>11</sup> О проблемах социолингвистики см.: D. Hymes, *The ethnography of speaking*, «Anthropology and human behavior». Washington, 1962; U. Weinreich, указ. соч., примеч. 9; «Sociolinguistics. Proceedings of the UCLA sociolinguistics conference, 1964», The Hague — Paris, 1966; A. Capell, *Studies in sociolinguistics*, The Hague — London — Paris, 1966; W. Labov, *The social stratification of English in New York city*, Washington, 1966; «Explorations in sociolinguistics», The Hague, 1967; «Readings in sociology of language», The Hague, 1968; «Socio-linguistique», Paris, 1968.

неизбежно будет включать в себя явления территориальной дифференциации, желательного дополнять анализом социологической обусловленности рассматриваемых фактов. Если вспомнить, далее, что лингвистический анализ помимо синхронического аспекта должен учитывать также и аспект диахронический, то изучение обиходного языка — как и изучение диалектов — оказывается областью исследования, к которой применимы в разных сочетаниях «все три внешних измерения, релевантных для человеческого языка: время, пространство и социальный уровень»<sup>12</sup>.

В настоящей работе мы ограничиваемся самой общей характеристикой внешних факторов и концентрируем внимание на лингвистическом анализе взаимоотношения диалекта, обиходного языка и литературного языка на примере Фогтланда (за вычетом его южной части, где говорят на северо-баварском), т. е. той части немецкой языковой территории, в которой языковая ситуация определяется в основном влиянием восточнофранкского диалекта. Таким образом, в настоящей статье представлена лишь одна сторона комплексной проблемы: лингвистическое описание процессов, обусловленных социологически<sup>13</sup>.

Задача лингвистического анализа, проводимого в фонологическом аспекте, состоит в том, чтобы исследовать фонологические системы различных форм языка и их взаимоотношения, т. е. черты их сходства и различия. При анализе дифференциации языка существенную роль играют процессы недостаточной и избыточной дифференциации (*Unter- und Überdifferenzierung*) фонем, которым в историческом плане соответствуют процессы дефонологизации и фонологизации.

Для нашего фонологического исследования взаимоотношений между диалектом, обиходным языком и литературным языком были выбраны шесть населенных пунктов<sup>14</sup>, относительно равномерно распределенные по названной выше языковой территории, в которых были произведены магнитофонные записи<sup>15</sup>. Основой для анализа послужили фонетические транскрипции, сделанные по этим записям. При определении результатов во всех случаях решающую роль играли условия записи, т. е. условия речевой ситуации. В основу записей были положены две различных языковых ситуации: 1) «диалектальная» (1960) в населенных пунктах 1—5, 2) «обиходно-разговорная» (1968) в населенных пунктах 1, 5 и 6.

Конкретные выводы сводятся к следующему: 1) Диалектальная речевая ситуация: а) у говорящих старшего и среднего поколения (различного социального положения и разного пола) в населенных пунктах 1—5 наблюдаются диалектальные формы речи  $D_1$  —  $D_5$ ; б) у говорящих младшего поколения (различного социального положения и разного пола) в населенных пунктах 3—5 наблюдаются обиходно-разговорные формы речи  $O_1$  —  $O_5$ <sup>16</sup>; 2) Обиходно-разговорная речевая ситуация: у говорящих разных поколений (различного социального положения и разного пола) в населенных пунктах 1, 5 и 6 отмечаются обиходные формы речи  $O_1$ ,  $O_5$  и  $O_6$ .

<sup>12</sup> W. G. Moulton, *Structural dialectology*, «Language», 44, 1968, стр. 460—461.

<sup>13</sup> Подробное изложение результатов исследования будет опубликовано в «Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften», Phil.-hist. Klasse, Berlin.

<sup>14</sup> 1 — Цвота, 2 — Фошенрода, 3 — Штейндорф, 4 — Бобеннойкирхен, 5 — Фалькенштейн, 6 — Плауен.

<sup>15</sup> Ср.: Н.-J. Schädlich, R. Große, *Tonbandaufnahme der deutschen Mundarten in der Deutschen Demokratischen Republik*, «Forschungen und Fortschritte», 35, 1961; Н.-J. Schädlich, H. Eras, *Deutsche Dialektologie und moderne Tonaufnahmetechnik*, «Spektrum, Mitteilungsblatt für die Mitarbeiter der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin», 10, 1964.

<sup>16</sup> Младшее поколение в населенном пункте 1 не учтено, а в населенном пункте 2 учтено недостаточно полно.

Объектом нашего анализа являются речевые репрезентации отдельных дикторов (определяемые, в основном, речевой ситуацией) как различным образом организованные речевые произведения (*sprachliche Corpora*). Эти речевые произведения репрезентируют зависящие от ситуации возможности отдельно взятого говорящего, который, как правило, «компетентен» не в одной, а в нескольких формах языка. В нашем анализе мы исходим из предположения, что представленная в записи форма речи диктора репрезентирует не только сама себя, но может быть воспроизведена — в схожей или идентичной форме — тем же самым диктором или другими дикторами и что, далее, зафиксированная в записи репрезентация позволяет учесть существенные черты лежащей в ее основе фонологической системы.

В нашем фонологическом исследовании языковой дифференциации комбинируются между собой фонологический, этимологический и фонетический аспекты. Фонологические системы и этимологическое распределение фонем представляют собой, с одной стороны, наиболее замкнутые, с другой стороны, максимально дифференцированные участки языковой действительности; поэтому с их помощью особенно удобно производить лингвистическое отождествление и выделение отдельных форм и вариантов национального языка. В нашем исследовании мы ставим себе целью осветить вопрос о том, какие специфические фонологические явления имеют место в процессе унификации, выравнивания между диалектом, обиходной речью и литературным языком; основной проблемой является структура обиходно-разговорных фонологических систем и их взаимоотношения с соответствующими системами диалекта и литературного языка, причем в рамках настоящей статьи мы ограничимся только вокализмом, точнее — гласными под ударением.

Уже в 1931 г. Н. С. Трубецкой назвал три вида звуковых различий между диалектами: «Они могут относиться к фонологической системе или к фонетической реализации отдельных фонем или же к этимологическому распределению фонем в словах. В соответствии с этим мы говорим о фонологических, фонетических и этимологических различиях между диалектами»<sup>17</sup>. На этом различии построены в конечном счете все исследования по диалектологии, проведенные в рамках («таксономической») теории фонем. Р. Э. Келлер и В. Г. Мултон также указывают в качестве критериев для описания различий между диалектами фонологическую систему (*phonemic inventory* и *phonemic pattern*), этимологическое распределение фонем в определенных классах лексических единиц (*phonemic incidence*) и фонетическую реализацию<sup>18</sup>.

Но эти критерии, пригодные для описания территориальной («горизонтальной») дифференциации языка, можно непосредственно применить также и к описанию социологически обусловленной «вертикальной» дифференциации языка. Если при этом временно отвлечься от фонетической реализации, то это означает следующее: подобно тому, как две точки на горизонтальной оси (системы разных диалектов) могут быть описаны с помощью фонологических и этимологических различий между ними, можно описать — привлекая критерий фонологических и этимологических различий — и две точки на вертикальной оси (системы различных синхронно существующих форм или вариантов языка).

<sup>17</sup> N. S. Trubetzkoy, *Phonologie und Sprachgeographie*, TCLP, 4, 1931, стр. 228.

<sup>18</sup> R. E. Keller, *Some problems...*, стр. 95—96; W. G. Moulton, *The mapping of phonemic systems*, «Verhandlungen des Zweiten Internationalen Dialektologenkongresses», Wiesbaden, 1967—1968.

Наконец, эти же критерии пригодны и для описания двух точек на о с и в р е м е н и (системы различных исторических ступеней развития). Ведь явления, связанные с историческими изменениями на временной оси, как, например, типы фонологических изменений (phonemic change у В. Г. Мулттона<sup>19</sup>), находят себе аналогии в современных процессах унификации на вертикальной оси. Разумеется, при этом нельзя упускать из виду, что «этимологические» различия между отдельными вариантами (Stufen) обиходного языка представляют собой не разные линии развития, а результаты социологически обусловленного выбора. Таким образом, с помощью фонологических, этимологических и фонетических различий можно учитывать как исторический, так и территориальный и социологический (вертикальный) аспект. Описание вертикальной дифференциации строится аналогично описанию дифференциации горизонтальной и хронологической.

Анализ речевых репрезентаций отдельных дикторов в шести обследованных населенных пунктах выявил три различных диалектальных фонологических системы гласных. Д<sub>1</sub> обладает наиболее простой системой с шестью долгими и шестью краткими монофтонгами и с двумя дифтонгами.

Д<sub>1</sub>:    /i:/   /u:/        /i/   /u/  
          /e:/   /o:/        /e/   /o/  
          /ɛ:/   /a:/        /ɛ/   /a/  
                 /a:/                /a/  
                 /ae/   /ao/

Две других системы совпадают с Д<sub>1</sub> по монофтонгам, но отличаются своими дифтонгами. В Д<sub>2</sub> и Д<sub>3</sub> имеются еще дифтонги /iə/ и /uə/, которых нет в Д<sub>1</sub>. Д<sub>4</sub> и Д<sub>5</sub> располагают еще двумя дифтонгами /eə/ и /oə/, а в общей сложности — шестью дифтонгами; Д<sub>2</sub> и Д<sub>3</sub>: /ae/, /ao/, /iə/, /uə/; Д<sub>4</sub> и Д<sub>5</sub>: /ae/, /ao/, /iə/, /uə/, /eə/, /oə/. Таким образом, в области вокализма дифтонги представляют собой фонологический дистинктивный признак обследованных диалектов.

Наряду с диалектальными фонологическими системами анализ записей отдельных дикторов в шести обследованных населенных пунктах выявил пять различных обиходно-разговорных фонологических систем гласных. О<sub>1</sub> и О<sub>3</sub><sup>20</sup> имеют по шесть долгих и по пять кратких монофтонгов и по три дифтонга.

О<sub>1</sub>, О<sub>3</sub>:    /i:/   /u:/        /i/   /u/  
          /e:/   /o:/        /ɛ/   /o/  
          /ɛ:/   /a:/                /a/  
                 /ae/   /oö/   /ao/

В О<sub>4</sub> имеется семь долгих и семь кратких монофтонгов и два дифтонга.

О<sub>4</sub>:    /i:/   /u:/        /i/   /u/  
          /e:/   /o:/        /e/   /o/  
          /ɛ:/   /a:/        /ɛ/   /a/  
                 /a:/                /a/  
                 /ae/   /ao/

В населенном пункте 5 наряду с диалектальной системой гласных были обнаружены три различных обиходно-разговорных системы гласных О<sub>5а</sub>,

<sup>19</sup> W. G. M o u l t o n, Types of phonemic change, «To honor Roman Jakobson», The Hague — Paris, 1967, стр. 1393.

<sup>20</sup> В населенном пункте 2 обиходно-разговорной системы не обнаружено.

О<sub>5б</sub> и О<sub>5в</sub>. В О<sub>5а</sub> имеется семь долгих и семь кратких монофтонгов и четыре дифтонга.

О <sub>5а</sub> :	/i:/	/u:/	/i/	/u/
	/e:/	/o:/	/e/	/o/
	/ɛ:/	/a:/	/ɛ/	/a/
		/a:/		/a/
		/iø/	/uə/	
		/ae/	/ao/	

О<sub>5б</sub> располагает шестью долгими и шестью краткими монофтонгами и тремя дифтонгами.

О <sub>5б</sub> :	/i:/	/u:/	/i/	/u/
	/e:/	/o:/	/e/	/o/
	/ɛ:/	/a:/	/ɛ/	/a/
		/ae/	/oö/	/ao/

В О<sub>5в</sub> и в О<sub>6</sub> имеется восемь долгих и семь кратких монофтонгов и три дифтонга.

О <sub>5в</sub> , О <sub>6</sub> :	/i:/	/u:/	/ü:/	/i/	/ü/	/u/
	/e:/	/ö/	/o:/	/ɛ/	/ö/	/o/
	/ɛ:/	/a:/			/a/	
		/ae/	/oö/	/ao/		

Приведенные в нашем обзоре диалектальные и обиходно-разговорные системы гласных представляют собой пока что всего лишь фонологический инвентарь. В заключение обзора приведем для сравнения систему гласных литературного языка.

Л:	/i:/	/ü:/	/u:/	/i/	/ü/	/u/
	/e:/	/ö:/	/o:/	/ɛ/	/ö/	/o/
	/ɛ:/	/a:/			/a/	
		/ae/	/oö/	/ao/		

Из сопоставления видно, что обиходно-разговорные системы гласных О<sub>5в</sub> и О<sub>6</sub> идентичны по своему фонологическому инвентарю системе гласных литературного языка Л. Однако по этимологическому распределению и по фонетической реализации фонем они этой системе отнюдь не идентичны. Поэтому адекватную картину исследуемых фонологических систем и их взаимоотношений мы получим лишь в том случае, если учтем еще и этимологическое распределение и фонетическую реализацию фонем.

После того как определены фонологические системы (инвентарь), анализ этимологического распределения фонем во всех рассмотренных системах гласных (в диалекте, в обиходном языке и в литературном языке) дает возможность выявить минимальный общий инвентарь фонологически и этимологически совпадающих гласных и представить отдельные конкретные системы как фонологические и этимологические расширения этого абстрактного основного инвентаря. Приняв некоторую совокупность фонологических и этимологических совпадений за абстрактный основной инвентарь, исследователь получает — как на уровне диалекта, так и на уровне унифицированной формы речи — базу для выбора конкретной отдельной системы путем расширения общего абстрактного инвентаря.

Объединение совпадающих и различающихся элементов нескольких различных систем в одну иерархически вышестоящую систему ведет к построению «диасистемы», идею которой впервые сформулировал У. Вайнрайх<sup>21</sup>. В нашем исследовании мы объединяем в абстрактный основной

<sup>21</sup> U. W e i n r e i c h, Is a structural dialectology possible?, «Word», 10, 1954. В связи с концепцией диасистемы см.: E. P u l g r a m, Structural comparison, diastems and dialectology, «Linguistics», 4, 1964, и др.

инвентарь только совпадающие элементы разных систем, т. е. общий для них минимум признаков, а элементы различающиеся выделяем как расширение этого основного инвентаря.

Сведение всех рассмотренных систем гласных (в диалектах, в обиходном языке, в литературном языке) с их этимологическими распределениями фонем к тем свойствам, которые являются общими для всех систем, приводит к выделению следующего абстрактного основного инвентаря фонологических и этимологических совпадений.

Основной инвентарь:

/i:/	/u:/	/i/	/u/
/e:/	/o:/		/o/
/ɛ:/	/a:/	/ɛ/	/a/
	/ae/	/ao/	

По отдельным фонемам имеются следующие этимологические совпадения между всеми системами (диалекты:  $\bar{D}_1$  —  $\bar{D}_5$ ; обиходный язык:  $O_1$ ,  $O_3$  —  $O_6$ ; литературный язык:  $L$ ):

Долгие монофтонги и дифтонги

/i:/	ср.-в.-нем. <i>ie, i</i>	( <i>wie; liegen</i> )
/e:/	ср.-в.-нем. <i>e, æ, e</i>	( <i>ehe; drehen; Rede, legen</i> )
/ɛ:/	ср.-в.-нем. <i>æ</i>	( <i>Nähe</i> )
/u:/	ср.-в.-нем. <i>uo, u</i>	( <i>Bruder; Zug, Stube</i> )
/o:/	ср.-в.-нем. <i>ō, o</i>	( <i>Schloße; oder</i> )
/a:/	(этимологических совпадений между всеми системами нет)	
/ae/	ср.-в.-нем. <i>ǣ</i>	( <i>mein</i> )
/ao/	ср.-в.-нем. <i>û</i>	( <i>Bauer</i> )

Краткие монофтонги

/i/	ср.-в.-нем. <i>ie, i</i>	( <i>Licht; schicken</i> )
/ɛ/	ср.-в.-нем. <i>æ, e</i>	( <i>Rettig; wenn</i> )
/u/	ср.-в.-нем. <i>uo, u</i>	( <i>Mutter; Butter</i> )
/o/	ср.-в.-нем. <i>ō, o</i>	( <i>Hochzeit; Ochse</i> )
/a/	ср.-в.-нем. <i>ā, a</i>	( <i>gedacht; Nacht</i> )

Не имея возможности рассмотреть подробнее в рамках настоящей статьи этимологическое распределение фонем (совпадения + различия) в отдельных диалектальных и обиходно-разговорных системах, мы можем только констатировать следующее относительно фонологической структуры конкретных обиходно-разговорных систем: абстрактный основной инвентарь расширяется в конкретную обиходно-разговорную систему, во-первых, за счет включения чисто диалектальных фонем /iə/, /uə/, /a:/, /a/, /e/, во-вторых, за счет включения фонем, свойственных исключительно литературному языку /ü:/, /ö:/, /ü/, /ö/, /oö/. Это означает, что варьирование конкретных обиходно-разговорных систем по сравнению с общим для всех них абстрактным основным инвентарем происходит путем расширения последнего за счет включения в него диалектальных элементов и/или элементов литературного языка.

В процессе унификации решающее значение имеют три конкретных фонологических явления. Первое заключается в том, что в нелитературных системах происходит замена фонем, не приводящая, однако, к каким-либо фонологическим изменениям самой системы. Так, диалектальное /ö/ в словах типа *Tag* и т. п. заменяется обиходно-разговорным /a:/ (оба гласных < ср.-в.-нем. /a/), т. е.  $\bar{D}_1 \rightarrow O_1$ . И тот, и другой гласные входят в диалектальную и в обиходно-разговорную систему и сохраняются в других словах.

Характеристику этого процесса мы находим уже у Р. Гросе, который назвал его «растворением» (*Auflösung*)<sup>22</sup>. Р. Э. Келлер называет его заменой фонем и определяет как «замещение исторически исконной фонемы другой, близкой по звучанию к фонеме доминирующей формы языка (литературный язык, обиходный язык), выступающий как источник заимствований (*Gebersprachschicht*)<sup>23</sup>. И. Рейффенштейн охарактеризовал этот процесс как «подмены в пределах системы»<sup>24</sup>.

Необходимо внести следующие уточнения, касающиеся процесса замены фонем. Названная выше разновидность замены фонем всегда имеет место в пределах абстрактного основного инвентаря, общего для всех систем. Она покоится на этимологических контрастах между диалектами, с одной стороны, и обиходным и литературным языком — с другой, в рамках общего для них состава фонем. Эта разновидность замены фонем никогда не приводит к фонологическому изменению какой-либо конкретной системы. Так, например, неодинаковое удлинение средневерхненемецких кратких гласных в закрытом слоге унифицируется по образцу литературного языка: диалектальное /i:/ в словах типа *Schnitt* и т. п. заменяется обиходно-разговорным /i/. Такая замена всегда представляет собой замену частичную, т. е. фонема /i:/ при этом сохраняется. Перспективой этой формы замены фонем является лишь устранение этимологических различий, существующих между отдельными формами языка в пределах общего для них фонологического инвентаря, выравнивание этих различий по нормам этимологического распределения, свойственным литературному языку. Это — чисто этимологическая подмена в пределах фонологического инвентаря, общего для всех систем, и за счет этой подмены в ходе унификации поэтапно устраняются этимологические различия между диалектами и литературным языком.

Совершенно иначе обстоит дело со второй разновидностью замены фонем, которая представляет собой в т о р о е важное явление в процессе унификации. Это явление затрагивает фонемы, принадлежащие к конкретной системе нелитературного языка, но не входящие в систему фонем литературного языка, например, диалектальные фонемы /iə/ < ср.-в.-нем. /ê/ и /uə/ < ср.-в.-нем. /ô/, которые заменяются в обиходном языке фонемами /e:/ в словах типа *Schnee* и т. п. и, соответственно, /o:/ в словах типа *groß* и т. п., т. е.  $D_5 \rightarrow O_{5a}; O_{5b}; O_{5в}$ . В этом случае сначала также имеет место лишь частичная замена; однако такая частичная замена знаменует подготовку к изменению конкретной фонологической системы. Ведь как только /iə/ и /uə/ окажутся замененными во всех словах фонемами, которые этимологически соответствуют им в иерархически вышестоящей форме языка, произойдет и изменение фонологической системы. В этом случае частичная замена фонем, т. е. частичная этимологическая дифференциация внутри системы, представляет собой начало процесса, который завершается полной этимологической, а тем самым и полной фонологической дифференциацией: в результирующей системе уже не будет фонем /iə/ и /uə/. Эта разновидность замены фонем затрагивает как раз все те фонемы, за счет которых диалекты отличаются от литературного языка, в данном случае — фонемы /iə/, /uə/, /eə/, /oä/, /a:/, /a/ и /e/. Если в той или иной системе на определенной ступени унификации еще имеется

<sup>22</sup> R. G r o ß e, *Die Meißnische Sprachlandschaft*, Halle, 1955, стр. 47.

<sup>23</sup> R. E. K e l l e r, *Der Umwandlungsprozeß eines mundartlichen Lautsystems*, «Verhandlungen des Zweiten Internationalen Dialektologenkongresses», Wiesbaden, 1967—1968, стр. 448.

<sup>24</sup> I. R e i f f e n s t e i n, *Zur phonologischen Struktur der Umgangssprache*, «Verhandlungen des Zweiten Internationalen Dialektologenkongresses», Wiesbaden, 1967—1968, стр. 694.

какая-либо фонема или несколько фонем вышеназванного ряда, то внутри этой системы начинается «подготовительная» частичная замена, идущая в направлении к ближайшей вышестоящей ступени, и этот процесс продолжается до тех пор, пока за счет полной замены не будет достигнуто состояние, характерное для системы этой ступени.

Для понимания сущности процесса унификации очень важно различать эти две разновидности замены фонем. Первая разновидность всегда охватывает лишь известную часть слов с какой-то определенной фонемой, для второй это ограничение представляет собой временное явление. Вторая разновидность замены фонем подготавливает изменение фонологической системы, которое можно считать свершившимся в тот момент, когда замена той или иной фонемы другой проведена во всех словах с данной фонемой.

Третье важное явление в процессе унификации заключается в том, что фонологическая система заимствует новые элементы из фонологической системы иерархически вышестоящей формы (ступени) национального языка. Сюда относится включение лабиализованных гласных из литературного языка в обиходно-разговорные системы /u:/, /o:/, /ù/, /ö/, /oö/. Анализ обиходно-разговорных систем показал, что на первых порах эти лабиализованные гласные входят в систему на правах фонетических вариантов в соответствующих нелабиализованных гласных. Так, обиходно-разговорная система  $O_{5б}$  содержит передние нелабиализованные гласные /i:/, /e:/, /i/, /e/. У всех этих фонем наблюдается в известных случаях факультативное варьирование между нелабиализованными и лабиализованными реализациями. В обиходно-разговорной системе  $O_{5в}$  лабиализованные передние гласные фонологизированы в самостоятельные фонемы, противостоящие нелабиализованному передним гласным. Фонема /oö/ фонологизировалась уже в  $O_{5б}$ .

Три рассмотренных выше процесса можно вкратце охарактеризовать следующим образом.

1. Замена фонем в пределах основного инвентаря, общего для всех систем, без изменения фонологической системы; изменяется лишь этимологическое распределение фонем.

2. Замена фонем как форма перехода к изменению фонологической системы; частичная подмена фонемами, имеющимися в соответствующей системе, с перспективой полной замены, т. е. элиминирования заменяемых фонем; результатом полной замены является устранение диалектальных фонем и тем самым сужение системы. Мы имеем здесь дело с явлением, аналогичным историческому совпадению фонем (англ. merger).

3. Включение новых элементов из иерархически вышестоящей системы, которые вступают с соответствующими фонемами данной системы в отношении фонетического варьирования; результатом фонологизации фонетических вариантов является расширение системы (за счет включения фонем из вышестоящей формы языка). Это явление представляет собой аналогию к историческому расщеплению фонем (англ. split).

При попытке представить конкретные обиходно-разговорные системы как результат расширения условно принятого абстрактного основного инвентаря возникает вопрос о том, какова доля участия диалектальных фонем и фонем литературного языка в фонологическом расширении основного инвентаря. С этой точки зрения в обиходно-разговорных системах можно выделить четыре ступени:

1. Основной инвентарь расширяется за счет минимум одной диалектальной фонемы (в нашем случае их несколько).  $O_4$ : /a:/ < ср.-в.-нем. *ei*, *öu*, *ou*; /a/ < ср.-в.-нем. *ei*, *ou*, *î*, *iu*, *û*, *e*, *ë*; /e/ < ср.-в.-нем. *ê*, *æ* *i*, *ï*, *e*, *ö*, *ë*;  $O_{5а}$ : /iə/ < ср.-в.-нем. *ê*, *æ*, *e*, *ö*, *ë*; /uə/ < ср.-в.-нем. *ô*, *o*; /a:/, /a/

/e/ — как в  $O_4$ . По сравнению с диалектальными системами  $D_4$  и  $D_5$  обиходно-разговорные системы  $O_4$  и  $O_{5a}$  представляет собой р е д у ц и р о в а н н ы е д и а л е к т а л ь н ы е с и с т е м ы (системы с частичным изъятием).

2. Основной инвентарь расширяется за счет минимум одной диалектальной фонемы и одной фонемы литературного языка.  $O_{5b}$ : /e/ < ср.-в.-нем. *ê, æ, i, ÿ, e, ö, ë* /oö/ < ср.-в.-нем. *iu, öu*. По сравнению с диалектальной системой  $D_5$  и с литературным языком Л эта обиходно-разговорная система представляет собой с м е ш а н н у ю с и с т е м у (с минимум одним элементом, свойственным только диалекту, и одним элементом литературного языка «в чистом виде»).

3. Основной инвентарь расширяется за счет минимум одной фонемы литературного языка.  $O_1$  и  $O_3$ : /oö/ < ср.-в.-нем. *iu, öu*. Эти системы уже не содержат ни одного элемента, который был бы свойствен только диалекту. По сравнению с системой литературного языка Л эти обиходно-разговорные системы представляют собой р е д у ц и р о в а н н ы е с и с т е м ы л и т е р а т у р н о г о я з ы к а (системы с частичным восполнением).

4. Основной инвентарь расширяется за счет всех отсутствующих в нем фонем литературного языка (и только за счет этих фонем). При этом остаются в силе этимологические и фонетические признаки отличия от литературного языка.  $O_{5b}$  и  $O_6$ : /ü:/ < ср.-в.-нем. *üe, ü*; /ö:/ < ср.-в.-нем. *æ, ó, /ü/* < ср.-в.-нем. *üe, ü*; /ö/ < ср.-в.-нем. *o*; /oö/ < ср.-в.-нем. *iu, öu*. В фонологическом (но не в этимологическом и не в фонетическом!) отношении эти обиходно-разговорные системы представляют собой с и с т е м ы л и т е р а т у р н о г о я з ы к а.

Таким образом, в зависимости от доли участия диалектальных фонем и фонем литературного языка (и только за счет этих фонем) можно установить различные степени «близости к диалекту» и, наоборот, «близости к литературному языку» для обиходно-разговорных систем. Ближе всего к диалекту стоят  $O_4$  и  $O_{5a}$ ; среднее положение занимает  $O_{5b}$ , ближе к литературному языку стоят  $O_1$  и  $O_3$ ; максимально близкими к литературному языку оказываются  $O_{5b}$  и  $O_6$ .

Наличие различных недиалектальных («нелитературных») систем гласных в пределах одного населенного пункта ( $O_{5a}$  —  $O_{5b}$ ) говорит о том, что внутри обиходного языка имеются градации. Между диалектом и литературным языком намечается переходная область в виде обиходного языка, который предстает как ряд ступеней, относительно стабильных в фонологическом отношении. Тем самым в многообразии обиходного языка обнаруживается явная системность. Изменения обиходно-разговорных фонологических систем (их сужение и расширение), аналогичные историческому развитию фонологических систем (совпадение и расщепление фонем), указывают на тесную связь между синхроническими и диахроническими процессами и подчеркивают динамический характер синхронного плана. В то же время эти изменения наталкивают на мысль о том, что аналогичные социологически обусловленные процессы могли иметь место и на более ранних ступенях развития.

Н. А. СЫРОМЯТНИКОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОДСТВЕННОСТИ КОРНЕЙ

Обычно считается, что два слова одного или разных языков имеют или общий корень или разные. При этом один и тот же корень даже в словах одного языка в одну и ту же эпоху может быть фонетически неидентичным. Та или иная фонема, входящая в него, может в разных позиционных условиях быть представлена вариантами, различающимися даже теми же дифференциальными признаками, что и самостоятельные фонемы в сильной позиции. Однако на лексическом значении такие изменения никак не сказываются: русск. [дуп], [дуб-э], [в дуб'-э]; япон. *tor-u* «беру», *tot-ta* «брал». Говорящими на данном языке как на родном такие отличия в звучании корня могут и не осознаваться.

Другие фонемные изменения связаны с чередованиями типа аблаута. Они осознаются, могут дифференцировать значение, но обычно в чисто грамматическом или словообразовательном плане: др.-япон. *mě* «глаз» + *puta* «крышка» > *mabuta* «глаза крышка» = «верхнее веко». (Глухой согласный в начале второго компонента сложного слова озвончается, если во втором корне нет звонкого<sup>1</sup>; -ě в исходе самостоятельного слова чередуется с -a- в составе первого компонента сложного.) Но и такие чередования фонем не приводят к деформации лексического значения. Никто не сомневается в том, что в парах — русск. *рук-а* и *руч-енька*, *бер-у* и *с-бор*, др.-япон. *mě* и *ma-*, *puta* и *-buta* имеется один и тот же корень.

Оставляя в стороне эти общеизвестные явления, обратимся к изучению сходства между заведомо разными корнями, имеющими минимум одну неодинаковую фонему во всех формах и производных словах. Могут ли корни простых слов, различающиеся о д н о й фонемой, иметь близкие значения? Или они в с е г д а не будут иметь ничего общего по значению? Или сходство семантическое будет таким же случайным, как и фонематическое? Если обратиться к наиболее известным ныне пособиям по общему языкознанию и работам по частным языкознаниям, легко заметить, что авторы их или вообще не видят этих вопросов, или намеренно их обходят. Так, Г. Глисон, хотя и занимается специально установлением тождества морфем<sup>2</sup>, избегает такого материала, анализ которого привел бы к выделению близких, но не идентичных корней. Нельзя согласиться с его мнением о том, что английское слово *gys* «гуси» состоит из двух морфем: корня и аффикса (инфикса) множественного числа *-iy-*<sup>3</sup>. На самом деле *-iy-* входит в состав корня, который вообще не может быть подвергнут морфологическому членению. В современном английском языке этот корень существует в двух вариантах: [gu:s] «гусь» (лексическое значение + ед. число, как и у подавляющего большинства английских имен без аффиксов) и [gi:s] «гуси» (то же лексическое значение + мн. число). То же в [maus] «мышь» и [mais] «мыши».

<sup>1</sup> См.: Н. Н. Т р е т ь я к, Чередование звуков как признак структурного единства сложного слова в японском языке, «Вестник ЛГУ», 1960, 2.

<sup>2</sup> См.: Г. Г л и с о н, Введение в дескриптивную лингвистику, М., 1959, гл. VI.

<sup>3</sup> Там же, стр. 118—119.

Неправомерно и включение Глисоном частичной редупликации в аффиксацию «с широко варьирующимися формами»<sup>4</sup>. Во-первых, частичная редупликация нередко приводит к появлению другого корня: япон. *tsura* «ряд» и *tsurara* «сосулька» (перевозу условно ед. числом, хотя числом японские имена не обладают); *sum-u* «жить» — *susum-u* «продвигаться вперед». Во-вторых, даже там, где, казалось бы, частичная редупликация используется не в целях корнеобразования, а лишь для «усиления» значения без его изменения по существу (как в тюркских языках — *кара* «черный»: *канкара* «черный-пречерный»), об аффиксации говорить не приходится, так как создание аффикса, скажем, интенсива — результат большого обобщения (в результате абстракции усиление любого качества оказывается возможным передавать одинаково: япон. *takkuro* «черный-пречерный», *masshiro* «белый-пребелый» и т. п.). Ср. япон. *hara* «живот» и *harara-go* «икра» (рыбья, *-go* < *ko* «ребенок; мелкий предмет»), где частичная редупликация используется для корнеобразования.

Нельзя приравнивать к аффиксации и супплетивные формы (так, вопреки Глисону, *go* «идти» и *wen-t* «шел» имеют разные корни, как и русск. *ид-ти* и *ше-л*), объединять разные по звучанию морфемы в алломорфы одной морфемы по общей функции и т. п. Так, приравнивая редкий суффикс мн. числа в английском слове *ox-en*—[ɪn] к алломорфам основной морфемы мн. числа *-s* — [s, -z, -ɪz], Глисон представляет английский язык более системным, чем он есть на самом деле, путает синонимичность с материальной общностью.

Сравнивая *find* «нахожу» с *found* «нашел», Глисон дает несколько более правильную формулировку: «такую разницу в фонемах (она не обязательно ограничена ядром; ср. *send* : *sent*) мы можем рассматривать как особую разновидность морфемы, называемую заместителем»<sup>5</sup>. Верно, что грамматическое значение выражается здесь не самими фонемами, которые входят в корень и от него не отделимы, а разницей в них, которую, однако, нельзя назвать даже заместителем морфемы. Такой способ принципиально отличается от прерывистых флексий семитских языков, располагающихся между согласными корня<sup>6</sup>. Нельзя замалчивать и того, что для английского языка это не норма, а сравнительно редкое «исключение». Думаю, что использование вариантов корня с разными фонемами в грамматических целях — способ, принципиально отличный от суффиксации (при которой всегда существуют морфологические границы), если даже исторически чередование вариантов (или фонем корня, что то же) возникло под влиянием отпавших впоследствии суффиксов или флексий.

Я предложил бы назвать значимую разницу между корнями, близкими по значению и звучанию, д и ф ф е р е н ц и а л о м. Название «квази-морфема», предложенное Ю. С. Масловым (его примеры — нем. *Gipfel* «вершина» и *Wipfel* «верхушка» и русск. *ноготь* и *коготь*, где, по его мнению, «мы должны выделить части *g-*, *-w-и-ipfel* и *n-*, *k-* и *-og-at'*»<sup>7</sup>), предполагает понимание этих частей как «единиц промежуточного (между фонемным и морфемным.— Н. С.) уровня». Но вряд ли мы имеем право членить морфему на части, каждая из которых ничего в отдельности не значит.

<sup>4</sup> Там же, стр. 138. Он приводит тагальские примеры: *isa* «один» — *iisa* «только один» и под.

<sup>5</sup> Там же, стр. 118.

<sup>6</sup> См.: И. А. Мельчук, О «внутренней флексии» в индоевропейских и семитских языках, ВЯ, 1963, 4.

<sup>7</sup> Ю. С. Маслов, Промежуточные уровни в структуре языка, «Проблемы языкознания. Доклады и сообщения советских ученых на X Международном конгрессе лингвистов», М., 1967, стр. 29.

Как бы то ни было, можно констатировать, что в общелингвистическом плане лишь немногие языковеды подметили отдельные примеры сходства корней. В руководствах по общему языкознанию такие факты редко упоминаются. Лишь Л. Блумфилд пишет: «Даже в таких случаях, как английские *sing : sang : sung : song* ... при адекватном описании одни формы будут рассматриваться как основные, а другие — как вторичные производные или как первичные производные с фонетическими модификациями корня. Однако в некоторых случаях мы обнаруживаем отчетливо выраженное фонетико-семантическое сходство между образованиями, которые мы считаем разными корнями»<sup>8</sup>. На значительно большем материале китайского языка И. М. Опанин сделал очень интересную попытку показать, как многие китайские корни произошли из двух. К сожалению, его работа все еще не опубликована. Ему удалось найти десятки и сотни примеров того, как корни, имеющие одинаковую финаль, обладают и некоторым общим значением, например, округлости.

Замечательный полиглот, покойный С. С. Майзель, сравнивая многие семитские языки, установил, что их трехгласные корни при метатезе двух согласных лишь несколько видоизменяют свое значение, а не вовсе меняют его, как можно было бы ожидать.

В этимологическом словаре древнегреческого языка Я. Фриска есть немало сопоставлений корней, близких по звучанию и значению<sup>9</sup>.

Таким образом, уже несколько ученых на большом материале вплотную подошли к вопросу о связях между *разными* корнями одного и того же или близкородственных языков.

Ниже я попытаюсь сравнить некоторые корни японского языка между собой, имея в виду следующие вопросы: 1) чем отличается корнеобразование (выражение различий в лексической семантике близкими по звучанию корнями) от суффиксации?; 2) какова роль ударения в дифференциации неодносложных корней?; 3) при наличии материальных соответствий в других языках (не близкородственных) отличаются ли они одно от другого сходным же образом, или же различия между близкими корнями настолько зависят от системы данного языка, что редко повторяются в другом?

В последнем случае встанет важный вопрос, как наличие близких корней влияет на соответствия между языками? Представляют ли такие корни какую-то систему или нет?

В советском и западном японоведении вопрос о том, есть ли в японском языке общность между разными корнями, пока не поднимался. В одной из моих работ констатировано лишь наличие в японском языке перелома гласного первого слога *i* под влиянием гласного второго слога<sup>10</sup>. Это дает возможность сблизить слова с коренным *i* и коренным *a*, *u* или *o*, так как по аналогии с алтайскими языками<sup>11</sup> можно рассматривать *i* как более ранний звук. Поскольку эта разновидность регрессивной ассимиляции гласных не охватила всех японских корней, создалась возможность ис-

<sup>8</sup> Л. Б л у м ф и л д, Язык, М., 1968, стр. 266. Но говорящий по-английски имеет дело не с самим ходом исторических изменений, а лишь с их результатом: с системой *равноправных* вариантов корня, различающихся фонемой и грамматическим значением.

<sup>9</sup> См.: Н. J. F r i s k, Griechisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1954—1971.

<sup>10</sup> См.: Н. А. С ы р о м я т н и к о в, Об урало-алтайском слое древнеяпонского языка, «Народы Азии и Африки», 1967, 2, стр. 122—125.

<sup>11</sup> Ср.: Г. Д. С а н ж е е в, Сравнительная грамматика монгольских языков, 1, 1953, стр. 104—114.

пользовать различие в гласном для семантической дифференциации <sup>12</sup>: *ijashii* «простой; бедный; низкий; вульгарный» — *ajashii* «сомнительный; подозрительный».

Разумеется, такие случаи надо рассматривать отдельно от близких односложных корней, ряд групп которых уже признан японскими лингвистами. Так, *kir-u* «резать», *kar-u* «косить», *kur-u* «выдалбливать», *kor-u* «рубить» (дрова) имеют очевидную фонетическую и семантическую связь <sup>13</sup>; но разный гласный тут не зависит от остальных фонем, которые в этих словах одинаковы.

Представляется целесообразным назвать близкие корни р о д с т в е н н ы м и, не имея в виду общего предка для них. Есть возможность установить, появились ли они уже в протояпонском языке или еще раньше: если каждый из приведенных выше родственных корней (далее РК) имеет свои соответствия в целом ряде языков, значит, их происхождение уходит в далекое прошлое.

Др.-япон. *kir-u* «резать; убивать; добывать огонь трением» ~ маньчж. *guri-* «обрезывать ножом; подравнивать», и.-е. *\*kert-* «резать», эвенк. *guri-* «выкраивать; разрезать». Но в языках, различающих *i* и *ɪ* (ы), находим *ы*: турецк. *kır-* «разбивать; уничтожать; резать» (скот), коми *кыр* «резать», корейск. *кыру* «пень; жнивье». Почему же древнеяпонский, имевший *i* и *ɪ* (ы), не имеет в этом слове *ы*? Ведь др.-япон. *kiri* «осенний туман» ~ корейск. *кыри-* «затуманиваться» <sup>14</sup>, турецк. *kır* «светло-серый». Дело в том, что глагольные корни (1-го спряжения) на *-ir-* не могли иметь перед *-r-* звук *ɪ*, так как *ɪ* был приметой срединной формы 3-го спряжения. Флексия *-i* заменялась на *-u* в заключительной и на *-uru* в определительной форме глаголов. А входящие в корень глаголов 1-го спряжения фонемы *-ir-* удерживались без изменения во всех формах. *Kiri* же («туман») — имя не отглагольное. *Kiri* «бурав; шило» (отглагольное имя от *kir-u* «резать») ~ индонез. *girik* «сверлить; буравить».

*Kar-u* «косить» ~ тагал. *karit* «серп», ст.-монг. *qadu-*, маньчж. *хаду-* «косить», корейск. *калги-* «хлестнуть; отрезать одним махом». Переднеязычный согласный находим и в индонезийском (малайском) *ketam* «жечь» (рис).

*Kor-u* «рубить» ~ удм. *кора-* «рубить» (др.-япон. *kū/kō-* «дерево»). От того же корня образован производный глагол др.-япон. *kōr-ōs-u* «убивать» ~ индонез. *gorok* «убивать; резать», монг. *xoro-yul* «убавить; убить».

*Kur-u* «долбить; выдалбливать» ~ эвенк. *кūr-* «продырявить; просверлить»; маньчж. *кору-* «выковыривать; выдалбливать; вырезать сердцевины», индонез. *korék* «ковырять; рыть; сверлить», корейск. *кырым* «посуда» (первоначально выдолбленная из дерева?). Ср. русск. *корыто* <sup>15</sup>.

Родственными между собой являются и корни глаголов *tir-u* «опадать» (о листе, снеге), *tar-u* «свешиваться; капать», *tur-u* «удить», *tōr-u* «брать; хватать; ловить» и даже *ter-u* «сиять». Общим семантическим компонентом этой группы является, мне кажется, движение сверху вниз по прямой.

Все эти корни имеют соответствия в других языках:

<sup>12</sup> Наличие перелома *i* в ряде японских слов признан японский монголовед Одава: S h. O z a w a, A comparative study of some words in Old Japanese and Middle Mongolian, Tokyo, 1968, стр. 325—338 (на япон. яз.).

<sup>13</sup> «Jidai-betsu kokugo-daijiten, jō:daihen», Tokyo, 1967, стр. 233.

<sup>14</sup> S. E. M a r t i n, Lexical evidence relating Korean to Japanese, «Language», 1966, 2 (далее — SM + № этимологии).

<sup>15</sup> Фасмер сближает *корыто* с *кора*, *корень*, но *корыто* выдалбливается из ствола дерева, а не делается из коры или корней (ср.: М. Ф а с м е р, Этимологический словарь русского языка, II, М., 1967, стр. 343). Может быть, *корыто* связано с *ковырять*, глаголом, пропущенным Фасмером, или удм. *кор* «бревно»?

*tir-u* «опадать» ~ индонез. *tjirit* «навоз; грязь; мусор» (~ япон. *tiri* «пыль» — сравнительно крупная), коми *чир[й-]* «крупяной снег; крупица», эвенк. *торока-* «пылить», корейск. *ттэр-эди-* «опадать (о листьях); осыпаться», др.-тюрк. *тоҕ/тоз* «пыль» (чередование *r/z* в тюркских языках имеет место).

*Tar-u* «быть достаточным; хватать; переполняться; капать; свешиваться», *tarumi* «водопад» (*mi* «вода») ~ тагал. *talong* «водопад», коми *тыр* «полный», *тырмыв* «хватать».

*Tur-u* «удить; подвешивать; вешать», *turi* «ужение», *turugi* «меч» ~ маньчж. *туру* «ремень или пояс, на который подвешивается меч», индонез. *tuli-tuli* «шнур» (для привязывания ножен криса к поясу), *turun* «спускаться; падать», алт. *тулуҕ* «коса» (на голове), эвенк. *тутэ-кэн* «меч». К глаголу *tur-u* весьма близки имена: *turu/tura* «тетива», *turu* «струна; лоза» (~ корейск. *cul* «string», SM 226). Японские лингвисты признают уже родство этих имен с *tura* «ряд; линия» (~ мари и башк. *тура* «прямой»), *tupa* «веревка» (~ туркм. *танап* «веревка; канат», эвенк. *суна* «поводок; ремешок»), *tuta* «плеть вьющегося растения».

*Tör-u* «брат; ловить», *töri* «добыча» > «птицы» ~ корейск. *тыл-* «брат», башк. *тороу* «держатъ», др.-тюрк. *тор* «тенета (для птиц)», айну *тарара* «держатъ» (SM 106), нивх. *то-нд* «берет».

Др.-япон. *ter-u* «сиять» ~ индонез. *terang* «дневной свет», эвенк. *дерин-* «блестеть» (РК *тыргал-* «светать»), якут. *тыры-м* «мерцающий».

Естественно, напрашивается вопрос, можно ли выделить в японских глаголах и близких к ним именах общий корень на согласный? Общим корнем можно считать лишь основу на согласный в отглагольных именах на *-i*: *am-u* «плести», *am-i* «сеть». Но явно родственное слово *ama* «рыбак» морфологически не разложимо, так как *-a* не имеет определенного значения (например, суффикса деятеля, ср. *tur-u* и *tura* «ряд», см. выше). Даже в *turu* «тетива; струна; лоза» (при сравнении с *tur-u* «удить») конечное *-u* не выделяется, так как оно имеет лишь дифференцирующую, но не морфологическую функцию, т. е. остается только фонемой, не превращаясь в морфему, в отличие от *-u* окончания глаголов (флексии заключительной формы изъявительного наклонения). В современном японском языке они различаются ударением: *tsu<sup>u</sup> ru* «удить», но *tsu<sup>u</sup> ru<sup>u</sup>* «тетива» и пр. (высокий регистр второго слога в двусложных глаголах не встречается). Таким образом, даже при полном совпадении фонемного состава глагола и имени в японском языке эти оба слова не содержат общего корня, несмотря на близость значений. Корни *tur-* и *turu* являются лишь родственными.

Есть, разумеется, и случаи образования глаголов от соответствующих имен, которые будут корнями и у глаголов с их флективным строением: *tu<sup>u</sup> na<sup>u</sup>* «веревка» — *tu<sup>u</sup> na-g-u* «привязывать»; *tu<sup>u</sup> no<sup>u</sup>* «рог» (~ тагал. *tunok* «клюв») — *tu<sup>u</sup> no<sup>u</sup> ru* «принимать острый характер; вербовать» (в древнеяпонском этот глагол не зарегистрирован) и др. Такое образование глаголов при помощи суффиксации является общепризнанным.

На основе общего значения группы родственных корней можно подойти к вскрытию внутренней формы ряда абстрактных слов, близких фонетически к конкретным. Так, *tu<sup>u</sup> ne* «всегда»: *tu<sup>u</sup> na<sup>u</sup>* «веревка» — РК, так как обозначают оба нечто протяженное — в пространстве или во времени. Одинаковое в ряде случаев выражение пространства и времени пронизывает всю лексическую (и грамматическую) систему японского языка.

Так, др.-япон. *töki* «время; час» думается, не случайно похоже на *tök örö* «место» (~ эвенк. *токор-* «витья (о дыме); кружить; обходить вокруг», горно-алт. *тегерек/төгэрөк* «круг», эрзя *тарка* «место» (метате-за<sup>3</sup>). Видимо, тут такой же ход мысли, как в русск. *круг* — *округа*. Эта идея связана и с круговоротом времени. РК *tuki* «луна»: *tuki/tuku-ru*

«истощаться; исчерпываться; истекать (о сроке); кончаться» (ср. др.-тюрк. *tol-* «становиться полной» (о луне) ~ удм. *толэзь*, корейск. *талъ* «луна»), т. е. этимологически *tukī* «луна» есть отглагольное существительное. *Tukī* ~ эским. *танк'ик'* «луна», эвенк. *ты*: «наступать» (о полнолунии), халха *дугуй*, бурят. *түхэрээн* «круг». Близким к *tōki* РК является *tōkō* «всегда» (др.-тюрк. *tūdīn* «время»: *tī*: «всегда»). Таким образом, в основе наименования луны в японском языке лежит, с одной стороны, ее круглая форма, а с другой,— способность изменяться по фазам. Есть РК и со значением «блеск»: *tuja* «глинец; блеск; лоск» (~ бурят. *туяа(н)* «луч; сияние»), *tuji* «роса» (в поэзии VIII в. о росе часто говорится как о светлом быстро исчезающем предмете,— связь с *tukī/tuku* «истощаться» ~ турецк. *tükən-* «кончаться; иссякать; исчерпываться»). От корня *tuk-* путем суффиксации образуется глагол *tuk-ar-u* «использовать; расходовать; посылать» (с поручением) и др.

Тем самым можно сформулировать положение о том, что в основе наименования одним из РК лежит не один какой-то признак, свойственный называемому предмету, а ряд признаков, общих для нескольких предметов или явлений, называемых родственными корнями. Лишь при назывании самого признака как такового остальные отступают на второй план: *tune* «всегда» сохраняет только значение протяженности во времени.

Действительно ли все «исконные» слова данного звукового типа *tVkV* не выпадают из очерченного круга значений? Нет ли в них какой-то не совместимой с ними семантики? Проанализируем другие слова этого типа для проверки этого: *tuka* «курган; бугор» (~ тагал. *tugatog* «вершина», коми *чук* «вершина горы; маленькая возвышенность»; саами *čokka* «вершина», чуваш. *ту* «холм»), япон. *tuki* «чашечка для сакэ» (~ халх. *дугараа* «круговая чаша») и др. также могут быть отнесены к корням с семантическим компонентом «круглый».

Легко заметить, что РК образуются (в отличие от производных слов) нерегулярными способами. Это происходит потому, что различия между самими предметами и процессами, которые ими называются, является большей частью уникальными. Однако там, где различия совершенно аналогичны, применяются и одинаковые средства дифференциации внутри разных групп РК:

др.-япон. <i>pitō</i> «один»	<i>mi</i> «три»	<i>jō</i> «четыре»
» <i>puta</i> «два»	<i>mi</i> «шесть»	<i>ja</i> «восемь»

При удвоении числа  $i > u$ ,  $ō > a$ . Всего здесь шесть корней, которые попарно являются родственными. Но первая пара имеет еще РК: *patu* «первый; начальный», *pata[tī]* «20» (лет). При этом более ранними гласными оказываются *i* и  $ō$ , что согласуется с положением о переломе гласного *i*. Сюда же и *puta* «крышка» (составляющая пару с тем, что накрывается).

Из приведенного материала неправильно было бы сделать вывод о том, что значения корней остаются неизменными в течение тысячелетий. На самом деле изменения происходят. Для демонстрации их характера возьмем в себе корни, означающие острое, и их соответствия в других языках. Понятие об острых предметах (костях рыб, шипах растений далее иглах, стрелах и т. п.) относится к древнейшим. Возникали ли обозначающие его корни самостоятельно в каждой языковой семье? (см. стр. 115).

Из сопоставления этих лексем видно, что значения «быть прямым (острым)» и «быть кривым (загнутым)» в ряде языков свойственны фонетически близким корням. Но нередко получается так, что семантически более близкое слово оказывается фонетически более далеким. Назовем такое явление обменом семантическими компонен-

япон. др.-тюрк. индонез.	<i>iga</i> <i>igä-</i> <i>iga</i>	«шип; колючка» «точить» «ребро»	<i>ibara</i>  япон. <i>ibar-u</i>	«колючка»  «кичиться» («грудь колесом»)	<i>abara</i>  эвенк. <i>эптылэ̄</i>	«ребро»  »
др.-тюрк. коми япон.	<i>igid</i> <i>иган</i> <i>igam-u</i>	«ложь» («кривда?») «засов» «быть искривлен- ным (изогнутым)»			турецк. <i>kaburga</i>	»
турецк. индонез.	<i>igil-</i> <i>igal</i>	«быть согнутым» «позировать; тан- цевать; важничать»	индонез. <i>imbal</i> маньчж. <i>убакчи</i>	«искривленный» «колючка»	корейск. <i>кальби</i> бурят. <i>хабирга</i> коми <i>кабыр</i> эвенк. <i>габар</i> тагал. <i>kabilā</i>	» » «кулак» «колючка» «противоположная сто- рона»
эвенк. эвенк. русск.	[x] <i>икән</i> <i>икэ̄н</i> ]- <i>игла</i>	«грудная клетка» «танцевать»	удм. <i>йыбырскы-</i>	«поклониться»		
турецк. удэ	<i>igne</i> <i>игте</i>	«игла» «игла»			тагал. <i>mag-kabilā</i>	«быть двусторонним; быть соседями» (как реб- ра?)
тюрк.	<i>ik</i>	«веретено; гвоздь» (Радлов, 7 тюрк. яз.)				
тюрк. тюрк. тюрк.	<i>ig</i> <i>äk</i> <i>äg</i>	(Радлов) «согнуть» » (Радлов) «согнуть»				
слав. лат.	<i>igo</i> <i>iugum</i>	«ИГО»				

тами между родственными корнями. Оно встречается тогда, когда различие выражается не аффиксально, а фонемой (фонемами) корня, за которыми не может быть закреплено какого-либо значения или его оттенка. Поэтому принципиально все равно, какой из РК какое именно из близких значений выражает.

Утверждая, что слав. *игла* (прямой острый предмет) является словом, имеющим родственный корень с *iga*, я основываюсь не только на указанных выше семантических параллелях, но и на материальном совпадении этих корней. Если бы древнеяпонский язык заимствовал слово *игла* из праславянского, упрощая несвойственное ему стечение согласных, в древнеяпонском получилось бы или *iga* или *ira*. Поразительно, что *ira* «колючка» тоже имеется. *Ira* ~ индонез. *ira* «долька (плода); волокно» (древесины, мяса), халх. *ир* «острие», эвенк. *ирга* «овод; слепень» (жалящий острый жалом?). Ср. еще япон. *ira-datu* «раздражаться; нервничать» ~ якут. *ир* «зацепляться; беситься».

Корню *ira* «колючка» родственны корни, обозначающие действие с острым предметом: *i-r-u* «стрелять» (стрелой) ~ эвенк. *ил*, удэ *илу* «тетива» (ср. *ir-u* «входить»), а также округлый предмет: *irö-ko/urö-ko* «чешуя» (*ko* «ребенок; мелкий предмет») — или остроконечный: *ure/ura* «верхушка (дерева)» (~ эвенк. *урэ* «гора»).

Если учесть и неполный перелом гласного *i* ( $*i > u$ ), то корню *iga* окажутся родственны *ugat-u* «пробивать; прорывать; просверливать» (~ эвенк. *убга* «нора; проход; лазейка в снегу», эским. *укита-* «пробивать; прорубать»). Сюда же и др.-япон. *ugö-gutu* «старая (с дырками) обувь».

При полном переломе ( $*i > a$ ) получаем *ago* «подбородок» (как гнутый предмет, ~ корейск. *агару* «дыра; пасть; рот», удм. *ангес* «подбородок», тюрк. *иг* «челюсть» (Радлов), *iak/äk* «подбородок» и т. д.).

Подобный перенос значений по смежности называемых предметов, в частности, частей лица, в языкознании известен.

Думаю, можно для *авара* «ребро» найти РК в *абура* «жир»: *абур-и* «жарить» (~ индонез. *аби* «зола», *абор* «жареное мясо», *етир* «масло с резким запахом», эвенк. *имрэн* «топленный жир», фин. *ihra* «жир»). Но в тех языках, где название ребра начинается с *к-*, название жира также удерживает этот согласный: турецк. *кавир-* «жарить», якут. *көбүөр* «сырое масло», корейск. *кирым* «масло». Глагол *абур-и* «жарить» имеет РК *ибур-и* «дымиться», *ibus-и* «окуривать» (~ тагал. *ib-ib* «затяжка при курении», коряк. *ипиш* «дым», эвенк. *ибгунна* «гарь», индонез. *обор* «факел»). Можно предположить, что и слав. *жар* : *жир* являются РК.

Продолжим рассмотрение других корней со значением «острие»/«закругленный»:

др.-япон.	<i>ti</i>	«крючок»	япон.	<i>toge</i>	«колючка»
др.-тюрк.	<i>tig-/tik-</i>	«шить; жалить; втыкать»	япон.	<i>tog-ar-i</i>	«острие»
			индонез.	<i>togan</i>	«бросать в цель»
			эвенк.	<i>тогозо</i>	«гвоздь»
			ногайск.	<i>тогын</i>	«обруч»
др.-тюрк.	<i>tik-än</i>	«колючка»	индонез.	<i>tohok</i>	«гарпун»
			япон.	<i>taga</i>	«обруч»
			халх.	<i>цагариг</i>	»
			корейск.	<i>the</i> (< <i>they</i> )	«край; ободок; обруч»
			тагал.	<i>tagâ</i>	«крючок»
			эвенк.	<i>тага-</i>	«зацепиться; попасть»

Эвенк. *тага-* «за(при)цепиться; попасть», *тагавкән-* «за(при, на)цепить» как бы перекидывает семантический мост между значением «колючка» и «обруч», а тагал. *tagâ* «рыболовный крючок (при *tahî* «шитье») обо-

значает предмет, и острый и загнутый одновременно. Таким образом, связь понятий «острый» и «закругленный» объясняется наличием предметов материальной культуры, обладающих обоими качествами.

РК к япон. *ta<sup>l</sup>ga<sup>l</sup>* «обруч» является *ta<sup>l</sup>go<sup>l</sup>* «деревянная бадья» (эвенк. нерч. *ta<sup>l</sup>ga* «берестяной короб»).

*Нир-и* «шить; прошивать» ~ корейск. *нуби* «стежка; стегание» (одеяла и т. п.), нивх. *нух* «игла», эвенк. *луна-* «вонзить», удэ *ликра-* «напороться; наколоться», *lifat* «наколовшись так, что острый предмет остался в теле», эским. *нугун* «ушко, прорезь, петля»; «иголка для нанизывания», *нува-ка* «продевает».

При широком сравнении языков дальневосточного ареала надо иметь в виду, что японский при переходе от протояпонского к древнеяпонскому утратил конечнослоговые согласные и упростил все стечения согласных в слове. Упрощения стечений согласных произошли и в других языках. Бывает так, что один язык удерживает из бывшего стечения не тот согласный, что другой. Восстановление праформы может быть достигнуто сравнением с тем языком, который удерживает оба согласных (большей частью это будут тунгусские языки, или же сравнением с корейским алфавитным письмом, в котором продолжают отмечаться и те согласные, которые уже реально не произносятся. Сравнивая др.-япон. *нир-* с удэ *ликра-*, мы опираемся на форму близкородственного удэ эвенкийского языка, в котором *-k-* тоже нет. О том, что часть др.-япон. *n-* восходит к *\*l-*, я уже писал («Об урало-алтайском слое...», стр. 125), но слишком бегло. Ср. РК *ник-* «пронзать» с его соответствиями: ~ маньчж. *нука-* «колоть; втыкать; вонзять», эвен. *нүкй* «стрела», эвенк. *лүкй* «стрела», манси *ley, li,* коми *луй-* «стрелять» (ср. и фин. *niola* «стрела», где *-l-*, впрочем, я не берусь объяснить).

Семантических и фонетических препятствий для сравнения со слав. *лѣкъ*, культурным словом, обозначающим согнутый предмет, из которого выпускают стрелы, как будто, нет.

Если предположение о происхождении части др.-япон. *n-* < *\*l-* правильно, то должны быть еще РК на *ни-*, находящие соответствия в других языках, в том числе и в тех, которые удерживают *l-*, как например, эвенкийский, удэ, с одной стороны, и тагальский, малайский, с другой. Действительно, такие корни есть: др.-япон. *ник-и* «вытаскивать; выдергивать извлекать» (действие обратное «пронзать»). Правы те лексикографы, которые считают «пронзать» и «выдергивать» двумя значениями одного слова в японском языке) ~ эвенк. *лугут-* «выдернуть; вытащить», удэ *luktag-* «извлекать; выдергивать обратно»; непереходно: эским. *нук/нуг-ым* «нерпа, высывающаяся из воды», *нуг'аг'ук* «высовывается».

Другой РК: *пиг-* «снимать» (платье, обувь) ~ эвен. *нук-а-* «снять; раздеться; разуться», эвенк. *лук-* то же, эским, *нуга-к* «каменный скребок», удэ *luktag-* «снимать» (одежду, обувь, т. е. для удэ это другое значение слова «выдергивать»), тагал. *lugas* «оторвавшийся, опавший», *lugon* «выпадение волос» (соответствует японскому производному глаголу *nikēl/niku-ru* «выпадать» — о волосах), ст.-монг. *ničü-gün* «нагой». Производный глагол *пиг-ур-и* «вытирать» [~ тув. *нугу-* «мять; массировать; месить», тагал *luglog* «выполосканный» (редупликация)] сейчас воспринимается как РК, так как глаголообразующий формант многократного вида «гласный (подвергавшийся уподоблению корневому) + *-p-*» (*tatak-u* «стучать» — *tatakar-u* «сражаться») давно уже стал непродуктивным, *-p-* в новояпонском языке выпало, произошло переразложение: в современном языке глагол делится на корень *пигу-* + *и* (флексия).

Корни с теми же согласными, но с другими гласными имеют близкие значения: *пök-и* «отходить в сторону» ~ маньчж. *нуктэ-* «кочевать; пересе-

ляться», эвенк. *нулгэй* «кочевка», ст.-монг. \**negü-* «кочевать», тагал. *luko* «прыжок», корейск. *поh-* «класть» (япон. *poki* «стреха»). Острый предмет — *pogi* «острая кость» > «ость». Производными от *pök-u* глаголами являются *pök-ör-u* «оставаться», *pök-ös-u* «оставлять» (~ маори *поho* «сидеть; жить; оставаться», эвен. *нэку* «временно оставленное имущество»).

Адъективным РК является *naga-* «длинный» (~ корейск. *нык* < *nilk-/nalk-* «старый», *nil* «всегда», индонез. *landung/landjar* «длинный»).

Вербальным корнем со значением движения обладает глагол *nigë/ /nigu-ru* «бежать» (~ эским. *ныгуг'ак'а* «отходит; отъезжает»; эст. *nihku* «сдвигаться; перемещаться», др.-тюрк. *jügür-* «бежать», ненецк. *нибте-* «освободиться; спастись», индонез. *njit* «убирайся!», эвенк. *нибэ-* «убежать», монг. \**negü-* «кочевать»), который в производных формах меняет *i* первого слога на *ö*: *nög-ar-e/nög-ar-u* «мочь убежать; спастись бегством»; *nig-as-u/nög-asu-* «дать убежать» (~ венг. *nögat* «подгонять; торопить»).

Зная, что и.-е. \**tek<sup>u-</sup>* имеет два значения: «течь» и «бежать» (ср. русск. *теку* и укр. *тікаю* «убегаю»), мы в праве искать РК для япон. *nigu-ru* со значением «течь». Это будет *nagare/nagaru-ru* «течь», *nag-as-u* «пускать по течению» [~ с.-х. \**nhr* «течь, река», и.-е. \**nā-* (< \**neH<sub>2</sub>*) «течь; влага»]. Большинство тюркских языков утратило древнее \**n-*, или заменило его на *j-* (татар. *азу* «течь; течение», горно-алт. *агын* «течение»), сохраняя общие с японским суффиксы переходности и непереходности глаголов; татар. *аг-ар* «проточный; текущий», но горно-алт. *аг-ыс-*, кирг. *аг-ыз* «пускать (воду); сплавлять; пускать по воде»; (тагал. *agos* «течение», возможно, имеет *-g-*, чередующееся в малайских языках с *h* или *R*: индонез. *агис* «поток; течение»).

Стало быть, японский и ряд других языков дифференцирует несколько движение по наклонной плоскости, связанное с водой и не связанное: япон. *надаре* «лавиная» (~ эвенк. *надай-* «попасть; удариться; наскочить», халха *нур* «обвал») и *nage/nagu-ru* «бросать» (~ эвенк. *навкән-* «попасть в цель»), *nagur-u* «ударять» (~ фин. *паката* «бросать; ударять»). С другой стороны, от *nagare* «течение» происходит суффикс одновременного деепричастия *-nagara* (~эвен. *-нйкән/-нйкән* суффикс одновременного деепричастия) — ср. русск. *течение* и *в течение*.

С понятием движения (полужидкого) вещества вниз связано и значение др.-япон. *nige-kami* «жевать жвачку» [~ эским. *ныг'ак'ук'* «ест», тюрк. *ныһа* «набивать во что» (Радлов), корейск. *ныгыс-* «сыт», нивх. *ныүс* «зуб». А с «жевать» связано «сжимать»: япон. *nigir-i* «схватить; сжимать рукой», *nigir-i* «горсть» [~ халх., эвенк. *нидурга* «кулак», корейск. *ыгыри-* «жать; сжимать (рукой)», казах. *жудырык* «кулак», татар. *йөдөрөк* «кулак», но *ныгыту* «укреплять», нен. *нылы* «сила», айну *пикаг* «лестница» (из бревна с зарубками), кхмер *нык* «плотный; тесный; прилегающий один к другому»]. Производными в этимологическом плане глаголами от *nig-* можно считать *nig-ör-u* «замутиться», *nig-ös-u* «мутить» (~ *Мо jiyura-* «мешать; месить; разводить (краску)», Ozawa, 270).

РК к *nag-ar-* «течь» можно считать *пак-и* «плакать; петь» (о птицах), общее название звуков, издаваемых животными (~ корейск. *ныкки-* «рыдать», индонез. *ngihngih* «рыдать; плакать навзрыд», *nguk* «приглушенное рыдание; всхлипывание», удм. *ныксы-* «скулить; визжать; хныкать; ныть», тюрк. *йыс* «плач»; ср. чуваш. *макър* «рыдать»). Прямым соответствием является и слав. *плак-* (сочетание согласных упрощается, начальному *l-* ~ япон. *n-*). Но *namida* «слезы» не происходит из *пак-* + *midu* «вода» или из *та-* «глаз» + *midu* «вода» (тогда было бы *tamidu*). К тому же в древнеяпонском это слово звучало *namita* (~ эвенк. *инаму-* «плакать», *инаму-кта*, солон. *нама-кта*, нанай *нямокта* «слеза»). Суффикс тунгусских языков *-кта* обозначает «результат действия» и «что-либо мелкое,

встречающееся в больших скоплениях»<sup>16</sup>. Поскольку начальное *u-* отпадает и в нескольких тунгусских языках, можно считать, что в протояпонский язык оно могло и не попасть.

Есть и япон. *n-* < \**d-*. Поскольку в древнеяпонском языке протояпонские начальные звонкие уступили свое место другим звукам, \**d-* > или в *t-*, или в *n-*: *nigi-* «теплый (недостаточно горячий)»; слабый (об огне) ~ корейск. *нуро-пунта* «пригорать», *нурэнъ* «светло-желтый», халх. *нурма* «горячий пепел; зола», но эвен. *дул-* «теплеть», монг. *dulaga-* > халх. *дулаан* «теплый» (о климате, одежде, но не о жидкостях)<sup>17</sup>. Р. А. Миллер связывает эти слова на *д-* с япон. *ju* «теплая вода»<sup>18</sup>, но *ju* ~ др.-тюрк. *ju-* «мыть», *jul* «ручей», коми ю «река», а тунгусские и монгольские слова не могут относиться к жидкостям и означают «тепленький», а не «горячий». Нельзя согласиться и с его сопоставлением япон. *jama* «гора» ~ эвенк. *dawakīt* «горный перевал», монг. *daba-* «переходить; перелезть», так как эти слова и фонетически и по значению ближе к др.-япон. *tamukē* (> *tau-ge* > *tōge*) «перевал», если учесть еще халха *дамжи-х* «переходить; перебираться». Японское же *jama* «гора» ~ эвенк. *яне* «сопка; безлесная гора», турецк. *yamaç* «склон горы», коряк. *яңьяңай* «гора» (редупликация). Как ни соблазнительно найти соответствия японским числительным, но если япон. *jō* «4» ~ общетунгус. *dögin*, эвенк. *дыгин*, монг. *dörben*, тюрк. *tört* «4», придется признать слишком большое сокращение этого числительного на японской почве. Еще сомнительнее сопоставление *irō* «цвет; цвет лица» с монг. *düri* «внешний вид; облик», тюрк. *jüz* «лицо». Во-первых, тут предполагается незафиксированная памятниками праформа \**jirō*. Ее можно было восстановить при наличии перелома *i* типа *jurō*. Но такие факты отсутствуют. Поскольку не всякое *i-* восходит к \**ji-*, мы скорее можем сопоставить *irō* с индонез. *iram* «поблекнуть; выцвети; полинять», коми *рём* «цвет; окраска», бурят. *ира-гар* «пестрящий; мелькающий». Кроме того, *irō* имеет и второе значение «любовь» ~ тагал. *irög* «возлюбленный; милый». Приходится отвергнуть и мнение Одзава, который сопоставляет \**jirō* с монг. *jisün* (> халх. *зус[эн]* «масть; вид; цвет лица»), при условии, что *jisün* < \**jirsün*. Однако предположение о наличии в дописьменном монгольском *-r-* в этом слове ничем не подкрепляется. Таким образом, соответствие япон. *j-* ~ алт. \**d-* остается пока под вопросом.

Но соответствие япон. *n-* ~ алт. *d-* подтверждается: так, япон. *narab-i* «ряд», *narab-u* «стоять в ряд» (~ корейск. *нарани* «ровно; в струнку; как по линейке», индонез. *laras* «ряд», яван. *lark* «прямой как стрела») сравнивают с монг. *дарауа* «после; затем», халха *дараа-ч* «следующий» (Одзава, 265). Правильность этого сопоставления можно подтвердить эвенкийским *даран* «рядом; около, ряд» (монгольский корень обозначает ряд во времени, японский, корейский и эвенкийский — в пространстве).

*Naras-u* «выравнивать; сглаживать» ~ индонез. *darat* «суша; берег» (сопоставление С. Мураяма), эвенк. *наптама* «плоский; ровный» (о земле), монг. *дару-* «давить, жать; подавлять» (Одзава, 266).

Поскольку «исконные» японские имена почти лишены словообразовательных аффиксов, для дифференциации РК были использованы другие средства, в том числе и место ударения: *kaḡ mi* «верх; верховья», *kaḡ mī / kati-* «бог» (в современном японском омонимы): *kaḡ mi* «волосы» [~ кирг., осм. *каба* «мохнатый» (Радлов), фин. *kalki* «волос», индонез. *gombak* «хохолок; челка» (лошади), др.-греч. *кóте* «волосы» (> русск. *комета*)].

<sup>16</sup> «Эвенкийско-русский словарь», сост. Г. М. Василевич, М., 1958, стр. 764.

<sup>17</sup> «Монгольско-русский словарь», под ред. А. Лувсандэндэва, М., 1957.

<sup>18</sup> R. A. Miller, The Japanese language, Chicago, 1967, стр. 70.

*Kami* «верх; верховье» (~ нивх. *xemi* «верховье») сопоставимо с финскими названиями «больших водных систем, которые не могут быть объяснены на основе лексики финских, саамских или индоевропейских языков... Так, названия таких географически близких рек, как *Kemi(joki)* и *Simo(joki)*, встречаются довольно часто [и] на севере СССР. Возможно, эти гидронимы сопоставимы с древним тюркским названием Енисея — *Ket* и названием его крупного западного притока *Sym*, напоминающим *Simo*»<sup>19</sup>.

Это сопоставление, безусловно, правильно. Но следует сделать уточнение: *Käm* — название не всего Енисея, а, видимо, только его верховьев, где и жили древние тюрки. Удм. *Кама* — название реки до впадения в Волгу, т. е. тоже верховьев. Современная река Кемь является верхним притоком Енисея, а Сым — нижним (~ япон. *simo* «низ; низовье», тагал. *silong* «подвал»). Правда, в Финляндии и на севере СССР есть и реки Кемь, впадающие в море. Следовало бы проверить, не распространилось ли название верховьев на всю реку в результате забвения прежней внутренней формы таких названий. Каково географическое соотношение рек *Kemi* и *Simo* (можно ли считать *Simo* более «нижними» реками или притоками?) в Финляндии? Как бы то ни было, М. Ряснен правильно искал отгадку на Востоке. *Simo* «низ» — омоним *simo* «иней». РК — *sima* «остров» (расположенное внизу, у воды), *siro-* «белый», *simi* «просачиваться» и т. д.

Сокращая большой фактический материал, для которого в этой статье не нашлось места<sup>20</sup>, отвечу еще на два вопроса: 1) не замечал ли кто-либо из японских ученых наличия связи между разными корнями и какие объяснения этому явлению были даны; 2) какие возражения могут быть сделаны (и уже делаются) по поводу далеко идущих выводов из представленных соображений?

Еще в XVIII в. — эпохе расцвета японской филологии — возникла этимологическая школа под девизом *itjion-itjigi* «один слог — одно значение», утверждавшая, что все исконно японские слова с близким звучанием близки и по значению. Труды сторонников этой школы продолжали выходить и в XX в., но проникновение европейской науки в Японию заставило большинство лингвистов (если не всех) отвернуться от подобных идей. Одной из причин была кардинальная ошибка этой школы, — поиск значения в каждом открытом слоге (под влиянием слогового письма), между тем как большинство японских корней двусложно или трехсложно (а из односложных корней большинство кончается на согласный, как в глаголах 1-го спряжения).

Лишь Андō Масацугу (1878—1952) ближе всех подошел к пониманию связи между РК. Видный лингвист и филолог (отстаивавший, в частности, происхождение современного *h-/F- < p-* путем сравнения с корейскими и рюкюскими словами, удерживающими *p-*), Андō, отделив от корней суффиксы и редуцированные слоги (например, в *to-domaru* «останавливаться», *tu-duki* «продолжаться»), сопоставил оставшиеся «ядра» одно с другим и пришел к выводу, что «в японском языке есть очень много слов, дифференцированных различием в гласных»<sup>21</sup>: *mata* «опять», *muta* «вместе», *mitu* «наполняться», *mutu-bi* «дружить»; *kami* «кусать; грызть», *komi* «проса-

<sup>19</sup> М. Ряснен, Об урало-алтайском языковом родстве, ВЯ, 1968, 1, стр. 49.

<sup>20</sup> См. также: Н. А. Сыромятников, О лексике, общей у японского языка с индонезийским и тагальским языками, «Вопросы японской филологии», М., 1970; е го же, Теории изосемантических рядов и родственных корней как необходимые методы для этимологии японского языка, «Studies in general and Oriental linguistics», Токуо, 1970; е го же, Методика сравнительно-исторического изучения общих морфем в алтайских языках, «Проблема общности алтайских языков», Л., 1971.

<sup>21</sup> A n d ō M a s a t s u g u, Kodai-kokugo-no kenkyū, Тōкyō, 1924, стр. 225.

чиваться», *kuti* «черпать, сплести», *koto-ru* «сидеть взаперти»: *kuti* «давать» (в *namida-gumi* «прослезиться»), *koto-goto* «попеременно» (там же, 226). «Это не значит, — продолжал Андō, — что я выбрал в этих примерах что-то особенно выдающееся по общности. Какие бы слова ни взять, если немного поразмыслить, нетрудно будет открыть подобного рода общности». Тем самым Андō провозгласил всепроникающую роль родственных корней в японском языке. Однако к сожалению, современники не оценили этого открытия. В статье «Корень слова» в «Словаре японского языковедения»<sup>22</sup> Сакакура Ацуёси пишет: «Можно предположить, как говорит Андō Масацугу, корень \* $\sqrt{t-m}$  в словах *tomu* „останавливать“, *tami* „копоть“, *tumi* „наваливать“, но доказать это вряд ли возможно»<sup>23</sup>. Но Андō вовсе не утверждал, что японский язык имеет только согласные корни. Как пишет В. М. Солнцев, фонемы (в том числе и гласные) не только дифференцируют значение, но и участвуют в его выражении<sup>24</sup>. Хотя Андō писал свои примеры латиницей, он не ставил гласные в скобки так, как редуцированные слоги. Видимо, Сакакура под сближением сходных слов понимал нахождение в них общего корня: «Только о японских числительных можно сказать, что то, что относится к удвоению числа, базируется на том же корне, как в *pi* „1“ и *pu* („2“), *mi* („3“) и *mu* („6“), *jo* („4“) и *ja* („8“)»<sup>25</sup>. Как показано выше, здесь три пары РК.

Доказать же правоту Андō, сближавшего (но не отождествлявшего!) РК, можно путем сопоставления с теми же корнями в других языках: *kat-и* «кусать; грызть; жевать» ~ маньчж. *камни-* «смыкать (глаза); сжимать» (зубы для разжевывания откусанного), татар. *кабу* «есть-пить; кусать»; тохар. *А kat* «зуб», индонез. *katat-kamit* «шамкать; шевелить губами», якут. *кэмүлдь* «грызть зубами кость; обгладывать», корейск. *ккэмүль-* «грызть»; *ки<sup>Г</sup>т-и* «сплести» ~ корейск. *ккуми-* «украшать; шить», чуваш. *кум* «снова нитки», удм. *ку-* «ткать; плести», халх. *хуми-х* «складывать; с(за)верстывать», индонез. *kumpar* «мотать; наматывать» (на катушку), тагал. *kitot* «одеяло» (япон. РК, например, *ки<sup>Г</sup>то* «паук»); РК можно считать *ки<sup>Г</sup>ти* «черпать»<sup>26</sup> ~ халх. *хумх* «кувшин», татар. *чуму* «окунуться», *чумыру* «черпать», индонез. *kumbah* «мыть», *kitir* «полоскание» (для рта), корейск. *кам-тта* «мыть». Эти и подобные им сопоставления показывают, что различия между РК восходят даже не к протояпонскому, а минимум к праалтайскому языку. Но это не делает их более далекими один от другого, так как они составляют определенную систему, охватывающую если не все, то по крайней мере подавляющее большинство корней.

В последние годы РК найдены и в других языках Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Так, в кхмерском языке «одним из характернейших и широко распространенных способов словообразования является фонетическое щепление, т. е. словопроизводство путем не обусловленного строгими правилами варьирования различных составляющих слова на фоне какого-либо одного общего элемента»<sup>27</sup>. Так, с участием согласных

<sup>22</sup> Подробнее об этой энциклопедии см.: Н. И. Ф е л ь д м а н, Японский «Словарь отечественного языковедения», ВЯ, 1956, 4.

<sup>23</sup> «Kokugogaku-jiten», Тōkyō, 1955, стр. 440.

<sup>24</sup> См. В. М. С о л н ц е в, Язык как системно-структурное образование, М., 1971, стр. 115.

<sup>25</sup> «Kokugogaku-jiten», стр. 440.

<sup>26</sup> Регулярность семантического развития «оплетенное окруженное» > «глиняный сосуд», установленная О. Н. Трубачевым (в книге «Ремесленная терминология в славянских языках», М., 1966), прослеживается и в японских РК — *ки<sup>Г</sup>ти* «плести»: *ка<sup>Г</sup>те<sup>Г</sup>* «кувшин»: *ки<sup>Г</sup>ти* «черпать».

<sup>27</sup> Ю. А. Г о р г о н и е в, Грамматика кхмерского языка, М., 1966, стр. 69.

*k* и *ŋ* образуется, по Ю. А. Горгониеву, 24 слова, каждое из которых выражает в том или ином аспекте понятие «кривой»<sup>28</sup>: *кв:нг* «круг; кольцо», *кнгрк* «изогнутый», *кнгок* «крючкообразный», *кнголь* «нагнувшийся» и т. п. К тому же к «звуковому типу»<sup>29</sup> относятся японские слова *kog-u* «грести», *kogot-u* «наклоняться; сутулиться», *kaŋat-u* «гнутьяся», *kagi* «крюк» (~ якут. *köjō* «деревянный крюк»), *kugi* «гвоздь», *kigur-u* «проходить нагнувшись; пролезать под» (корейск. *кубури-* «сгибаться», чуваш. *кукър-какър* «искривленный», удм. *копырес* «согнутый») и др.

В нивхском языке близость разных корней со сходными значениями и фонетическим составом обнаружена В. З. Панфиловым: *толф* «лето»: *т'улф* «зима»: *тилф* «осень»; *лах* «туча»: *лых* «погода; дождь»; *н'ах* «глаза»: *н'их* «слезы»; *ир* «мать»: *эр* «отец»: *ар* «самец»; *алф* «боковая часть носа лодки»: *арф* «борт лодки» и т. п. Значит, «внутренняя флексия исторически использовалась в нивхском языке как самостоятельный способ словообразования существительных»<sup>30</sup>. Думаю, однако, что тут тоже РК, а не «внутренняя флексия».

В языке чжуан (одном из тайской семьи) А. А. Москалев обнаружил «родственные морфемы», которые могут отличаться одна от другой: 1) тоном (тонов в этом языке шесть), 2) конечным элементом слога (обычно при тономном различии), 3) ядром слога: *кеŋ*<sup>1</sup> «твердый» (вообще): *кен*<sup>5</sup> «твердый» (о земле, дереве); *квен*<sup>6</sup> «плеть» (ползучего растения): *квеŋ*<sup>4</sup> «моток (бамбукового лыка); петля; окружность»: *квеу*<sup>4</sup> «накручивать» (уши): *кwa*<sup>4</sup> «обходить; огибать», *кwaŋ*<sup>6</sup> «окружность»: *кwaŋ*<sup>2</sup> «обходить; огибать»: *кwiŋ*<sup>2</sup> «маленькое железное кольцо»: *кwiк*<sup>3</sup> «кружок; моток»; *кiт*<sup>2</sup> «ямка»: *кем*<sup>6</sup> «впадина»<sup>31</sup>.

Результаты исследования: 1. В целом ряде языков несколькими учеными обнаружены цепочки корней, близких по звучанию и значению. Тем самым открыт один из основных методов словообразования — деформация корня по уникальной модели для получения наименования нового предмета или явления.

2. В древнеяпонском языке, по крайней мере, обнаружена система, состоящая из групп родственных корней, каждый из которых обладает частью семантических компонентов других РК той же группы. Так, *sima* «остров»: *simo* «низ»: *siro-* «белый»: *sim-ar-u* «быть сжатым»: *simer-i* «сырость» и др. принадлежат к одному звуковому типу; *sima* «остров» это предмет, находящийся внизу, у воды, сжатый (водой) со всех сторон. Но *sima* «остров» уже не имеет семантического компонента «белый», которым обладает *simo* «иной» (сырой предмет, выпадающий вниз), РК к которому будет *sami-* «холодный» и т. д.

*Kimo* «туча» (темный предмет, находящийся сверху): *kuro-* «черный»: *kami* «верх»: *kami* «волосы» (у японцев черные, растущие на голове, т. е. наверху): *kita* «медведь» (обросший черными волосами) и т. д.

3. Большому количеству РК древнеяпонского языка найдены соответствия в алтайских (включая корейский), малайских, угро-финских и меньшему количеству — в индо-европейских языках, эскимосском, нивхском и кхмерском. При этом соответствия имеет, как правило, каждый из РК данной цепочки: *sima* «остров» ~ корейск. *sam* (< ср.-корейск. *syŋt*, SM 117) «остров», айну *suta* «камень» (диалектн. *shuma*), эским. *сяма* «там (внизу, у моря)», туркм. *сомал-* «высовываться» (в том числе и из воды), халха *шумба-х* «вырять» и т. д. Но по значению параллель в другом языке

<sup>28</sup> Там же.

<sup>29</sup> Термин В. И. Абаева. См. его «Историко-этимологический словарь осетинского языка», I, М.—Л., 1958.

<sup>30</sup> В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, I, М., 1962, стр. 73.

<sup>31</sup> А. А. Москалев, Грамматика языка чжуан, М., 1971, стр. 82—83

может отвечать лишь некоторым признакам предмета, называемого японским словом.

4. Поскольку фонема, которая отличает данный корень от РК, не является морфемой, т. е. не обладает каким-либо значением самостоятельно, — два РК одного и того же языка могут обменяться семантическим компонентом, или семантический компонент может перейти от одного РК к другому без компенсации. Если с парой соответствующих РК в родственном языке подобных изменений не произошло, данный корень в первом языке фонетически будет больше похож на один корень родственного языка, а семантически — на другой: япон. *na* «овощи»: *nama-* «сырой», корейск. *nal-* «сырой»: *namul* «овощи» (сырые, зеленые, растительные предметы).

Видимо, можно предполагать, что в дописьменный период (в глубокой древности) корни двух языков, более близкие фонетически, были ближе и семантически.

Какие возражения могут быть сделаны против предложенных положений? Могут сказать, что сходства между словами японского языка и других могут быть случайными, что близость между РК самого японского языка не так уже велика и тоже может быть случайной. Но именно проверка по ряду языков является лучшим доказательством того, что такая близость не является случайной ни в рамках самого японского языка, ни вне его <sup>32</sup>.

Нахождение общих слов в языках, явно не родственных, может объясняться не только древним заимствованием, но и наличием некоторого числа дескриптивных корней, обозначающих сходные (большей частью по форме) предметы сходным образом в самых различных языках, что подметил и В. И. Абаев. Значит, условность, немотивированность первоначальных наименований сильно преувеличивается.

<sup>32</sup> См.: А. Б. Долгопольский, Гипотеза древнейшего родства языковых семей северной Евразии с вероятностной точки зрения, ВЯ, 1964, 2, стр. 53.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

## РЕЦЕНЗИИ

**В. З. Панфилов.** *Взаимоотношение языка и мышления.* — М, изд-во «Наука», 1971 232 стр.

Книга В. З. Панфилова посвящена одной из центральных проблем теоретического языкознания — проблеме соотношения языка и мышления. Эта проблема в то же время является одной из «вечных» философско-языковых проблем. Как известно, соотношение вещи, мысли (смысла) и звука интересовало еще античных философов. В разные периоды развития знаний о языке, в разных школах и направлениях языкознания эта проблема то выдвигалась на первый план, то вообще снималась, получала различные решения — и остается до сих пор одной из основных проблем теории языка в современной лингвистике.

В подходе к этой проблеме общим для подавляющего большинства советских ученых, как это правильно отмечает В. З. Панфилов, является тезис о неразрывной связи, единстве языка и мышления. Однако точки зрения ученых значительно расходятся при раскрытии конкретного содержания этого тезиса, а также при конкретном освещении различных сторон данной проблемы.

Книга В. З. Панфилова развивает одну из точек зрения, существо которой можно кратко охарактеризовать словами самого автора: «Язык и мышление образуют такое диалектически противоречивое единство, в котором язык, при определяющей роли мышления, представляет собой относительно самостоятельное явление, в свою очередь оказывающее определенное обратное воздействие на мышление» (стр. 3).

В этой книге подведены итоги многолетней работы автора в области данной проблемы, обобщены и развиты взгляды, известные из его предыдущих работ, сформулированы некоторые новые положения и выводы. Монография состоит из «Введения», двух основных частей: «Язык и познание», «Грамматика и логика» и краткого «Заключения».

Концепция автора представляется хорошо продуманной и в целом аргументированной, однако в ряде моментов спорной. Думается, что идеи автора найдут как сторонников, так и оппонен-

тов, тем более, что позитивное изложение материала во многих местах сопровождается довольно острой полемикой с различными авторами. Полемическая заостренность отдельных мест работы обусловлена крайней сложностью и спорностью многих разбираемых вопросов. В монографии освещаются различные стороны общей проблемы языка и мышления. Правда, степень разработанности отдельных вопросов неодинакова.

Сложность проблемы взаимоотношения языка и мышления обусловлена прежде всего самой тесной связью языка и мышления. Процессы мышления, совершающегося в головах людей, не поддаются объективному наблюдению «в чистом виде». Мышление изучается прежде всего через язык (говоря точнее, через его применение, т. е. речь), который, по выражению В. З. Панфилова, является «средством осуществления и существования абстрактного, обобщенного мышления», а также по поведению людей и путем самонаблюдения. Поскольку на мышление по необходимости смотрят через язык, постольку мышление всегда предстает отлитым в те или иные языковые формы. Рассмотрение взаимоотношения двух явлений, одно из которых наблюдается только через призму другого, — задача исключительной теоретической сложности. Сложность этой задачи усугубляется тем, что исторические процессы возникновения и становления мышления и языка, в ходе которых складывалось единое, интернациональное по своему существу мышление и разнообразие национальные языки, также не могут быть непосредственно наблюдаемы и реконструируются на основе косвенных данных путем теоретических рассуждений. Оценка данных языков так называемых «первобытных» народов как непосредственно отражающих процессы генезиса языка ведет к ошибочным заключениям, поскольку и мышление, и язык этих народов представляют собой сложный продукт развития, длившегося сотни тысяч лет, и не отражают ранних этапов генезиса мышления и языка (хотя соответствующим

щие данные важны для изучения исторических процессов развития языка и мышления).

На примере развития систем счета и истории образования числительных в нивхском и других языках В. З. Панфилов убедительно показывает ошибочность заключений Л. Леви-Брюля об изначальности так называемого конкретного счета. Анализируя числительные разных систем в нивхском языке, автор заключает, что «при отличии соответствующих числительных этих систем друг от друга они имеют в своем составе общие собственно количественные обозначения...» и что «...есть все основания утверждать, что в прошлом в нивхском языке счет любых предметов велся при помощи одних и тех же числительных, каковыми являлись собственно количественные обозначения, что современный конкретный счет, т. е. счет при помощи отличающихся друг от друга соответственно характеру предметов счета числительных, возник как вторичное явление по отношению к этому первому счету, т. е. к счету при помощи собственно количественных обозначений» (стр. 32). Вывод автора можно подкрепить ссылкой на китайский язык, в котором так называемый предметный счет достиг в исторически непосредственно доступное наблюдению время. Письменные памятники китайского языка конца I тыс. до н. э. обнаруживают только абстрактные числительные, не осложненные показателями «предметного» счета.

Проблему генезиса мышления и языка В. З. Панфилов освещает на большом и разнообразном материале, опираясь на важнейшие положения философского материализма. Автор раскрывает известное марксистское положение о формировании человека (и соответственно его мышления и языка) в процессе труда, носящего всегда общественный характер (по выражению В. З. Панфилова: «н е п о с р е д с т в е н н о коллективный характер» или «о п о с р е д о в а н н о общественный характер» (стр. 25). Автор показывает в этой связи, что изготовление любого, даже самого примитивного орудия... могло иметь место только в том случае, если первобытный человек был уже способен предвидеть свои будущие трудовые действия, для выполнения которых было необходимо это орудие, следовательно, также установить те общие моменты, которые присущи отличающимся друг от друга трудовым актам, построенным на использовании этого орудия. Таким образом, акт изготовления орудия мог быть совершен только при наличии возможности отхода от непосредственного созерцания действительности» (стр. 27—28). Поскольку осознание результата труда есть проявление абстрагирующей деятельности ума, постольку представляется оправданной полемика

автора против положения о существовании в «чистом виде» особой чувственно-наглядной стадии развития мышления первобытного человека. По-видимому, о человеке и о человеческом мышлении можно говорить, только допуская существование у наших далеких предков хотя бы элементарных форм абстрактного, обобщенного отражения действительности.

Автор не отрицает наглядно-образной стороны в мышлении как первобытных людей, так и современного человека. Вопрос о месте и роли наглядно-образного аспекта в мышлении в целом решается автором убедительно. Анализируя проблему «соотношения языка (материальной языковой оболочки) с абстрактным содержанием мышления, с одной стороны, и с чувственно-образным, с другой...» (стр. 51), автор приходит к заключению, что «чувственно-наглядный образ представления, в отличие от понятия, не может быть передан непосредственно (разрядка наша.— В. С.) при помощи языка (слова) одним членом коллектива другому его члену» (там же). Чувственно-наглядные образы могут лишь сопровождать значения слов. Это утверждение подкрепляется далее интересным анализом так называемых «изобразительных» слов в ряде языков, которые, как показывает автор, несмотря на их специфику «возбуждения у собеседника конкретного чувственного образа»... (стр. 58), как и другие знаменательные слова, обладают функцией обобщения.

Нельзя не согласиться с автором в том, что для закрепления абстрактных форм отражения действительности, т. е. понятий, необходимы определенные материальные (звуковые) формы, т. е. язык, и что процесс становления собственно человеческого мышления не отделим от становления языка. Это полностью соответствует приводимому автором марксистскому положению о том, что язык так же древен, как и сознание.

Автор в этой связи далее пишет: «С позиций философского идеализма, отрицающего обусловленность мышления определенными материальными процессами, происходящими в головном мозгу, а также обусловленность и вторичность содержания нашего сознания по отношению к объективной действительности, связь сознания, мышления с языком также не рассматривается как необходимая. Хотя представители этой точки зрения и признают, что язык, действительно, используется в процессе мышления, но, по их мнению, связь между языком и мышлением не является органической и мышление может протекать и в чистом виде, без помощи языка» (стр. 16). Здесь автор делает отсылку к работе Ж. Вандриеса «Язык» (М., 1937, стр. 71). На соответствующей странице у Вандриеса читаем: «Конечно, совершенно верно, что

мы не выражаем звуками всех наших представлений. Размышление, например, не предполагает работы органов, производящих звуки, но размышление есть внутренняя речь, в которой фразы сцепляются, как и в речи произносимой. И каждая фраза размышления заключает в себе (в потенции) все артикуляции произносимой речи. Мысль продвигается, опираясь на звуки, даже если звуки и не произнесены... Дело психологов решить, в какой мере возможность фонетического осуществления необходима для внутренней речи. Эта необходимость основана, без сомнения, на привычке и не требуется самой природой. И далее: «Форма, которой мы пользуемся, закрепощает нашу мысль в такой степени, что последняя не имеет более самостоятельного существования, не может более отделиться от звуков, ее материализирующих, или же от возможности звуков, если материализация не осуществилась на самом деле» (стр. 71). Вандриес здесь затрагивает проблему внутренней речи, подчеркивая теснейшую связь внутреннего размышления со звуковой речью.

С моей точки зрения, философский идеализм прежде всего связан, как правильно отмечает В. З. Панфилов, с допущением мысли без мыслящего мозга и с отрицанием обусловленности и вторичности содержания сознания по отношению к объективной действительности. Что касается допущения возможности мыслительных процессов в голове без их внешнего выражения с помощью языка («мы не выражаем звуками всех наших представлений», «размышление... не предполагает работы органов» речи — Вандриес), то такое допущение может быть ложным, ошибочным, но оно само по себе не есть проявление философского идеализма. Наоборот, в рамках философского идеализма, допускающего существование мысли без мозга, возможно признание единства языка и мысли<sup>1</sup>.

Как известно, некоторые советские исследователи допускают, по крайней мере на ранних этапах развития человечества, возможность сознательных мыслительных процессов в головах людей без их обязательного выражения в языке (до языка)<sup>2</sup>. Дело специальных исследований решить, в какой мере и какие именно формы мышления могут протекать

в мозгу без непосредственной опоры на язык.

Наглядно-чувственные образы, как известно, могут существовать в мозгу без опоры на внешние звуки. Понятиям же, как обобщенным, лишенным наглядности отражением внешнего мира в головах людей, во вне соответствуют определенные звучания, или материальные знаки. Последние нужны, с одной стороны, для внешнего выражения понятий (с целью сообщения их другим), с другой стороны, для закрепления понятий в памяти человека. Звучания, или материальные знаки, сами не отражают внешнего мира; они используются при образовании и закреплении в мозгу понятий как отражений внешнего мира. Сами звуки как материальные предметы (знаки) не могут находиться в мозгу. В мозгу может быть только отображение звука, которое условной, но в высшей степени прочной связью связано с понятием, также существующем только в мозгу. Внешнее выражение понятия достигается путем образования с помощью органов речи определенного звучания, соответствующего этому понятию, которое в мозгу воспринимающего это звучание вызывает осознание такого же понятия, если у воспринимающего в голове имеется такое же понятие и оно связано условной связью с данным звучанием.

В противном случае для воспринимающего услышанный звук есть простой физический факт, а не знак языка.

Но если внешнее выражение понятий (с целью обмена информацией), очевидно, невозможно без опоры на звучания, то «хранение» понятий в памяти человека, по-видимому, осуществляется без внешнего выраженного звучания при «нулевой» артикуляции органов речи. По-видимому, понятие в мозгу человека прочно связано с отображением в мозгу соответствующего понятию звучания, которое и служит ему опорой при внутреннем размышлении. В этом, на мой взгляд, проявляется связь мышления и языка при внутреннем размышлении.

В связи с изложенным следует кратко остановиться на проблеме внутренней речи. В. З. Панфилов критикует утверждение А. И. Смирницкого о том, что внутренняя речь есть «такая форма, в которой реальные физические звучания «заменяются» их представлениями, их отображениями в сознании», называя его «уступкой Ф. Соссюру», «ибо это означает, что мышление может протекать без опоры на материальные языковые формы, и это утверждение не соответствует реальной природе внутренней речи» (стр. 62—63). Я не вижу, почему опора на отображения звуков в мозгу не есть опора на языковые формы. Это не реальные материальные языковые формы (реальные звучания), но их вполне реальные отображения, связанные с определенными

<sup>1</sup> Ср.: «Общее языкознание», М., 1970, стр. 373—374 (раздел «Проблемы взаимосвязи языка и мышления», написанный К. Г. Крушельницкой).

<sup>2</sup> См.: «Общее языкознание», стр. 30 и далее (раздел Б. А. Серебренникова «К проблеме сущности языка», в котором автор, анализируя проблему доязыкового мышления, отмечает, что «люди стали говорить друг с другом, обладая уже сравнительно развитым мышлением» — стр. 34).

биохимическими процессами в мозгу. Реальные материальные формы вообще не могут находиться в мозгу. В. З. Панфилов считает, что «процесс внутренней речи, мышление про себя, опирается на кинестетические раздражения, идущие от органов речи. При этом в процессе внутренней речи соответствующие артикуляции совершаются органами речи в скрытом виде, так, что обычно они остаются незаметными для наблюдателя и самого субъекта, но фиксируются соответствующими приборами во время опыта» (стр. 63).

Но кинестетические раздражения и скрытые микродвижения органов речи, если они действительно всегда присутствуют при работе сознания, видимо, с большой натяжкой могут быть охарактеризованы как материальные языковые формы, поскольку вообще работа органов речи — это процесс производства материальных языковых форм, а не они сами.

С другой стороны, действительно ли при работе сознания всегда и безусловно органы речи производят какую-то работу? Опытные данные, на которые ссылается В. З. Панфилов (результаты работ А. Н. Соколова), не вполне убеждают в этом. Хотя в приведенных высказываниях А. Н. Соколова, в частности, говорится, что «если бы даже можно было всегда внутренне видеть слова написанными или всегда внутренне слышать их, то зачаточная артикуляция все же имела бы место, хотя бы в порядке так называемого идеомоторного акта», однако ниже приводится другое место из работы А. Н. Соколова, где он говорит о «сокращении словесного выражения» при внутренней речи, о том, что «внутренняя речь становится, таким образом, высшим синтезом значений отдельных слов, превращаясь в язык семантических комплексов». Что, собственно, значит «язык семантических комплексов»? В работе это не раскрыто.

Нельзя отрицать, что многие внутренние мыслительные акты сопровождаются микродвижениями органов речи. Но вряд ли в настоящее время есть достаточно данных, чтобы утверждать, что любой акт сознания (работа мышления) всегда и во всех случаях сопровождается скрытой артикуляцией. Как, например, быть с фактом самооценки человеком содержания своей речи в момент говорения? Ведь в момент говорения органы речи заняты производством произносимых звуков. Разве факт осознания человеком того, что он говорит намеренную ложь (например, чтобы скрыть свои истинные мысли) не есть какая-то форма работы мышления? Что происходит с сознанием человека и работой органов речи, когда человек смотрит картину или слушает музыку? Если действительно любая деятельность создающего себя мышления обязательно сопровождается

микродвижениями органов речи, то надо полагать, что ни один человек при современном развитии техники не может скрыть своих мыслей от приборов и, следовательно, от наблюдающих за ним с помощью приборов людей. Но это, по-видимому, все же не так.

Полностью соглашаясь с В. З. Панфиловым в том, что язык действительно есть средство осуществления и существования абстрактного мышления, думаю все же, что вопрос о внутренней речи (о мышлении про себя) в освещении автора остается дискуссионным.

\*

Разбирая вопрос о мышлении и типах языков, автор высказывает интересные соображения о типологических классификациях языков и правильно, на мой взгляд, отмечает, что «представленные в современных типологических исследованиях различные направления в конечном счете не исключают, а скорее могут дополнить друг друга ...» (стр. 70). Думаю, что такой широкий взгляд на задачи типологии справедлив. Автор отмечает, что исследования по установлению языковых универсалий во многом превосхищены типологическими исследованиями И. И. Мещанинова, что совершенно верно. Я хотел бы выразить здесь сомнение лишь по поводу утверждения автора о недостаточной убедительности положения И. И. Мещанинова о том, что «подлежащее, сказуемое, дополнение и определение являются общеязыковыми категориями». Автор ставит под вопрос наличие этих категорий в языках, «в которых отсутствует или слабо выражена морфологизация членов предложения» (стр. 75). Если считать, например, такие изолирующие языки, как китайский и вьетнамский, языками с отсутствием или слабой морфологизацией членов предложения, то эти языки достаточно четко обнаруживают в членении своих предложений все перечисленные категории. Если понимать под «членом предложения» функцию знаменательного слова в предложении, то я не вижу оснований сомневаться в возможности обнаружения этих категорий в любом языке.

Представляется совершенно правильным положение о том, что «нет достаточных оснований полагать, что представленные в существующих языках различные языковые типы обусловлены к а ч е с т в е н н ы м и различиями, различиями в типе мышления соответствующих народов» (стр. 82). В то же время недостаточно убедительным кажется утверждение о том, что «взаимоотношение мышления и языка носит более сложный и опосредованный характер в тех случаях, когда оно осуществляется посредством синтетических, и, в особенности,

синтетическо-фузионных и синтетическо-символических языков чем в тех случаях, когда средством его осуществления является язык аналитического типа» (стр. 83). Автор подтверждает это ссылкой на то, что в аналитически-агглютинативных языках<sup>3</sup> «структура предложения в общем и целом будет в большей мере соответствовать структуре выражаемой в нем мысли, чем в языках синтетическо-фузионных и синтетическо-символических» (стр. 83). Последнее утверждение, хотя оно и подкреплено ссылкой на известного китайца А. А. Драгунова, представляется по крайней мере спорным. В любом китайском предложении одного и того же состава, как и в предложении русского языка, может осуществиться столько разных суждений, сколько в нем имеется знаменательных слов, могущих быть выделенными с помощью логического ударения (т. е. могущих стать выразителями логического предиката). Относительно твердый порядок слов в китайском и подобных ему языках, связанный с особенностями морфологического строения слова (невывраженность в словах отношений друг к другу), не позволяет в такой же мере, как в языках флективных, использовать изменение расположения слов для различного актуального (или, говоря словами В. З. Панфилова, — логико-грамматического) членения предложений. Однако то, чего нельзя сделать с помощью изменения порядка слов, всегда можно сделать с помощью интонации. Поэтому вряд ли правомерно считать, что, например, в китайском языке структура предложения больше соответствует структуре выраженной мысли, чем, например, в латинском или русском языках.

Английский язык как представитель германских (и шире — индоевропейских) языков за несколько столетий потерял почти всю свою флективность и стал аналитическим языком, сблизившись по синтаксическому строю с изолирующими языками. Значит ли это, что изменился характер его взаимоотношений с мышлением народа, говорящего на нем? Весь этот вопрос остается открытым для дискуссии.

Ряд интересных разработок и положений содержится в разделе, посвященном закону мышления и проблеме типов мышления. Автор заключает этот раздел правильным утверждением, что «говоря об общности формально-логи-

ческих законов мышления всех современных народов и в том числе „первобытных“, по-видимому, правомерно ставить вопрос о специфичности действия этих законов на разных ступенях развития человеческого мышления в связи с изменением сферы их функционирования» (стр. 112).

В разделе монографии, посвященном взаимоотношению грамматики и логики, разработан широкий круг проблем, центральной из которых является проблема логико-грамматического уровня предложения. Теория логико-грамматического членения предложения, восходящая к «актуальному членению» предложения В. Матезиуса, впервые была изложена автором в книге «Грамматика и логика» (М.—Л., 1963). В рецензируемой работе она получила дальнейшую разработку и развитие.

Существо этой теории состоит в том, что «предложение наряду с синтаксическим уровнем имеет еще особый уровень, обусловленный его актуальным членением. Поскольку на этом уровне предложения особыми грамматическими средствами выражается субъектно-предикатная структура соответствующей мысли, его в отличие от синтаксического уровня следует определить как логико-грамматический уровень, а логический субъект и предикат выражаемой мысли как логико-грамматический субъект и предикат» (стр. 162).

Обосновывая целесообразность выделения логико-грамматического уровня, В. З. Панфилов на материалах различных языков показывает, что актуальное членение предложения осуществляется целым набором формальных языковых средств — «специальными морфемами в некоторых языках, интонацией, порядком слов и пр.» (стр. 162). Синтаксический анализ по членам предложения, отмечает автор, не может объяснить назначения в предложении подобных средств. Но они получают объяснение на фоне введения понятия логико-грамматического уровня. Каждый из этих уровней, как пишет автор, характеризуется своими структурами: «если при анализе синтаксического уровня мы оперируем понятиями членов предложения и в том числе понятиями подлежащего и сказуемого, то на логико-грамматическом уровне в качестве компонентов его структуры выступают логико-грамматический субъект и предикат» (стр. 163).

Автор указывает, что «отношения членов актуального членения могут не только не соответствовать типу синтаксических отношений членов предложения, но и вступать с ними в явное противоречие» (стр. 163).

<sup>3</sup> Я предпочел бы называть эти языки изолирующими по характеру их грамматического строя — невыраженность в словах отношений к другим словам. Элементы агглютинации, развившиеся, например, в китайском языке за последние столетия, не нарушают общего принципа изоляции и существуют в рамках изоляции.

Введение понятия логико-грамматического уровня представляет несомненный интерес во многих отношениях. В. З. Панфилов на материале различных языков показывает, что структурные особенности мысли находят выражение в языковом материале, и изменение структуры мысли (изменение актуального членения) обязательно сопровождается теми или иными изменениями их языкового выражения. Это хорошо иллюстрирует неразрывную взаимосвязь мыслительных процессов и средств их языкового выражения, т. е. языка.

С другой стороны, понятие логико-грамматического уровня позволяет выявить ассортимент формальных средств выражения актуального членения и определить их место в общем наборе грамматических средств языка. Особенности логико-грамматического членения предложения в конкретном языке ставятся в связь с типологическими чертами данного языка. Логико-грамматическое членение предложения углубляет и расширяет представления о строении предложения и тем самым способствует дальнейшей разработке теории предложения.

Некоторые неясности возникают в связи с термином «уровень». В разных местах книги автор говорит то о логико-грамматическом уровне языка (например, на стр. 219), то о соответствующем уровне предложения. Поскольку понятие уровня обычно применяется к характеристике строения языка, может быть, было бы целесообразнее применительно к предложению говорить о логико-грамматическом членении предложения и о соответствующем плане или пласте предложения.

В связи с решением центральной проблемы В. З. Панфилов ставит и предлагает решение многих связанных с ней вопросов, достаточно сложных самих по себе. Так, в связи с разграничением двух уровней предложения интересно ставится вопрос о разграничении категорий предикативности и сказуемости. «Сказуемость и предикативность представляют собой явления двух различных уровней предложения, именно соответственно синтаксического и логико-грамматического» (стр. 169). В этом плане уточнению подвергнуты также такие категории, как модальность и наклонение: «модальность и наклонение являются принципиально различными явлениями и разграничение между ними осуществляется в том же плане, что и между предикативностью и сказуемостью» (стр. 198).

В концепции логико-грамматического членения предложения, на мой взгляд, имеются звенья, недостаточно проясненные. К их числу относится вопрос о констатируемой автором так называемой перестройке предложения при изменении логико-грамматического членения предложения (стр. 226). Думается, что выражение «изменение логико-граммати-

ческого членения» может быть применено к грамматически (синтаксически) одному и тому же предложению, которое выступает как своего рода точка отсчета или определенный фон анализа логико-грамматического членения и его изменения. При сравнении различных в структурно-грамматическом отношении предложений (даже если они составлены из одних и тех же или почти одних и тех же слов и обладают смысловой близостью) теряется возможность говорить об изменении логико-грамматического членения предложения, поскольку в этом случае берутся разные предложения, каждое из которых обладает своим логико-грамматическим членением.

Так, в частности, примеры из китайского языка, заимствованные автором у А. А. Драгунова — *та кань чжунго бао* «он читает китайские газеты» и *та каньды ши чжунго бао* «читаемое им есть китайские газеты» (стр. 150) представляют собой, как пишет сам А. А. Драгунов, разные конструкции предложения<sup>4</sup>. Фактически здесь имеются совершенно различные грамматические типы предложений: первое — глагольное, второе — связочно-именное (по терминологии китайских грамматистов первое предложение — описывающее, второе — характеризующее).

В рамках первого предложения при помощи логического ударения, которое В. З. Панфилов совершенно верно определил как универсальное средство выражения логического предиката (стр. 136), можно, не меняя его синтаксической (грамматической) структуры, изменить логико-грамматическую структуру. Чтобы сделать «наиболее важным элементом в предложении» (А. А. Драгунов), например, *чжунго бао* «китайские газеты», не обязательно вместо этого предложения строить другое, где *чжунго бао* становится именной частью сказуемого. Это можно сделать с помощью интонации (кстати сказать, логико-грамматическое членение второго предложения также может быть изменено с помощью интонации). Если же в рамках данного предложения невозможно сделать какой-либо элемент «наиболее важным элементом в предложении», то в этом случае приходится говорить о невозможности изменения логико-грамматического членения предложения, т. е. о фиксированности этого членения в рамках одного и того же предложения.

В связи с этим и возникает вопрос о структурно-грамматическом тождестве предложений, разбираемых с точки зрения логико-грамматического членения. Неясно, являются ли структурно-грамматически тождественными предложения-

<sup>4</sup> См.: А. А. Драгунов, Исследования по грамматике современного китайского языка, М., 1952, стр. 104.

ми два разных с точки зрения логико-грамматического членения нивхских предложения: *Бтык п'рыуитлэ* «Отец, конечно, пришел» и *Бтык пауитлэ п'рыд'* «Пришел, конечно, отец». Автор говорит о них как об одном и том же предложении («если логический предикат в этом предложении будет выражен подлежащим, то глагольное сказуемое получит форму изъявительного наклонения..., а после подлежащего будет поставлен вспомогательный глагол...» — стр. 174).

Отмечая, что синтаксически тождественные предложения могут обладать разным логико-грамматическим членением (стр. 225), автор в то же время, как уже говорилось, допускает возможность при изменении логико-грамматической структуры перестройки синтаксической структуры предложения и изменения форм слов, «выражающих члены предложения» (стр. 225). Последнее означает не что иное, как образование синтаксически другого предложения, не тождественного исходному. Ведь синтаксическая (т. е. структурно-грамматическая) тождественность предложения предполагает как тождество синтаксической структуры, так и тождество форм слов, «выражающих члены предложения». Но можно ли считать, что определенное логико-грамматическое членение какого-либо предложения есть результат изменения логико-грамматического членения синтаксически другого предложения?

Далее, представляется спорным утверждение автора о том, что для выделения членов предложения необходимы их морфологизация (об этом говорится в разных местах) и что «в функции подлежащего в русском языке может выступать только имя в именительном падеже» (стр. 271). В соответствии с этим, согласно автору, «нет никаких собственно языковых оснований для выделения подлежащего и сказуемого в тех типах предложения, в которых в настоящее время обычно выделяют так называемые неморфологизированные подлежащее и сказуемое; ... в такого рода предложениях выделяют лишь логические, точнее говоря логико-грамматические, субъект и предикат, но не подлежащее и сказуемое» (стр. 206). Согласно этой концепции, в предложениях типа *Стать художником — его заветная мечта* нет подлежащего и сказуемого, а есть только логико-грамматические субъект и предикат. То же самое следует, видимо, сказать и о предложениях типа *Курить вредно*. Отсюда, видимо, следует, что в этих предложениях нет синтаксического членения, а есть только логико-грамматическое членение, т. е. что в них есть только один «уровень».

Член предложения, как мне кажется, всегда представляет собой синтаксическую функцию класса слов (или ряда класса слов) в предложении, определяемую относительно функции другого класса (клас-

сов) слов. С этой точки зрения требование обязательной морфологизации членов предложения излишне. В любом предложении любого языка значительные слова выполняют определенные синтаксические функции и в этом смысле являются его членами.

Автор, по-видимому, прав, утверждая, что, например, подлежащие в предложениях разных типов в каком-либо языке не могут иметь полностью различных признаков или критериев (стр. 207). Очевидно, подлежащие в разных по типу предложениях должны иметь какое-то существенно общее свойство. Таким свойством, например, может быть обязательное раскрытие содержания подлежащего в сказуемом. Ср. распространенное положение, согласно которому подлежащее — это слово, о котором что-либо говорится в сказуемом, но не в предложении в целом! В критике последнего утверждения автор, с моей точки зрения, прав. Так, используя пример П. С. Попова, можно констатировать, что в предложении *В равнобедренном треугольнике углы при основании равны* в целом говорится о «равнобедренном треугольнике», а именно что в нем «углы при основании равны». Содержание же грамматического подлежащего *углы* раскрыто в сказуемом — в слове *равны*. Возможно, что специальные исследования могут выявить какой-либо другой более «грамматично» формулируемый общий критерий.

Наличие общего признака, однако, не исключает, а предполагает, что подлежащие в предложениях разного типа могут иметь свои наборы специфических признаков. Весь этот вопрос в целом, по-видимому, нуждается в специальном исследовании.

Следует отметить уточнение автором определения залога, в которое вводится характеристика синтаксической роли субъекта и объекта действия, выраженного в глаголе-сказуемом (стр. 211—212).

\*

Автор неоднократно в разной связи касается вопроса о строении и структуре мысли. При этом высказываются интересные соображения. Достойно внимания, хотя и нуждается в дополнительном изучении, например, утверждение о том, что односоставные и двусоставные предложения, не имеющие актуального членения, «выражают какую-то иную форму мышления, которую можно было бы, например, назвать одночленом, а не суждением» (стр. 160). Автор полемизирует с точкой зрения некоторых логиков и языковедов, считающих, что «когда логический субъект или предикат выражаются группой знаменательных слов, каждое из этих понятий является составным» (стр. 7), т. е. представляет

собой сочетание ряда понятий. Согласно автору, логический субъект и предикат представляют собой каждый — одно понятие, которое не может состоять из ряда понятий, так же как слово не может состоять из ряда слов. Последнее утверждение в принципе не вызывает возражений. Что же касается отрицания возможности существования «составных понятий», которым соответствуют группы знаменательных слов, то здесь не все ясно.

Согласно автору, в предложении *Испуганная нами ворона взлетела на высокое дерево* выражается только два понятия, одно из которых является логическим субъектом, другое — логическим предикатом. С точки зрения двухкомпонентности строения суждения это бесспорно. Аналогично, в предложении *Ворона взлетела* также выражено два понятия, составляющих суждение. Очевидно, однако, что структура, объем и содержание понятия, выраженного словом *ворона*, отличается от структуры, объема и содержания понятия, выраженного группой слов *испуганная нами ворона*. Аналогия с грамматическим утверждением о том, что слово не состоит из слов, вряд ли может служить доказательством.

Невозможность составных понятий автор аргументирует тем, что допущение составных понятий «предполагает, что компонентами понятия как формы мысл-

ления являются те же понятия, и в то же время понятия являются компонентами другой, качественно отличной от него формы мышления — суждения» (стр. 7). Возникает вопрос, почему этого, собственно, не может быть? Ведь речь идет не об одном и том же понятии, которое одновременно есть компонент другого понятия и компонент суждения, а о том, что ряд понятий составляет новое составное понятие, которое в своей целостности выступает как компонент уже иной формы мысли — суждения. Этот вопрос также требует специального изучения и анализа.

Монография В. З. Панфилова освещает и затрагивает обширнейший круг очень сложных и спорных вопросов. Книга в целом представляет собой серьезный вклад в разработку сложнейшей научной проблемы, которую автор стремится последовательно решать с позиций философского материализма. По необходимости здесь рассматривалась лишь часть затронутых автором проблем, что далеко не исчерпывает всего богатого содержания книги. Многие предложенные автором разработки и решения, несомненно, войдут в научный обиход. Спорность освещения ряда проблем в работе толкает к размышлениям и будет способствовать дальнейшей их разработке.

В. М. Солнцева

*W. L. Chafe. Meaning and the structure of language. Chicago—London, The University of Chicago Press, 1970. 359 стр.*

Книга эта, по словам ее автора, была создана потому, что в течение многих лет он испытывал глубокую неудовлетворенность как всеми теми лингвистическими теориями, которые существовали раньше, так и теми, которые сейчас все еще находятся в ходу, потому что всем им якобы не удавалось рассматривать язык как систему, связывающую значение со звучанием или, точнее, им не удавалось прежде всего объяснить лингвистические факты. Все они не умели рассматривать как свою первую и самую важную задачу — сущность той связи между звуком и значением, которая создает язык.

С этой точки зрения особенно неудовлетворительным оказался йельский структурализм, который ориентировался полностью в семантическом направлении, т. е. ограничился, по существу, всецело только семантической стороной. Кроме того, преувеличенный эмпиризм структуралистов явился причиной естествен-

ного недоверия к каким-либо обобщениям, кроме наиболее «прозрачных» абстракций. Но и эти последние ограничивались только поверхностными структурами, которые по самой своей природе не способны раскрыть глубоких структур, или структур с е м а н т и ч е с к и х. А ведь последние очень часто существеннейшим образом отличаются от первых, причем тем фактором, который вызывает это расхождение или несовпадение, является языковое изменение, или то, что Чейф называет «идиоматизацией».

Глобальная задача языковеда заключается в том, чтобы выяснить, каким путем примитивные «символизации», т. е. сигналы, подобные свистку или гудку, возвещающим полдень, или же круговому танцу пчелы со значением «рядом, близко нектар», постепенно превратились в человеческий язык в том виде, в каком мы его знаем. Чейф добавляет, что изменения эти происходили под давлением непрерывно развивающейся концептуальной стихии. Отсюда трудность, кото-

рая заключается в том, чтобы объяснить, каким образом непрерывно расширяющийся концептуальный инвентарь может воплотиться в сравнительно ограниченный инвентарь различительных средств в плане выражения или, как говорит Чейф, «в чрезвычайно ограниченном символическом или символизирющем инвентаре». Правда, в наиболее общем виде ответ на этот вопрос дает учение Мартине о двойной артикуляции или «двойность» Хоккета.

Речь линейна, в то время как понятия свойством линейности не обладают. В семантических, или глубоких структурах они объединяются, комбинируются в разные конфигурации. При помощи «линеаризации», т.е. придания им линейного характера, глубокие, или семантические структуры конвергируются в структуры поверхностные. После этого, т.е. после того, как им был придан характер линейности, концептуальные единицы оказываются готовыми для того, чтобы подвергнуться последней операции или последнему шагу во всем процессе, т.е. превращению в произвольную конфигурацию символических единиц. То, что возникает в результате этой последней части процесса или этого последнего превращения, можно назвать фонетической структурой. Процесс, при помощи которого этот результат может быть получен или получается регулярно, называется «символизацией».

Из сказанного может создаться впечатление, что наконец-то значение и звучание оказались тесно и надежно связанными друг с другом. Однако, дойдя в своем чтении до § 4 («Результаты фонетического изменения»), мы обнаруживаем, что семантическая сторона вовсе не обязательно оказывается связанной с изменением стороны фонетической и наоборот. Это положение подтверждается развернутым анализом примеров из индейских языков — онондага, каддо, пейют. Отсюда следует, что говорящие могут реализовать символизацию только в том случае, если они сами выступают как своеобразное устройство для внутренней реконструкции, т.е. такое устройство, которое реконструирует как «формы», принимаемые за лежащие в основе последующих процессов и лишенные фонетического выражения, так и те процессы, которые позволяют перейти от такого рода «форм» к конечному или эвентуальному фонетическому продукту (что, конечно, не исключает прямого запоминания фонетических структур для некоторых специфических слов и предложений).

Из сказанного следует, что, по существу, те линеаризованные, т.е. получившие линейный характер единицы, которые характеризуют поверхностные структуры, не символизируются фонетически непосредственно, а лишь через целый

ряд дофонетических стадий, взаимосвязанных при помощи фонологических процессов, причем изменение семантической стороны создает аналогичную ситуацию. Так, например, *red*<sup>2</sup> в *red hair* (при условии, конечно, что это значение совершенно другое, чем значение *red*<sup>1</sup> например, в *red flag*, т.е. принимая, что в современном английском языке не существует только одно единственное *red* для обозначения всей цветовой шкалы от алого до оранжевого и что *red*<sup>1</sup> «красный» и *red*<sup>2</sup> «рыжий» являются омонимами) предполагает существование *red*<sup>1</sup> для того, чтобы подвергнуться идиоматической символизации в английском языке. Следовательно, значение «рыжий» должно быть сперва обращено в постсемантическое *red*<sup>1</sup> и воспринято от последнего его нормальную символизацию. Эти положения иллюстрируются на многочисленных примерах, особенно с фразеологическими единицами, такими, как *be on the wagon*, *spill the beans* и т.п., имеющими целью показать, каким образом историческое явление «идиоматизации» (*idiomatization*), создавая единицы, лишенные собственной, или прямой символизации, приводит к тому, что реально существующие выражения («семантические структуры») языка не оказываются прямым и непосредственным процессом, не ведут к простой или непосредственной реализации первоначальной «символизации», а оказываются отражением гораздо более сложных взаимоотношений. Заметим, что специфические «постсемантические» процессы, приводящие к выражению грамматических значений, снабжаются у автора своеобразными металингвистическими обозначениями, причем наряду с такими, как, например, согласование (стр. 51), прономинализация, фигурируют и другие, менее ясные [см. § 6 и особенно § 16, где мы находим такие понятия, как *literalisation* (например, *driveway = drive + way*), *miscellaneous deletions*, *secondary linearization* и т.п.].

Цель всего изложенного в § 7 сводится, в основном, к тому, чтобы придать еще большую рельефность положениям, высказанным автором, в особенности противопоставляя их другим подходам, причем здесь понятие направления и направленности (т.е. *direction* и *directionality*), которые уже фигурировали в § 5, получают гораздо большую выпуклость или определенность<sup>1</sup>. Этот аспект, в соответствии с общим направлением рассуждения, разрабатывается в плане прежде всего критического противопоставления данных позитивных построений тому,

<sup>1</sup> Заметим, что этот аспект разрабатываемой Чейфом теории получает дальнейшее развитие в специальной статье под названием «*Directionality and paraphrase*», *Language*, 47, 1, 1971.

что якобы было приятно в языкознании до создания Чейфом его основополагающих работ. Вновь и вновь подчеркивается, что язык это есть нечто, что превращает или конвертирует значение в звучание, но не наоборот, т. е. не звучание в значение. Чейф энергично протестует против двунаправленных процессов (см. стр. 57), которые допускают переход от значения к звучанию и от звучания к значению, как два совершенно симметричных процесса. Как известно, идея двунаправленности основывается на всем известном факте, что пользующиеся языком выступают одновременно и как говорящие, и как слушающие. В качестве говорящих они конвертируют значение в звучание, но как слушающие они конвертируют звучание в значение. Именно на этой основе возникло представление, получившее наиболее крайнее свое выражение у Л. Ельмслева, согласно которому выражение и содержание являются координированными равными сущностями во всех отношениях, почему вполне естественно переходить от каждой из них в другую в любом направлении с одинаковой легкостью.

Чейф утверждает, что такое понимание языка является совершенно ошибочным и неприемлемым, потому что между семантической стороной языка и его фонетической стороной, т. е. содержанием и выражением, есть принципиальное различие с точки зрения их объема и сложности. Ведь, как хорошо известно, семантический инвентарь языка б о л ь ш е, чем фонетический инвентарь: именно это отсутствие параллелизма, отсутствие прямого, простого соответствия между двумя сторонами и явилось одним из главных факторов, породивших систему языка в том виде, в каком мы ее знаем. Но различаются они принципиально не только по своим размерам и объему. Семантические конфигурации, к тому же, обладают несравненно большей сложностью, чем конфигурации фонетические, почему постсемантические процессы гораздо более многочисленны и разнообразны, чем процессы фонологические. Отсюда следует, что «символизация» и «фонетический результат» (phonetic output) не представляют собой вполне равномерной и уравновешенной прямой связи, но асимметрическое сцепление одной постсемантической единицы с предфонетической (или дофонетической) конфигурацией. Поэтому переход от значения к звучанию, переход всегда единоплавленный — это постепенный процесс, в течение которого семантически ориентированные признаки кумулятивно сбрасываются подобно змеиной коже, тогда как фонетически ориентированные признаки постепенно накапливаются и отглаживаются (стр. 70). Более подробно это разъясняется на стр. 234. Сначала постсемантические процессы, при по-

мощи которых семантическая структура конвертируется в структуру поверхностную, затем символизации, посредством которой семантические единицы в составе поверхностной структуры конвертируются в фонологические конфигурации, и наконец, третий этап — фонологические процессы, которые постепенно приводят к фонетическому выходу, т. е. к тому окончательному, конечному продукту, который оказывается непосредственно реализованным или материализованным в общении при помощи языка. Чейф считает очень существенным при этом обратить внимание на следующее: даже те из его предшественников, которые призывали необходимость с одинаковым вниманием относиться как к семантическим, так и к фонетическим явлениям, тем не менее не могли достигнуть существенных успехов, потому что они были в плену той идеи, что семантическая и фонетическая стороны, т. е. значение и звучание, план содержания и план выражения — это, пользуясь словами де Соссюра, лицевая и тыловая стороны листа бумаги (т. е. две стороны одного и того же листа бумаги, которые становятся лицевой и тыловой, т. е. прямой и обратной, просто в зависимости от того, как этот лист повернут). Иными словами, это отношение рассматривалось как статическое, как отношение, лишенное движения в том или ином направлении. Содержание и выражение, в частности у Ельмслева, рассматривались как два функциональные функции знака, присвоенные которым названий «выражение» и «содержание» является совершенно произвольным; их можно было бы и поменять местами и от этого ничего существенного не произошло бы.

Школа генеративистов явилась в каком-то смысле шагом вперед, потому что она не является статической. Однако это направление оказалось как бы воздвигнутым на песке, т. е. на гипотетических глубинных структурах, семантическая интерпретация которых якобы может быть осуществлена просто на логической основе. Отсюда роковое смешение категории «истинность — ложность», с одной стороны, и лингвистического, или языкового значения — с другой, неправильное понимание природы перифраза и абсолютное искажение понятия эквивалентности значения (или семантической эквивалентности) как л и н г в и с т и ч е с к о й категории. Следует заметить в связи со сказанным, что критика положений генеративной грамматики проходит красной нитью через работы Чейфа, причем особенно примечательным является тот анализ, который дается им в цитированной выше статье на стр. 4. Начав в своих синтаксических структурах с одностороннего взгляда, свойственного вообще структуралистам, Чейф всячески настаивает на том, что ими создается грам-

матическая теория, совершенно независимо от семантики (хотя при этом и подчеркивалась полезность интуиции для создания лингвистических теорий и проводилось резкое различие между интуициями, касающимися языковой формы, и интуициями, касающимися значения). Так, например, Хомский не находил никаких оснований, чтобы полагать, что эта последняя, т. е. интуиция относительно значения, может принести какую-нибудь пользу для исследования лингвистической формы. Но, как известно, уже в начале 60-х годов последователи Хомского сделали попытку ввести так называемый интерпретивный семантический компонент в прежде разработанные модели языка. В результате получилась весьма любопытная картина. Оказалось, что «глубокие структуры» формулируются без учета каких-либо семантических моментов, а вместе с тем эти же самые глубокие структуры оказались чисто умозрительно или гипотетически непосредственно поддающимися семантическим интерпретациям. Даже в середине 60-х годов, т. е. в 1965 г., Хомский совершенно недвусмысленно утверждал, что нет никаких оснований для того, чтобы считать, что семантические соображения могут играть роль в выборе синтаксического или фонологического компонента грамматики или что семантические признаки в каком-либо осмысленном значении этого термина играют роль в функциях синтаксических или фонологических правил. Таким образом, не было попыток показать, как семантические соображения могут способствовать или содействовать развитию теории в этом направлении. Правда, «семантическое» движение в генеративистской школе продолжало развиваться и только что охарактеризованные взгляды Учителя все более подвергались сомнению (особенно в работах Мак Колли, Дж. Лакоф и Росс). В результате был создан термин «генеративная семантика». Однако, если этот термин будет по-прежнему ограничиваться теорией, основной целью которой является то, что семантическая репрезентация должна осуществляться в терминах все тех же семантических «phrase-markers», то вряд ли из этой теории вырастет нечто, что действительно внесет серьезный вклад в дальнейшее развитие языкознания.

В таком же духе Чейф подвергает критическому разбору стратификационную теорию Лема, все те нововведения, которые предлагает Дж. Лакоф, а также все основные и производные особенности так называемой генеративной фонетики. Но, конечно, наибольший интерес представляет его анализ того обширнейшего лингвистического фольклора, тех бесконечных серий и скопленных специально выдуманных предложений, на которых обыкновенно основывается изложение

методов и приемов генеративной лингвистики. Приведем примеры: *oculists eye blondes = blondes are eyed by oculists; the old lady died = the old lady kicked the bucket; John's uncle = the person who is the brother of John's mother or father or the husband of the sister of John's father or mother = the person who is the son of one of John's grandparents or the husband of a daughter of one of John's grandparents, but is not his father; John killed Harry = John caused Harry to die = John caused Harry to become dead = John caused Harry to cease being alive = John caused Harry to become not alive*; или, если вернуться к *John's uncle*, то это тоже *son of mother of mother, or son of father of mother, or son of mother of father, or son of father of father, or husband of daughter of mother of mother, or husband of daughter of father of mother, or husband of daughter of mother of father...*

Эти примеры, безусловно, представляют собой указанное выше недопустимое смешение категории истинности — ложности — с одной стороны, и категории значения — с другой. Действительно, понятие перифраза и понятие семантической эквивалентности как лингвистической категории во всех этих случаях спутаны самым неопозволительным образом. Может быть, особенно следует отметить то обстоятельство, что даже такие пары, как активно-пассивная трансформация, которая всегда была основной опорой генеративистики, по существу совершенно отрицается Чейфом<sup>2</sup>. На большом количестве прекрасно подобранных примеров Чейф вновь и вновь возвращается к полной непримлемости подобного рода обращения с лингвистическим материалом.

Из всего сказанного с несомненностью следует, что работы Чейфа, причем особенно последние его работы, т. е. книга и неоднократно цитируемая статья, представляют бесспорный и очень большой интерес вследствие острой критической направленности его рассуждений. Но когда мы обращаемся к позитивной части, то прежде всего мы сталкиваемся с одним моментом, который за последнее десятилетие занял большое место в лингвистике вообще и в американской лингвистике в особенности. Я имею в виду соотношение между теорией (или онтологией нашего предмета) — с одной стороны, и его методом (или стороной эвристической) — с другой. Иными словами, когда мы обращаемся к основной части книги «Meaning and the structure of language», то мы обнаруживаем, что ее автору не удалось сделать необходимого следующего шага, т. е. действительно открыть новую страницу: понять, каким образом изложенные выше очень

<sup>2</sup> W. L. Chafe, *Directionality and paraphrase*, стр. 11.

трезвые онтологические или теоретические предпосылки фактически воплощаются в предлагаемой конкретной методике исследования, очень трудно. Многие страницы в этой части работы не удовлетворяют, вызывают недоумение. Так, например, на стр. 235 Чейф говорит следующее: «Нет нужды уделять много места процессу символизации, так как он по существу представляет собой взаимодозначную замену единиц поверхностной структуры конфигурациями тех фонологических единиц, которые лежат в их основе, а что касается фонологических процессов, то надо считать очень благоприятным то обстоятельство, что воззрения на язык, свойственные синтаксистам (т. е. имеются в виду правоверные ученики Хомского—*O. A.*), отводят им (т. е. фонологическим процессам—*O. A.*) место, существенно не отличающееся от того, какое этим процессам уделяется или отводится в настоящей работе» (т. е. в работе самого Чейфа). Поэтому мы фактически оказываемся перед лицом многих страниц, на которых перечисляются бесчисленные таксоны следующего, к сожалению, слишком хорошо нам знакомого вида, например, *John (agt, N, count, potent, animate, human, unique, definite) has been lengthening (process, relative, action, long plus inchoative plus causative, new, progressive, perfective) the driveway (pat, N, count, driveway, new, definite)*; или наоборот: *V, empty, new→emptied; pat, N, box, new→the box; agt, N, David — David emptied the box!* Если все эти широко распространенные аббревиации и комбинации надо рассматривать как произвольную эвристическую процедуру, которую надо развивать для того, чтобы она когда-нибудь доказала свою жизнеспособность и достигла той степени надежности и доступности, которая необходима для того, чтобы ею могли пользоваться языковеды, то восставать против нее нет никаких оснований. Но если это реальная основа подробно разъясненной выше новой, критически ориентированной, сложной и интересной онтологии (теории), то ею, конечно, следует заняться более серьезно. Иначе говоря, следует ли предположить, что подобного рода анализ действительно отражает то, что происходит в сознании человека, пользующегося языком, когда у него в его психологии возникла некоторая семантическая структура и когда он вследствие необходимости передать кому-то данное семантическое содержание или данную семантическую структуру начинает постепенно «сбрасывать с себя семантически ориентированные признаки, подобно тому, как змея сбрасывает кожу». Понятно, что ситуация еще более осложняется тем обстоятельством, что им же одновременно должны накапливаться и фонетически ориентированные признаки. То, что на

эту тему сообщает на стр. 259 книги Чейф, настолько неожиданно, что имеет смысл процитировать это высказывание полностью: «В большой степени это превращение, т. е. процесс накопления фонетически ориентированных признаков, может быть осуществлен путем правильной символизации очень простого вида, т. е. таких правил, которые более всего подходят к зеркальному отображению правил символизации, наблюдаемых в примитивных коммуникативных системах, подобных той, что была описана выше в разделе 2.10». Эти правила символизации имеют следующий вид:

*John* — — — — *AAA*  
*pres-ptl* — — — — *BBB*  
*definite* — — — — *CCC*

Они представляют любые конфигурации лежащих в их основе фонологических единиц при условии, что они рассматриваются как лежащие в основе тех фонологических репрезентаций, которые должны получить соответственно *John, -ing, the* при современном состоянии фонологической теории: *AAA, BBB, CCC* и рассматриваются как матрицы дифференциальных признаков (стр. 259).

Чейф предупреждает своих читателей, что все его «формализации» являются предварительными и имеют как бы разведывательный характер. Как бы ни хотелось надеяться, что дальнейшее движение в этом направлении приведет, в конце концов, к полезным результатам, очень трудно удержаться здесь от известной доли скептицизма. Генеративистская лингвистика подняла на щит теорию, и этот лозунг оказался сильнейшим оружием в ее борьбе на заре генеративистской революции, когда утверждалось, что дескриптивисты должны сойти со сцены и что дескриптивная лингвистика не годится, потому что она слишком увлекается методами в ущерб теории. Но теперь получается, что призывы к теории как бы оборачиваются сами против себя и что единственный выход теперь заключается в том, чтобы самым серьезным образом и с учетом подлинных достижений языкознания пересмотреть эвристический аспект заново, без односторонности или предвзятости подхода. Думается, что при этом очень важно также с осторожностью подойти и к так называемым формальным описаниям. Ведь формализация это вовсе не обязательный признак языкознания вообще, вовсе не обязательная предпосылка успешного развития человеческого, а не машинного языкознания, а последнее, как известно, получило такой сильный удар в связи с неудачами машинного перевода, что никак до сих пор оправиться от него не может.

Из того, что было сказано, следует, что рецензируемая книга интересна главным образом критикой некоторых современных лингвистических направле-

ний, с которыми Чейфу приходится непосредственно сталкиваться и из недр которых он, собственно, в значительной степени сам вышел. И несомненным достоинством является то, что основные теоретические идеи автора излагаются так ясно и с такой убедительностью. Однако потребуется еще большее количество работы и не одна публикация для того, чтобы жизненность данной теории

была доказана, т. е. для того, чтобы для языка веда принятая в ней методология приобрела такой вид, который убедительно свидетельствовал бы о том, что данная гипотеза действительно соответствует процессам, естественно осуществляющимся в естественном человеческом языке.

*О. С. Ахманова*

**Г. Б. Джаукян. Развитие и структура армянского языка (краткий очерк). —** Ереван, изд-во «Митк», 1969. 291 стр. (на арм. яз.).

Рецензируемая работа — одна из первых монографий, ставящих перед собой задачу описания системы современного армянского языка с позиций структурного языкознания<sup>1</sup>. В книге Г. Б. Джаукяна рассматривается широкий круг вопросов, связанных с историей армянского языка, его современным состоянием, а также с развитием армянского языкознания.

Первый раздел книги, посвященный развитию армянского языка, является обобщением многолетних трудов автора, крупного специалиста по индоевропейскому и общему языкознанию. Материал, изложенный в этом разделе, был опубликован раньше в виде ряда статей и доклада на арменистическом конгрессе, состоявшемся в США в 1965 г.

Основную часть исследования составляет второй раздел, в котором рассматривается структура современного армянского языка. Он начинается главой, в которой дается краткий обзор истории армянской грамматической науки. Этот обзор невелик по объему (стр. 69—90), но в нем достаточно четко намечены основные этапы становления взглядов на грамматику армянского языка. В основу периодизации положены метод исследования и схема описания языка, принятые на том или ином этапе науки. Г. Б. Джаукян в сжатой форме характеризует следующие направления в армянской лингвистике: I период грабаротипных грамматик (XVIII — начало XX в.) — ученые представляют факты современного языка, ашхарабара, в соответствии со схемой описания древнеармянского языка, грабара. II период самостоятельных грамматик (с начала XX в. до наших дней) делится на три этапа: А. Этап формального (имманентного) подхода; Б. Этап семантико-логического подхода;

В. Этап структурно-соотносительного подхода.

Этап формального подхода характеризуется стремлением ученых (М. Абегиан, Г. Петросян) описать ашхарабар без какой-либо априорной грамматической схемы. Поэтому при исследовании языка преимущество отдается языковой (грамматической) форме. На втором этапе отвергается подход к языковым явлениям со стороны формы. Провозглашается требование исходить в лингвистическом исследовании из содержания (значения) языковых элементов. С позиций структурно-соотносительного подхода автор критикует односторонность ученых и первого, и второго этапов. Развитие современной лингвистики позволяет осознать и оценить недостатки предыдущих грамматик. В книге ставится задача объективно показать реальное состояние языка. Согласно автору, вместо все более и более дробных классификаций, необходимо выявить полную картину структуры языка во всех взаимосвязях составляющих ее сторон и элементов. Каждое явление языка должно оцениваться по его месту и его роли в языковой структуре (стр. 90). Вехи исторического развития арменистической науки, намеченные автором, отражают этапы становления мировой науки о языке. Критерий, избранный автором для периодизации истории грамматических учений в арменоведении, позволяет четко выделить отдельные этапы и охарактеризовать все наиболее существенное в изменении взглядов ученых и практических результатов, достигнутых их трудами.

Далее в книге обсуждаются основные принципы современного языкознания, положенные автором в основу исследования. В этом разделе затрагиваются вопросы об аспектах изучения языка, типах грамматик, языковых знаках, противопоставлении языка, речи и нормы, парадигматики и синтагматики, взаимоотношении языковых единиц и их различительных признаков, о языковых мо-

<sup>1</sup> В 1967 г. в Ереване вышла в свет книга Э. Б. Агайана «Склонение и спряжение в современном армянском языке (структурный анализ)» (на арм. яз.).

делях, грамматических категориях, средствах грамматического выражения, об основе и окончании (стр. 91—131).

Наиболее подробно автор останавливается на понятии модели, основополагающем для всего исследования. «Моделью называется реализуемая в речи схема синтагматических отношений» (стр. 110). В зависимости от того, между какими элементами (формальными, смысловыми, формально-смысловыми) отображаются грамматические отношения, модели бывают фонетические, смысловые, грамматические. Г. Б. Джаукян использует грамматические словоизменительные модели. Модель объединяет ряд типов словоформ, содержащих различное количество морфем. При динамическом аспекте изучения языка модель, по Г. Б. Джаукяну, представляет собой механизм, воспроизводящий синтез словоизменительных форм. Динамическая модель обычно постоянна в том отношении, что морфемы, выражающие значение одной и той же грамматической категории, занимают в модели определенное, фиксированное по отношению к другим морфемам место<sup>2</sup>. Автор использует это положение для определения грамматического значения аффиксов по месту, занимаемому ими в модели.

В армянском языке существуют две системы словоизменения — склонение и спряжение, сложные в морфологическом отношении.

Модель словоизменения имени представляется формулой:

$$A(((+a) + b) + c) + d,$$

где  $A$  — исходная словарная форма слова (корень), а буквами  $a, b, c, d$  обозначены грамматические аффиксы, имеющие следующие значения: 1) аффиксы порядка ( $a$ ) в основном оформляют категорию числа; 2) аффиксы порядка ( $b$ ) оформляют дательный падеж (а также основу форм других падежей); 3) аффиксы порядка ( $c$ ) оформляют другие падежи; 4) аффиксы порядка ( $d$ ) оформляют категорию определенности.

Одновременно аффиксами порядка  $a, b, c$  выражается категория класса. Категория класса как самостоятельная категория имен впервые выделена Г. Б. Джаукяном. Согласно автору, классами являются семантические группировки слов по используемым ими аффиксам для образования форм числа и дательного (отчасти и местного) падежа. В плане содержания различаются: 1) класс абстрактных существительных, 2) класс существительных, обозначающих время, 3) класс существительных, обозначающих вещи,

4) класс существительных, обозначающих лица и т. д. (стр. 183). Принадлежность слова к тому или иному классу связана также с особенностями его функционирования на синтаксическом уровне. Так, разными морфологическими средствами оформляется существительное в позиции прямого дополнения и в позиции агентивного дополнения. Представляется целесообразным обратить внимание на то, что категория класса занимает обособленное место среди других категорий имени — это классификационная категория, объединяющая лексико-грамматические классы имен. Между оппозициями, составляющими категорию класса, можно установить иерархические отношения — главным следует признать противопоставление имен, обозначающих вещи и лица, которое существует и в местоименном склонении и, в отличие от других противопоставлений, функционирует на синтаксическом уровне.

Значительное внимание уделяется в работе описанию категории падежа. Вопрос о количестве падежей до сих пор не решен окончательно в армянских грамматиках<sup>3</sup>. На основе изучения формальных показателей категории падежа автор выделяет пять классов падежных морфем, соответствующих пяти падежам — именительному, дательному, творительному, отложительному, местному. Выделяемые в современных грамматиках родительный и винительный падежи Г. Б. Джаукян относит к синтаксическим вариантам именительного и дательного падежей. Для описания значений падежей автор предлагает ряд семантических признаков, позволяющих упорядочить функции падежей (стр. 175).

Г. Б. Джаукян группирует категории числа, падежа, класса и определенности по признакам «самостоятельности» (категории числа и класса определяются самими предметами, обозначенными существительными) и «описательности» (категории падежа и определенности описывают предметы с точки зрения признаков и отношений, внешних по отношению к самим предметам) — стр. 141. Такая система категорий имен кажется несколько абстрактной, не учитывающей взаимодействия указанных категорий друг с другом в

<sup>3</sup> См. по этому поводу: Э. Б. Агамян, Падежи в современном армянском языке, «Историко-филологический журнал», 1966, 4 (на арм. яз.); А. С. Гарибян, О падежных традициях в армянской грамматике, там же, 1967, 1 (на арм. яз.); О. Х. Барсегян, Теория пяти падежей Манука Абегиана и ее ранняя и новая критика, Ереван, 1967 (на арм. яз.); М. Е. Асатрян, Старые и новые споры по вопросам склонения современного армянского языка, «Вестник Ереванского ун-та». Общественные науки, 1968, 2 (на арм. яз.); и др.

<sup>2</sup> Ср. использование принципа «грамматики порядков» у Г. Глисона («Введение в дескриптивную лингвистику», М., 1959, стр. 164—169).

функциональном плане. Напомним такие факты, как: зависимость значения форм числа от принадлежности существительных к определенным классам; несочетаемость определенного артикля с существительными в форме дательного падежа в позициях определения и косвенного субъекта; употребление существительных в формах именительного и дательного падежей в позиции прямого дополнения в зависимости от класса существительного.

Другая большая система словоизменения в армянском языке представлена спряжением глагола. Спрягаемые формы обладают следующими отличными от падежных форм чертами: широко распространены аналитические показатели грамматических значений; нет неформированных «чистых» основ; широко действует аналогия при образовании отдельных форм; одна лексема может иметь несколько типов словоизменения; некоторые аффиксы (тематические гласные) могут повторяться в составе глагольной словоформы (стр. 205—208). Все эти особенности спрягаемых форм затрудняют использование принципа грамматики порядков для их описания. В основном в разделе «Спряжение» автор сосредоточивает свое внимание на синтетических формах глагола (формы прошедшего совершенного изъявительного наклонения, настоящего и прошедшего времен желательного и условного наклонений и повелительного наклонения). С некоторыми ограничениями, на которые указывает автор, к исследованию этих форм применимы те же методы, что и к исследованию склонаемых форм.

Полная модель синтетической глагольной формы имеет вид:

$$(a+) A ((+b) +c),$$

где  $A$  — корень, аффиксы порядка ( $a$ ) имеют значение наклонения; аффиксы порядка ( $b$ ) выражают, в основном, значения вида, типа и залога; аффиксы порядка ( $c$ ) оформляют категории времени, лица, числа. Категории типа и вида (в том виде, как они сформулированы в рецензируемой книге) впервые описаны Г. Б. Джаукяном.

Категория вида выделяется автором на основе различий грамматических средств оформления прошедшего совершенного. Благодаря тщательному и тонкому анализу материала Г. Б. Джаукян разграничивает три класса основ, имеющих различные показатели для формы прошедшего совершенного (стр. 230). Основы первого класса передают действие, характеризующееся признаком несовершенности;

основы второго класса передают действие, характеризующееся признаком совершенности; основы третьего класса передают действие, нейтральное по отношению к обоим этим признакам. К группировке глаголов с основами, имеющими совершенное, несовершенное и нейтральное значения, автор присоединяет также класс глаголов, имеющих суффикс многократности. К сожалению, в книге не приведены никакие данные относительно продуктивности указанных типов основ. Следует отметить, что различия в выборе морфологических средств образования форм прошедшего совершенного не проявляются у глаголов рассмотренных типов при оформлении видовых противопоставлений, выражаемых аналитическими формами. Можно предположить, что выделенные Г. Б. Джаукяном классы глаголов являются лексико-грамматическими группировками глаголов, подобными описываемым в славянских языках лексико-грамматическим классам глаголов, передающим различные «способы действия».

В книге Г. Б. Джаукяна по-новому рассматривается категория залога. Интересна формулировка общего значения залога как «отстранения действия от подлежащего» (стр. 251), хотя в ней и допускается смешение понятий, принадлежащих двум разным аспектам анализа предложения: термин «подлежащее» принадлежит синтаксическому аспекту, а термины «отстранение», «действие» — смысловому аспекту. Категория глагольного типа выделена автором на основе соотношения морфологических показателей «видообразных» значений в основах глаголов. На синтаксическом уровне категория типа проявляется как валентность глагола. Таким образом, в категории типа находит косвенное морфологическое выражение связь между категориями вида и залога.

Объем настоящей рецензии не позволяет подробно остановиться на всех проблемах, исследуемых в книге. Монография Г. Б. Джаукяна — результат тщательного, продуманного анализа языкового материала, изложенного полно и лаконично. Благодаря творческому применению методов современного языкознания автор выделил многие не описанные до сих пор закономерности в системах склонения и спряжения имени и глагола. Новая книга Г. Б. Джаукяна — значительный вклад в изучение армянского языка, имеющее давние традиции.

*Н. А. Козинцева*

**Г. Садвакасов. Язык уйгуров Ферганской долины.** Очерк фонетики, тексты и словарь. 1.— Алма-Ата, изд-во «Наука» Казахской ССР, 1970. 263 стр.

До недавнего времени, когда речь шла об уйгурских диалектах, имелись в виду местные говоры уйгуров Синь-цзяна. Систематического исследования территориальных говоров советских уйгуров не проводилось<sup>1</sup>. Изучение говоров уйгуров СССР — новая страница в уйгуроведении. Эта страница открывается вновь усилиями уйгуроведов Казахстана, среди которых в первую очередь надо назвать А. Т. Кайдарова и Г. С. Садвакасова. Научная деятельность Г. С. Садвакасова теперь полностью посвящена этому важному делу<sup>2</sup>.

Рцензируемая монография этого автора о языке уйгуров Ферганской долины состоит из «Предисловия» (стр. 3—9), «Фонетики» (стр. 10—70), «Текстов и переводов» (стр. 71—162) и «Словаря» (стр. 163—257). Ферганские уйгуры — одна из ветвей уйгуров, живущих в Узбекистане и Киргизии, — являются переселенцами XVIII—XIX вв. (возможно, и ранее) из Кашгара. Следовательно, по языку они могут быть отнесены к кашгарскому говору, но сглаженному сильным влиянием языка окружающего узбекского населения. Говоры ферганских уйгуров прежде совершенно не изучались. Г. С. Садвакасов — участник трех диалектологических экспедиций (1961, 1962, 1967 гг.), во время которых записывались говоры уйгуров большого числа городов и селений Ферганской долины. Записи сделаны на слух (тексты — сначала на магнитофоне) и приведены в фонологической транскрипции на основе современного алфавита советских уйгуров.

<sup>1</sup> Ср.: Л. А. Агапина, Уйгурские диалекты Казахской ССР (Чиликский район). Автореф. канд. диссерт., М., 1954.

<sup>2</sup> См.: Г. Садвакасов, О лексических особенностях в языке уйгуров с. Большое Аксу, «Изв. АН Каз. ССР». Серия филологии и искусствоведения, 3 (22), 1962 (на уйг. яз.); е го же, Некоторые сведения о языке уйгуров Ферганской долины, «Исследования по уйгурскому языку», Алма-Ата, 1965 (на уйг. яз.); е го же, Об уйгурах Туркмении и их языке, «Изв. АН КазССР». Серия обществ., 3, 1967 (на уйг. яз.); е го же, Двойные согласные в современном уйгурском языке, «Изв. АН КазССР». Серия обществ., 5, 1968; е го же, О средствах выражения субъективной оценки в семиреченском говоре уйгурского языка, «Исследования по тюркологии», Алма-Ата, 1969; е го же, Об изучении диалектов языка советских уйгуров, «Исследования по уйгурскому языку», 2, Алма-Ата, 1970, стр. 31—38; е го же, О некоторых свойствах сонорного *p* в современном уйгурском языке, там же.

В главе «Фонетика» содержится обстоятельный анализ состава фонем, их вариантов в зависимости от позиционных и иных условий, дана характеристика основных закономерностей в области гласных и согласных: ассимиляции (прямой и обратной, полной и частичной), редукции и элизии гласных и согласных и мн. др.

Как характерная черта говора отмечается полуширокий *e* в соседстве с палатальными согласными, хотя в тех же позициях может употребляться и древний широкий *э*, например: *ертэ* «рано» (совр. уйг. лит. *эртэ*), *эски* «старый» (совр. уйг. лит. *эски*), но *энди* «теперь», *нэччэ* «сколько», *нарэс* «что, нечто». Следует заметить, что прием сравнения некоторых звуков говора с аналогичными звуками в древней уйгурском языке (стр. 14, 15) нельзя признать убедительным, так как пока совершенно не известно, какого качества эти звуки были в языке древних уйгуров — в письменном и тем более в устном.

Общуйгурские варианты узких гласных в книге квалифицируются как «*u* с призвуком *ш*» (стр. 19, 20), «*y* с призвуком *ф*» и «*y* с призвуком *ф*» (стр. 21). Точности ради надо сказать, что фонетисты данное явление рассматривают как оглушение узких гласных, наступающее в соседстве с глухими согласными. В результате оглушения у гласных развиваются шумы: у негубного (*u*) *ш*-образный звук, у губных (*y* и *y*) — *ф*-образный звук. Специальный раздел посвящен долгим гласным. В ферганском говоре, как и в уйгурском языке вообще, долгие гласные — вторичного происхождения, они образуются падением сонорных *p*, *л*, *й*, *н*, *ң* или отдельных шумных согласных; в некоторых случаях долгота становится релевантной (стр. 27). Интересно предположение автора о том, что, если корневой гласный (*a*, *э*) не подчиняется закону регрессивной ассимиляции, то он исконно долгий (стр. 22—23). С этим можно было бы согласиться, если бы были показаны и другие условия, при которых закон регрессивной ассимиляции не действует (например, возникновение нежелательной омонимии, неблагозвучие и др.).

Любопытно, что такая яркая черта уйгурского вокализма, как обратное влияние узких гласных в ферганском говоре, по наблюдениям Г. С. Садвакасова, почти стерта (стр. 32). Еще недавно этот вид ассимиляции действовал в полную силу, оказывая заметное влияние на вокализм узбекских говоров. Уйгурское влияние в этой области затронуло почти все узбекские говоры ферганского типа. Интенсивный процесс отдачи закончился для ферганского говора тем, что в нем самом этот вокалический признак стал затухать.

В области гонсонантизма язык уйгуров Ферганской долины мало чем отличается от уйгурского языка в целом — и по составу, и по свойствам уподобления, и по особенностям выпадения и появления согласных в начале и середине слова. Интерес представляет раздел, посвященный двойным (и долгим) согласным. Г. С. Садвакасов различает несколько видов уйгурской геминиации. Двойные согласные встречаются как в заимствованиях из арабского и иранских языков, так и в собственно уйгурских словах. В собственно уйгурских словах различаются: 1) геминиация на стыке корневой и аффиксальной морфем, 2) геминиация в результате фонетического развития внутри слова, 3) геминиация неизвестного происхождения (этот вид свойствен только основе слова). Опираясь на учение представителей французской школы (А. Мейе, Ж. Дени) об экспрессивности живого народного словаря, Г. С. Садвакасов пытается объяснить уйгурскую геминиацию типа *ушшаф* «мелкий», *иллиф* «теплый» и т. д. Но здесь неминуем целый ряд трудностей: а) геминиация, точнее долгота, свойственная разговорной речи, не постоянна; в литературном языке она носит устойчивый характер, что заставляет думать о разных причинах ее появления, а не одной лишь эмфатической, б) в некоторых разрядах слов (числительные, бытовые термины) геминиация объяснению эмфазой не поддается совсем.

Очевидно, кроме речевой эмфазы, могут быть и другие причины внутрикорневой геминиации, и в их числе — передвижение слоговой границы, а также смягчающее влияние узких *и*, *у*, *ү* (как известно, палатализованные согласные всегда более долгие). Пока приходится признать вслед за В. Бангом, что геминиация остается «книгой за семью печатями».

Тем не менее, уже сам факт, что количественный момент в звуковом строе ферганского говора стал предметом особого внимания автора, придает рецензируемой книге известную новизну.

«Тексты и переводы» включают в себя образцы прозаического и стихотворного языка ферганских уйгуров. Тексты помещены под рубриками по географическому принципу; каждый текст снабжен названием и подробно документирован. Некоторые тексты имеют параллели в публикациях С. Е. Малова, Г. Ярринга или созвучны стихам старых уйгурских поэтов — Билала Назима и Садыра Палвана. За вычетом этих параллелей остается много нового, впервые публикуемого в уйгуроведении, в том числе лирические песни и стихи — подлинные жемчужины устного народного творчества. Современные диалектологи редко и мало издают тексты. Между тем тексты содержат всегда больше информации, чем анкетные записи, и они совершенно необходимы исследователям. Поэтому публикация

текстовых записей ранее не изученного говора ферганских уйгуров — несомненная заслуга автора.

Заключает книгу «Словарь», построенный на лексике текстов (в том числе охвачены географические названия и личные имена). Г. С. Садвакасов нашел рациональный способ подачи слов и дублетов. В качестве иллюстраций нередко даются предложения, словосочетания (свободные, связанные) и идиомы. Вместе со словами общепонятными вошли слова и редкие, например: *кэшан* «короткий», *қавуз* «детский матрац для колыбели», *миччэ* «гординка, горлица», *сақыт* «тонкая лепешка, жаренная в масле». Несколько слов остались непереведенными (автор ставит после них знак вопроса). Нельзя ли рассматривать их как иранские заимствования? Так, название песни *базгулиналла* (стр. 175) можно разложить на *базгули* и *налла*, *базгули* (перс. *бозгале*) «Козерог, знак зодиака, соответствующий январю»; *налла* (перс. *нале*) «воплъ, стон, рыдания». Очевидно, это — обрядовая «Январская песня» (дословно: «январские рыдания»). Термин *зэргунда* (стр. 193) < араб. *зэрэр* + перс. *кунанда*, *зэрэр-кунанда* «вредитель»<sup>3</sup>, ср. узб. *зараркунанда*<sup>4</sup>.

Зайствованные слова снабжены этимологическими пометами. Но *йардам* (стр. 197) едва ли следует считать словом иранского происхождения: у сарыг югуров сохранился глагол *йарда* «помогать», от которого образовался *йарда* + *м* «помощь».

Трудно согласиться с тем, что *қуйаш* «солнце» (стр. 211) возникло на иранской почве: в сутре «Золотой блеск» и у Махмуда Капгарского это — «зной, жара, солнечный припек»<sup>5</sup>. А вот *севет* «корзинка» (стр. 231) надо соотносить с иранским словом (ср. перс. *сәбәд*), хотя в «Словаре» оно оставлено без пометы, т. е. считается собственно уйгурским<sup>6</sup>.

Эти досадные промахи не снижают высокое, в целом, качество книги, полезной и необходимой уйгуроведам. Хочется отметить и полиграфические достоинства книги; эта черта характерна для книг, издаваемых в Алма-Ате. Читатели ждут выхода в свет второй части «Языка уйгуров Ферганской долины» — исследования по грамматике и лексике ферганского говора.

Э. Р. Тенишев

<sup>3</sup> Э. Н. Н а д ж и п, Уйгурско-русский словарь, М., 1968, стр. 472.

<sup>4</sup> «Узбекско-русский словарь», М., 1959, стр. 163.

<sup>5</sup> «Древнетюркский словарь», Л., 1969, стр. 464.

<sup>6</sup> Замечания к словарной части книги см. также в рецензии М. Ш. Рагимова («Советская тюркология», 1971, 1, стр. 113—114).

**А. А. Магометов. Агульский язык (Исследование и тексты).** — Тбилиси, изд-во «Мецниереба», 1970. 242 стр.

Рецензируемая книга посвящена описанию фонетико-фонологического, морфологического, отчасти и синтаксического строя современного агульского языка — одного из малоизученных языков лезгинской подгруппы дагестанской ветви иберийско-кавказской языковой группы. В ней обобщаются — с учетом того, что было сделано прежде, — результаты личных наблюдений автора за последние 15 лет (начиная с 1955 г.).

Книге предпослано краткое предисловие (стр. 5), таблица транскрипционных знаков (стр. 6). «Введение» (стр. 7—16) содержит некоторые сведения об агулах (их географическом расположении, численности населения, этнонимии и т. д.), об истории изучения агульского языка, о его диалектах.

В разделе «Фонетика» (стр. 17—43) представлено довольно развернутое описание звуковой системы (вокализм, консонантизм, ударение, фонетические чередования и т. д.), оснащенное таблицами. Наиболее подробно в книге рассматривается морфология (стр. 44—175). Совсем бегло освещены отдельные вопросы синтаксиса (стр. 175—177). Собственно грамматическая часть исследования завершается образцами словоизменительных парадигм разных частей речи с иллюстрациями из многих говоров (стр. 177—192). В конце книги приложены образцы текстов из различных говоров агульского языка (стр. 193—238) — собственно-агульского, керенского, буркиханского, кошанского, говора аула Фите; тексты снабжены русским переводом.

Монография А. А. Магометова имеет ряд бесспорных преимуществ перед более ранними исследованиями агульского языка. Прежде всего, она опирается на конкретный материал не одного говора (как это было у А. Дирра<sup>1</sup>) и не одного диалекта или отдельной группы близких говоров (как это было у Р. Шаумяна<sup>2</sup>), а языка в целом, во всяком случае — на материал важнейших говоров агульского языка в современном бытовании. Почти всегда каждое явление, требующее лингвистического объяснения, характеризуется здесь разносторонне и прослеживается по ряду основных говоров, уточняется ареал его употребления.

На основании данных говоров в рецензируемой книге формулируются выводы, позволяющие выявить некоторые тенденции развития, характерные для

агульского языка в целом. В частности, убедительно доказывается, что «смычно-взрывные геминаты... в агульском языке оказываются более стойкими сравнительно с геминатами-спирантами, которые постепенно утрачивают коррелятивное противопоставление негеминированным спирнтам» (стр. 24; см. также стр. 30, 32, 157 и др.).

В монографии А. А. Магометова привлекается и материал близкородственных языков Южного Дагестана. Благодаря этому факты агульского языка рассматриваются в более широком контексте, а это в свою очередь раздвигает историческую перспективу и вплотную подводит к глубинным процессам, определяющим пути исторического развития отдельных языков этого ареала, в частности — к процессам дивергенции и конвергенции. Так, анализ структуры агульского языка в сопоставлении с табасаранским позволяет говорить о близости направлений исторического движения обоих языков, а в отдельных случаях — и о принципиальном тождестве их. Правда, поскольку подобные выводы делаются главным образом на материале восточнолезгинской группы языков, то они могут иметь лишь ограниченную силу, ибо остается неясным вопрос о структурных соотношениях между говорами агульского языка и говорами лезгинского языка, а также языков лезгинской группы в целом.

В морфологическом анализе автор монографии стремился совместить описание синхронного состояния языка с историческим комментированием отдельных фактов и явлений. Достаточно детально исследуется проблема грамматических классов, выявляются окаменелые классные показатели имен существительных, прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, причастий, наречий (стр. 44—69) — относительно легко они прослеживаются в прилагательных и числительных, а также в глаголах и причастиях (стр. 65). Наблюдения над эволюцией падежных суффиксов, суффиксов глагольных форм и т. д. проводятся в сопоставлении с аналогичными явлениями в близкородственных языках.

Все это позволяет полагать, что рецензируемая книга, несомненно, внесет свой вклад в изучение лезгинских языков. К тому же монография А. А. Магометова — это наиболее полное исследование, посвященное агульскому языку, отсюда вполне очевидна ее научная ценность.

Вместе с тем в монографии имеются спорные моменты и не всегда убедительные утверждения. Прежде всего возникает вопрос принципиального характера, касающийся методики выполнения

<sup>1</sup> А. Д и р р, Агульский язык, «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», XXXVII, Тифлис, 1907.

<sup>2</sup> Р. Ш а у м я н, Грамматический очерк агульского языка, М.—Л., 1941.

фонетической части исследования: как, где и от кого (состав информантов) записывались фонетические материалы? Как проводился анализ звуков речи? Как определялся фонемный состав языка? В перечне лиц на стр. 5, которым выражается признательность за «содействие и помощь в работе», не указаны носители хутхульского, дулдугского, дуруштульского и некоторых других говоров, что, как кажется, продиктовано убеждением автора в тождественности этих говоров с тлпигским говором.

С 1935 г., когда был образован самостоятельный Агульский район с административным центром в Тиге, начинается процесс складывания относительно устойчивого койне на базе тлпигского говора. Естественно, что представители других говоров, которые находились в длительном контакте с говором административного центра (служащие, бывшие учащиеся средней школы и т. д.), не могут быть вполне надежными информантами при описании традиционных говоров. Представляется, что А. А. Магометов этого не учитывает, вообще не оговаривая возраст, пол, культурный уровень информантов. Может быть, в этом и причина расхождений между результатами, полученными им и Р. Шаумяном, хотя А. А. Магометову и представляется, что у Р. Шаумяна звуковая сторона агульского языка усложнена (см. стр. 12).

Не всегда указывается ареал тех или иных описываемых фонетических явлений, отсутствует точная паспортизация их. Например, тезис, что «гласный *i* в позиции между двумя губно-губными звуками может измениться в *u*» (стр. 18), иллюстрируется единственным примером из усугского говора, хотя то же явление отмечается и в других говорах; остается неясным, насколько такой переход регулярен; так же обстоит дело и с вопросом о лабиальном характере согласного *ɕw* в глаголах движения (стр. 26).

Отдельные примеры, призванные подтвердить правила, действующие в языке, кажутся нам не вполне убедительными. Так, положение, что «ударение в агульском языке в двухсложных словах падает обычно на второй слог и при присоединении суффиксов не меняет позиции» (стр. 19), иллюстрируется падежными и числовыми формами слов *tiwit* «виноград», *tikà* «кусочек», *turba* «мешочек» и др., в которых, по мнению автора, ударение падает на второй слог (стр. 19). Заметим, что в буркиханском говоре во всех приведенных случаях ударение в трехсложных словах переносится на конец слова, ср.: *tiwit* — *tiwitâr*, *tiwitân*; *tikà* — *tikajl*, *tikawâr* и т. д. (см. также на стр. 20, 21, 22). В целом сведения о правилах постановки ударения звучали бы гораздо убедительнее, если бы они хотя бы выборочно подкреплялись статистическими данными, относящимися к разным говорам (правда,

это выполнимо скорее в самостоятельном исследовании, чем в общем описании грамматического строя языка). Вообще складывается впечатление, что фонетическая часть работы выполнена менее полно и тщательно, чем морфологическая.

В морфологической части повизной разработки и тщательностью описания языковых фактов выделяются разделы, посвященные изучению истории грамматических классов, имен существительных, прилагательных, числительных, местоимений, а также значительной части глагольных категорий.

Однако в отношении морфологии глагола не со всеми объяснениями и утверждениями автора можно согласиться. В агульском глаголе справедливо выделены две формы настоящего времени — настоящее конкретное и настоящее общее, образующиеся с помощью самостоятельных формантов, но остались незамеченными редупликационные формы типа *likendiarîa*, *xurariaria* и подобные, бытующие например, в буркиханском говоре и создающие дублеты настоящего конкретного. Настоящее время в агульском имеет и четвертую форму, которая образуется путем сочетания деепричастия настоящего времени основного глагола с формантом *waraj*, например: *likendîwaraj* «бывает, что пишет», *xurariwaraj* «бывает, что читает». Аналогичные формы с вариантами показателя *wej*, *baj* и под. являются живыми и в других говорах. Во всех говорах эта форма настоящего времени противостоит другим его формам и функционально: настоящему конкретному она противопоставляется как настоящее общее, но отличается от настоящего общего тем, что представляет действие как прерывающееся.

В целом же система форм индикатива разработана в книге обстоятельно (см. стр. 129—136), чему во многом способствовало то, что автор ее по-новому подошел к грамматическому осмыслению вспомогательных глаголов, выделив их в отдельную лексико-грамматическую подгруппу (см. стр. 118—127). Достаточно подробно рассмотрены и другие наклонения: сослагательное, условное, повелительное и долженствовательное (стр. 136—143).

Представляется только, что система форм условного наклонения усложнена в книге. А. А. Магометов усматривает аналитические формы условного наклонения в построениях типа *xuraj-aĭn*, *xurari-aĭn* «если читает» (стр. 137—138), где *-aĭn*, *-aĭn* трактуются как формы самостоятельно функционирующего вспомогательного глагола в условном наклонении. Трудно с этим согласиться. Форманты *-ĭn*, *-ĭn* в современном агульском языке фактически превратились в условную частицу, свободно присоединяющуюся к соответствующей глагольной форме времени, например; *xuraria* —

*xurariašın, xuraraj — xurarajšın, xuruni — xurunišın, xurunauj — xurunaujšın, xurunaj — xurunajšın, xuruna — xurunašın* и т. д.

Вряд ли можно считать также оправданным включение прохибитива в состав повелительного наклонения в качестве формы, противопоставляемой «утвердительной» форме его (см. стр. 140—141), к тому же побуждение и утверждение — это модальные отношения, взаимно исключающие друг друга.

Вместе с тем остались не охваченными грамматическим анализом такие наклонения, как гипотетическое (оформляемое с помощью форманта *-han*), предостерегательное (оно образуется путем прибавления к инфинитиву форманта *da-* в соединении с особой интонацией: *tis daliķes* «не писать ему!» или *wari tis daliķes* «ни в коем случае не писать ему!»). Категория наклонения в агульском языке сложна и многокомпонентна, она требует специального изучения.

Особо рассматриваются так называемые «обстоятельственные формы глагола» (стр. 151—158), организующие, как правило, придаточные части в сложноподчиненном предложении. Поэтому было бы более оправданным говорить о них в собственно синтаксической части работы. Имея в виду композицию книги, следует упомянуть, что раздел «Словообразование» помещен после раздела «Существительное», хотя речь идет о словообразовании вообще; кстати, именно этот раздел (как и «Синтаксис») остался наименее

разработанным в монографии. Здесь слабо представлено как описание словообразовательных средств, так и их теоретическое осмысление; в ряде случаев словообразование не ограничивается от синтаксиса словосочетания (см. стр. 90—91). Приходится констатировать, что на синтаксическом уровне агульский язык пока еще остается не разработанным.

Наконец, последнее — это вопрос о диалектном членении агульского языка. Разные исследователи выделяют в нем разное количество диалектов. По Р. Эркерт и А. Дирру их два<sup>3</sup>, Р. Шаумян говорит о четырех диалектах<sup>4</sup>. А. А. Магомедов склоняется к решению А. Дирра (см. стр. 15—16), которое, на наш взгляд, уступает более последовательной и внутренне аргументированной классификации Р. Шаумяна. Однако ясно, что окончательно решить эту проблему без подробной карты изоглосс важнейших языковых явлений трудно.

Высказанные выше замечания и соображения, нередко носящие характер пожеланий, не могут поколебать общую высокую оценку, которую заслуживает монография А. А. Магомедова.

З. К. Тарланов

<sup>3</sup> См.: R. E r c k e r t, Die Sprachen des kaukasischen Stammes, Wien, 1895, стр. 32—42; А. Д и р р, указ. соч., предисловие, стр. 1.

<sup>4</sup> Р. Ш а у м я н, указ. соч., стр. 12—14.

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

### ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

14 октября 1971 г. на Бюро Отделения литературы и языка АН СССР обсуждалось сообщение главного редактора журнала «Вопросы языкознания» чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филина о перспективах работы журнала. Докладчик отметил, что за 20 лет своего существования журнал, являющийся центральным органом советского теоретического языкознания, завоевал прочное признание и авторитет среди отечественных и зарубежных языковедов. В настоящее время журнал является одним из ведущих и наиболее влиятельных лингвистических журналов мира. Не ставя своей задачей дать оценку всей истории работы журнала в целом, докладчик обратил внимание на некоторые его удачи и промахи. К первым следует отнести, помимо ряда весьма серьезных и теоретически важных публикаций, также, например организацию лингвистических дискуссий; некоторые из них продолжают в полной мере сохранять свое научное значение и по сей день. Это прежде всего дискуссия по стилистике, дискуссия об армянском консонантизме; в ходе последней журнал опубликовал материалы, по своему значению равные научному открытию. Дискуссия об аканье прошла менее удачно. К недостаткам в работе журнала, по мнению докладчика, следует отнести непропорционально большое количество публикаций частного характера на узкую тему, общетеоретическое значение которых невелико, а также неравномерную работу отдела рецензий, где далеко не всегда получали освещение крупные лингвистические работы, особенно отечественные. В последнее время журнал пережил трудный в организационном отношении период, и в этой связи следует отметить заслуги покойного акад. В. М. Жирмунского, бывшего отв. секретаря Н. И. Толстого и сотрудников редакции.

Обращаясь к задачам журнала, Ф. П. Филин подчеркнул важность хорошей организации первого раздела журнала — передовых статей, призванных отражать наиболее существенные моменты развития и состояния отечественного языкознания. Основным направлением жур-

нала является отражение итогов языковедческих исследований на базе марксистско-ленинской методологии. Журнал будет бороться за простоту и доступность изложения сложных теоретических вопросов, за ясность мысли, имея в виду обращение не только к узкому кругу специалистов, но и к более широкой языковедческой аудитории. Журнал призван освещать на своих страницах все центральные вопросы, поднимаемые сегодня мировой языковедческой наукой, отражать различные научные направления и тем самым участвовать в борьбе с чуждыми марксизму идеологическими течениями. Докладчик назвал ряд статей по социолингвистике, по творческому освоению марксистско-ленинского наследия и по другим вопросам, которые уже публикуются в журнале.

Выступая в прениях, чл.-корр. АН СССР Б. Л. Сучков подчеркнул важность отражения на страницах журнала исследований по семиотике, которые до сих пор недостаточно освещались «Вопросами языкознания». Не менее важно и отражение поисков научной мысли в области постижения системной (или асистемной) организации изучаемых объектов. Чл.-корр. АН СССР В. Н. Ярцева, говоря об общем направлении журнала, подчеркнула важность типологических исследований и исследований знаковой природы языка. Журнал должен учитывать, какая область мирового языкознания испытывает наибольший подъем в данный момент, и отражать и даже превосходить разработку соответствующих вопросов. В этом смысле очень важны информационные отделы журнала, в том числе отдел рецензий. Чл.-корр. АН СССР Р. А. Будагов выступал против лженаучной манеры оснащения любых языковедческих рассуждений числовыми выкладками, за обращение к темам, разработка которых должна вестись в тесной связи с результатами исследований других общественных наук, в частности, к темам социолингвистическим. Чл.-корр. АН СССР В. И. Борковский пожелал журналу яснее формулировать редакционную точку зрения при подведении итогов дискуссий, давать больше рецензий на советские издания, стремиться

к доходчивости публикуемых материалов. Чл.-корр. АН СССР Б. А. Серенников, касаясь вопроса об идеологической борьбе в области языкознания, подчеркивал необходимость лучшей осведомленности относительно чуждых нам работ, повышения профессионального уровня критики. Чл.-корр. АН СССР А. В. Десницкая выступала по вопросу о приоритете отечественной науки. Недостаточное внимание к наследству, к истории отечественного языкознания, особенно советского, нередко приводит к тому, что наши работы остаются неизвестными на Западе, как это случилось с социолингвистическими исследованиями тридцатых годов, результаты которых не учитываются современными американскими социолингвистами. А. В. Десницкая предложила чаще обращаться к жанру обзоров, показывающих состояние разработки той или иной проблемы. Она предложила также организовать раздел «Из истории советского языкознания».

В заключительном слове Ф. П. Филин, отвечая на вопросы, пожелания и предложения, подчеркнул, что журнал будет достаточно широко отражать различные научные направления и публиковать наиболее важные, принципиально значимые исследования.

Подводя итоги обсуждения, академик-секретарь ОЛЯ АН СССР М. В. Храпченко говорил о том, что журнал должен находиться в центре проблем международной лингвистической жизни, широко обсуждать наиболее насущные вопросы языковедческой науки. В качестве примера М. В. Храпченко указал на то, что вопросы прогнозирования развития языка совсем не отражаются в журнале, а в то же время на страницах журнала печатается немало материалов, не имеющих общетеоретического значения. Важна и разработка проблем семиотики, без чего, например, трудно изучать проблемы взаимоотношения языка и мышления. Журнал призван широко отражать результаты исследований, ведущихся с позиций различных языковедческих школ и направлений.

В принятом на Бюро ОЛЯ постановлении была одобрена программа журнала на ближайшие годы. Одной из основных задач журнала, говорится в постановлении, является разработка и развитие марксистской теории языкознания. В постановлении рекомендуется существенно расширить проблематику публикуемых материалов, держать читателей в курсе важнейших достижений мировой лингвистики. На страницах журнала должна получать освещение разработка важнейших проблем советского языкознания. Свое место в публикациях журнала должны занять различные направления ведущихся исследований — вопросы социолингвистики, проблемы прогнозирования развития

языков, математические методы в языкознании, структурная лингвистика, семиотика и др.

О. Л., Г. Б., Г. С.

\*

IV Международный конгресс логики, методологии и философии науки, проходивший с 29 августа по 4 сентября 1971 г. в Бухаресте, рассматривал общие вопросы методологии и философии науки (V секция), философские основы логики и математики (I, II, IV и VI секции), автоматы и языки программирования (III секция), а также методологию и философию конкретных наук (VII—XII секции), причем в XI секции рассматривались вопросы методологии и философии языкознания. Доклады на XII секции, посвященные истории логики, методологии и философии науки, обеспечили преемственность между тематикой бухарестского конгресса и недавно закончившегося московского XIII Международного конгресса по истории науки.

Всего в работе конгресса приняло участие около тысячи ученых более чем из двадцати стран мира. Делегацию СССР представляли около 100 ученых. Несмотря на большое количество докладов и сообщений (их было более 450), организаторы конгресса сумели обеспечить оперативность и четкость в работе всех секционных и пленарных заседаний Конгресса.

На первом пленарном заседании был прослушан доклад А. Тарского (США) «О современном состоянии теории множеств».

Большинство секционных докладов продемонстрировало интенсивное развитие аппарата формализации не только в области математической логики и математики и их практических приложений к конкретным наукам, но и в самих конкретных науках, представители которых пытаются создать уникальные формализмы. Примеры таких уникальных формализмов представлены, в частности, в докладе Р. Чокан-Ивэнеску (Румыния) «Применение математического мышления в современных исторических исследованиях», в докладе В. Лайнера (США) «Аксиоматизация исторического времени», Д. Берлинеско и Г. Печника (США) «Формальные аспекты молекулярных биологических систем», Н. Джорджеску-Роген (США) «Мера информации: критика».

В работе всех секций большое внимание уделялось использованию электронно-вычислительной техники как в практическом, так и в теоретическом плане. В докладе Л. Кальмара (Венгрия) «Является ли ЭВМ самостоятельной наукой?» обосновывается положительный ответ на данный вопрос. В других докладах

близкого содержания, прочитанных в основном на секции теории автоматов и языков программирования (секция III), а также в выступлениях на симпозиуме «Математические основы теории ЭВМ», состоявшемся 3 сентября, главное внимание было обращено на раскрытие и уточнение содержания основных понятий этой теории. Например, доклад К. Ч у л и к а (Чехословакия) «Логический анализ языков программирования» был посвящен уточнению определений понятий языка вообще, машинно зависимых языков программирования и схемы языка программирования. Близкие вопросы рассматривались в докладе П. Л а у э р а (Австрия) «Консистентные и комплиментарные формальные определения языков программирования». Внимание лингвистов привлек доклад Г. С. Ц е й т и н а (СССР) «Черты естественных языков в языках программирования». Б. А. Т р а х т е н б р о т (СССР) предложил в своем докладе «Формализация некоторых понятий в терминах сложности вычислений» определение независимости сегмента текста, записанного на машинном языке, с точки зрения его синтагматики и парадigmatiki.

На общем фоне все повышающегося интереса к приемам формализации научных исследований в настоящее время складывается два основных подхода к пониманию методической и методологической роли формализмов. Для таких наук, как история, социология, психология, биология, в которых формализация ограничена пока попытками создания собственного формального аппарата или частичного использования элементарных математических понятий, характерна тенденция превращать новые методы в самоцель исследования, исключив из научного анализа все, что не сводимо к понятиям отношения или структуры. Напротив, представители тех наук, в которых уже развит и тонко дифференцирован аппарат формализации, все большее значение придают проблемам глубокого онтологического анализа используемых понятий, поиску универсальных приемов содержательной интерпретации результатов формального анализа, разработке средств учета индивидуальных свойств элементов объекта, отношения между которыми представлены формальной моделью этого объекта. Так, Е. Г а р у л л а (Италия) в докладе «Онтологические и формальные основы логики» заявил: «Хотя системы современной логики, оперирующие символами, освобождают логическое мышление от онтологии, однако действительность объективна, и мышление должно отразить ее структурную необходимость». Поисками путей укрепления методологической роли формализации за счет введения в научное рассмотрение тех характеристик исследуемых объектов, которые присущи им онтологически, но не отражаются в формаль-

ном аппарате теории, продиктованы призывы к установлению связи между логическими и историческими элементами (Б. М. К е д р о в, СССР), между логической и физической необходимостью (М. М а р к о в и ч, Югославия). Установлению таких связей должно содействовать введение понятий практической осуществимости теоретических и конструктивных построений (М. К о в а ч, Венгрия), диалогии (А. Т е с т а, Италия), интегральной логики (А. Б у н к о в, Болгария). В русле этих идей следует рассматривать также доклады по семантике, например, Э. А г а ц ц и (Италия) «Формализация эмпирических теорий и их семантика», М. В. П о п о в и ч а (СССР) «Доказательство фактом и семантическая информация», Е. Д. С м и р н о в о й (СССР) «Теория семантических категорий и анализ понятия логической формы». Иными словами, конгресс показал, что именно в связи с широким и эффективным использованием методов формализации как в универсальных, так и конкретных науках, все более явно осознается потребность в практическом использовании принципов диалектики и появляется новая благоприятная почва для конкретизации и углубления этих принципов. Этот вывод можно было бы подкрепить цитатами из многих докладов и выступлений [Б. М. К е д р о в; Ж. Л. Д е т у ш (Франция), Р. К л и б а н с к и й (Канада) и др.]. Например, М. В а д е (Франция) в докладе «Гегелевская модальная логика и ее современное значение» подчеркивает, что «использование результатов формализации может быть эффективным только в контексте принципов диалектики».

Все намечившиеся на конгрессе общеметодологические тенденции современной науки получили отражение и в докладах на секции методологии и философии лингвистики, где рассматривались также и проблемы структурного литературоведения. Проявилось это, во-первых, в том, что в подавляющем числе докладов так или иначе рассматривались вопросы внедрения точных методов и разработки формализмов для целей лингвистического анализа. Правда, многие докладчики не столько обсуждали проблемы методологии и философии, сколько излагали новейшие результаты в области математической лингвистики, развивающие идеи порождающих грамматик или посвященные проблемам аналитических и теоретико-множественных моделей языка. Внимание специалистов привлекли, например, доклады: А. К а ш е р (Израиль) «Слова, игры и прагмемы»; С. И с а р д и Х. К. Л о н г и т - Х и г г и н с (Англия) «Модальная игра тик-так-то»; Л. В а й н а - П у ш к э (Румыния) «Проективный синтаксис в поэтике»; Д. М ы р з а (Румыния) «Вопросы композиции в „Корчме Анникуцы“ М. Садовяну»;

Т. Штефанеску-Прибой (Румыния) «Литературоведение: некоторые механизмы его развития». Естественно, что обсуждались и пути распространения формального аппарата логики и математики на языковые категории, наиболее «неподатливые» для формализации. Этой проблеме был посвящен, например, доклад А. Гюитера (ФРГ) «Неопределенность как препятствие оценки аргументации в естественном языке средствами формальной логики», П. Сгала (Чехословакия) «Статус семантики в генеративном описании», Э. Вассилиу (Румыния) «Методологические заметки по поводу некоторых основных положений трансформационной грамматики». В докладе Ю. А. Петрова (СССР) «Относительно семиотического обоснования вопросов» было предложено такое расширение исчисления предикатов, которое позволяет отражать средствами формальной логики тексты, содержащие и вопросительные предложения. У. А. Фишер (ФРГ) рассматривал пути формализации понятия толерантности (т. е. допустимости, но не обязательности) в приложении к проблемам использования языковых единиц в речевых последовательностях.

Тенденция к обособлению теории использования ЭВМ как самостоятельной науки преломилась на лингвистической секции в обсуждение вопроса о правомерности выделения новой лингвистической дисциплины — инженерной лингвистики. Аргументом в пользу такого выделения послужили как практические результаты автоматического индексирования, реферирования и перевода научных текстов, продемонстрированные в докладе Р. Г. Пиотровского (СССР) «Лингвистические аннотации и автоматический перевод текстов», так и результаты анализа общеметодологических проблем, инженерно-лингвистический подход к которым открывает новые пути для их разрешения. Подтверждением того, что возникновение этого нового лингвистического направления является объективным процессом, служат и высказывания Х. Шнелле (ФРГ), содержащиеся в его докладе «Проблемы теоретической лингвистики».

Успехи в области формализации лингвистики содействуют пониманию необходимости создания такой теории, которая способствовала бы получению качественно новых результатов за счет сочетания формальных методов с эвристическими приемами. В связи с этим ряд докладов был посвящен проблемам онтологии языка и семантики, сопоставлению методологических основ различных школ лингвистики, влиянию неязыковых факторов на развитие и функционирование языка. Эти вопросы рассматривались, например, в докладах: Р. Новак (Чехословакия) «Новый подход к проблеме

внутренней формы», Х. Вальд (Румыния) «Язык и негэнтропия», К. Попа (Румыния) «Естественный язык, идиолект, речевой акт», Я. Котарбинская (Польша) «Об окказиональных выражениях», Д. Виттих (ГДР) «Философское значение языковой стратификации», И. Дуриданов (Болгария) «О логической основе грамматических категорий» и др.

В эксплицитной форме эти призывы к созданию методологических основ лингвистики, объединяющих достоинства формального и содержательного, структурного и субстантного, статического и динамического, синхронического и диахронического и других обычно метафизически противопоставляемых подходов прозвучали, например, в докладах Р. Швейгера (Румыния) «Интуитивные процедуры и дедукция в лингвистике», Ф. Вандемме (Бельгия) «Возможности нового подхода к лингвистической теории», Г. П. Мельникова (СССР) «Критерий целесообразности при объяснении прошлого, настоящего и будущего языковых систем (к методологии системной лингвистики)», Е. Анкуца (Румыния) «Логика, онтология и язык».

С большим интересом ожидали лингвисты объявленные в программе доклады С. К. Шаумяна, В. Н. Ярцевой, И. И. Ревзина, В. З. Панфилова, В. В. Иванова, В. А. Виноградова, Е. Л. Гинзбурга, не сумевших, к сожалению, принять участие в работе секции.

Во время работы конгресса функционировала выставка книг по логике, методологии и философии науки, представленных странами — участниками конгресса. На этой выставке была широко представлена и советская литература.

По общему мнению как советских, так и зарубежных делегатов международный обмен в области логики, методологии и философии науки содействует повышению эффективности работы ученых и росту их роли в современной научно-технической революции.

Следующий Международный конгресс логики, методологии и философии науки решено созвать в 1975 г.

Г. П. Мельников (Москва),  
Р. Г. Пиотровский (Ленинград)

\*

9—11 июня 1971 г. в Ленинграде состоялась V Тюркологическая конференция, организованная ЛО ИВ АН СССР. В программу конференции было включено более 50 докладов и сообщений по актуальным вопросам изучения языков, истории и литературы тюркских народов. Конференцию открыл председатель Оргкомитета чл.-корр. АН СССР А. Н. Кононов, подчеркнувший

важность и необходимость изучения научного наследия тюркологов прошлого века, в ряду которых особое место занимают О. Н. Бётлингк и В. Д. Смирнов (последний, хотя и не оставил специальных лингвистических трудов, живо интересовался вопросами турецкого языка и его истории, свидетельством чему являются многочисленные языковедческие замечания, рассеянные в его исторических и литературоведческих трудах). На пленарном заседании были прочитаны доклады А. С. Тверитиновой (Москва) «В. Д. Смирнов — историк Турции (К 125-летию со дня рождения)», Е. И. Маштаковой (Москва) «В. Д. Смирнов — исследователь турецкой литературы», Е. И. Коркиной (Якутск) «О. Н. Бётлингк и его „Грамматика якутского языка“ (к 120-летию со дня издания)». Е. И. Коркина подробно охарактеризовала как принципы, лежащие в основе этой грамматики, так и языковой материал, на котором она построена, рассказала об истории создания грамматики.

На лингвистической секции был прочитан доклад Е. И. Убрятвой (Новосибирск) «Синтаксис сложноподчиненного предложения в труде О. Н. Бётлингка „О языке якутов“». В этом труде по тогдашней традиции сведения по синтаксису даются лишь при перечислении употребления грамматических форм, но фактически в этом разделе изложен весь синтаксис простого предложения якутского языка. Отношение О. Н. Бётлингка к сложноподчиненному предложению определялось его взглядами на глагольно-именные и деепричастные формы — первые рассмотрены им в именном словообразовании, в разделе словоизменения он их не касается, и лишь в разделе «Syntax» они вошли в главу «О глаголе». Считая, что якуты с помощью глагольных имен «выражают придаточные предложения других языков», О. Н. Бётлингк рассматривает якутские причастные и деепричастные конструкции в составе простого предложения.

Почти все доклады, прочитанные на лингвистической секции, были посвящены вопросам бессоюзного сложноподчиненного предложения в тюркских языках.

А. З. Абдуллаев (Баку) в докладе «Бессоюзное сложноподчиненное предложение в современном азербайджанском языке» (доклад прочитан В. И. Аслановым) отметил, что связь между компонентами сложноподчиненных предложений устанавливается посредством не только союзов, но и указательных местоимений, местоименно-наречных слов, наречий, модальных слов, интонации, порядка следования компонентов. По мнению докладчика, одноядерное сложноподчиненное предложение образовалось от простых распространенных

предложений путем расширения глагольного состава; двухъядерное же сложноподчиненное предложение генетически связано с бессоюзным сложноподчиненным предложением. В докладе показано, что в современном азербайджанском языке все типы сложноподчиненного предложения могут быть бессоюзными, за исключением сложноподчиненного предложения с придаточным обстоятельством места.

В. И. Асланов (Баку) в докладе «К проблеме генезиса одного из типов сложноподчиненного предложения с придаточным дополнением», отметив, что в арабском и персидском языках нередко «подлежащее» придаточного дополнительного предложения ставится в форме винительного падежа, подчеркнул, что аналогичная картина наблюдается и в тюркоязычных памятниках арабского письма. Употребление союза *ki* в таких предложениях носит факультативный характер; примечательно, что, если в сложноподчиненных предложениях с союзом *ki* последний, как правило, ставится непосредственно после сказуемого главного предложения, то в рассматриваемом типе сложноподчиненного предложения место *ki* неустойчиво: «*hüsnîñä säddä gilmajanä säniñ, häq dedi adinî ki, Sejtandur*» (Несими). Докладчик сделал попытку доказать, что данный тип сложноподчиненного предложения возникает и формируется на чисто тюркской почве и получает свое дальнейшее развитие, как только находит параллели в арабском и персидском языках.

В докладе Н. А. Баскакова (Москва) «Природа притяжательных определительных словосочетаний и их роль в эволюции сложных синтаксических конструкций в тюркских языках» анализировался тот тип этих конструкций, у которого определение выражено родительным падежом, а определяемое оформлено аффиксом принадлежности. Эти конструкции рассматривались докладчиком как генетически трансформированные предикативные конструкции, в которых субъект-подлежащее преобразован в субъект принадлежности. Подобные словосочетания и предложения были обратными. В современных языках такая обратимость сохранилась только у некоторой части конструкций (например, каракалп. *men kelgen men* «я пришел» и *meniñ kelgenim* «мой приход в прошлом»).

Докладчик связывает именно с притяжательными словосочетаниями развитие предложений с развернутыми членами, которые являются в тюркских языках конструкциями, соответствующими конструкциям сложного предложения с придаточными. Дальнейшее усложнение конструкций предложения характеризуется сочлененными предложениями, цепочечными деепричастными конструкциями и, наконец, смешанными сложными конструкциями, состоящими из сочлененных

простым примыканием предложений, сочиненных и подчиненных друг другу, цепочечных деепричастных конструкций, предложений с развернутыми членами и предложений, осложненных придаточными конструкциями.

П. И. Кузнецов (Москва) в докладе «Придаточные предложения с формой на *-дук* в памятниках орхон-енисейской письменности» в синтагмах типа *qutim bar üdün...* «так как у меня было счастье...», *täpri jarliqaduq üdün...* (ср. ту же конструкцию с аффиксом принадлежности: *...jarliqaduqin üdün*) «так как небо приказало» усматривает бессоюзные придаточные предложения причины, «замыкаемые» послелогом *üdün* «так как». Связь между главными элементами конструкций этого типа признается не притяжательной, а предикативной, что определяется самим характером древней формы на *-дук*, которая, как полагает П. И. Кузнецов, первоначально была формой *verbum finitum*.

В докладе Г. А. Гайдаржи (Бельцы) «Сложные предложения с придаточными относительного подчинения в гагаузском языке» подробно рассматривался этот тип предложений, в котором придаточные вводятся относительными местоимениями и наречиями; особо отмечалось, что придаточные предложения относительного подчинения могут выполнять самые различные синтаксические функции (они не могут быть только придаточными причины, цели и условия, что, вероятно, тоже можно объяснить структурными особенностями этого типа сложного предложения).

В докладе А. Н. Баскакова (Москва), доклад был прочитан В. И. Аславовым) «Некоторые спорные вопросы в изучении турецкого бессоюзного сложноподчиненного предложения» отмечалось, что неустановленность в тюркологии критериев придаточных предложений затрудняет разграничение простых пространственных и сложных предложений в тюркских языках. Анализ бессоюзных сложноподчиненных предложений возможен только после строгого разграничения придаточных предложений и оборотов с неличными формами глагола (т. е. атрибутивно-определятельных и атрибутивно-обстоятельственных словосочетаний). Подробное рассмотрение турецких бессоюзных сложноподчиненных предложений позволило докладчику признать лексико-семантическое значение компонентов такого предложения основным фактором, определяющим как само подчинение, так и его способы, а также грамматические значения, возникающие между этими компонентами.

В докладе А. Н. Кононова «О некоторых типах бессоюзного сложноподчиненного предложения в турецком языке» нашли дальнейшее развитие взгляды докладчика на структурные

типы сложноподчиненного предложения, изложенные в его фундаментальной «Грамматике современного турецкого литературного языка» и в других синтаксических работах. А. Н. Кононов подчеркнул, что бессоюзное сложноподчиненное предложение — это такое, части которого грамматически оформлены как предложения и объединяются в сложное целое посредством морфологических, лексических и ритмико-интонационных средств. В докладе подробно анализировалась вопросительная энклитика как морфологическое средство объединения главного и придаточного предложения в единое сложное целое. Как показал докладчик, *verba sentiendi*, *verba dicendi* в качестве сказуемого главного предложения соединяются с зависимой частью способом примыкания.

Г. П. Мельников (Москва) в докладе «Синтаксическое значение и синтаксический смысл в тюркских бессоюзных сложноподчиненных конструкциях» поставил вопрос: можно ли говорить о семантической эквивалентности предложений с бессоюзными, как и союзными, придаточными и соответствующих простых предложений с именами действия (например, на *-дык*), и если нет, то каковы критерии выбора той или иной формы выражения сложной мысли в каждом конкретном случае? Используя то позитивное, что содержится в несправедливо забытых «психологических» идеях младограмматиков, а также в современных достижениях психолингвистики, логики, кибернетики, докладчик стремился показать, что выбор той или иной из сравниваемых форм выражения мысли в сложном сообщении определяется тем, какая часть сообщения выступает в роли темы.

В докладе «Сложные бессоюзные предложения в произведениях туркменских поэтов XVIII—XIX вв.» З. Б. Мухамедова (Ашхабад) проанализировала сложноподчиненные и сложносочиненные бессоюзные предложения, встречающиеся в поэтических произведениях Махтумкули и Кемине.

В докладе Л. А. Покровской (Москва) «Особенности структуры сложноподчиненных бессоюзных предложений в гагаузском языке и балкано-турецких диалектах» (доклад прочитан Г. А. Гайдаржи) отмечалось, что бессоюзное подчинение предложений в синтаксисе гагаузского языка занимает небольшое место по сравнению с союзным и относительным. Наиболее распространенным структурным типом бессоюзных придаточных предложений являются конструкции с конъюнктивом, синтаксическая функция которых не зависит от того, совпадают или не совпадают субъекты действия у предикатов главной и зависимой частей сложного предложения; этот тип присущ и гагаузским говорам Болгарии, и ряду балкано-турецких диалектов

и говором: он развился на базе союзных предложений с *ki*, который при конъюнктиве-сказуемом придаточного предложения опускается (*coşuq geldiki işini bitirsin*) *coşuq geldi işini bitirsin*).

Э. В. Севортян (Москва) в докладе «Некоторые семасиологические вопросы сложного предложения в тюркских языках» (доклад прочитал Д. М. Насилов) отметил, что семасиологический аспект учения о сложном предложении в ряду семантических характеристик сложного предложения должен непременно учитывать условия, при которых происходит объединение двух или более предложений в одно сложное целое. Исторически путь образования сложных предложений Э. В. Севортян представляет так: от простого предложения через сложносочиненное к сложноподчиненному предложению. Такая внешне логичная и последовательная схема развития сложного предложения исторически нуждается, однако, в существенной поправке, касающейся бессоюзного сложноподчиненного предложения. Учитывая, что в языке енисейско-орхонских памятников наряду с формально выраженными сложноподчиненными предложениями весьма широко распространены бессоюзные сложносочиненные предложения, можно полагать, что бессоюзное сложносочиненное предложение сложилось гораздо раньше времени создания памятников древнетюркской письменности, чего нельзя сказать о бессоюзных сложноподчиненных предложениях. По мнению докладчика, бессоюзное сложноподчиненное предложение сложилось и развилось сравнительно поздно, под влиянием формально выраженного (союзом или иными способами) сложноподчиненного предложения.

С. А. Соколов (Москва) в докладе «Внесенные предложения в составе бессоюзного сложного предложения (на материале турецкого языка)» проанализировал наблюдающееся в турецком языке (особенно в устной речи) явление парентезы, когда структура одного предложения размыкается и в место разрыва включается другое, интонационно обособленное, предложение, которое, как правило, содержит либо эмоциональную оценку, либо уточнения. В соответствии с семантикой включенные (внесенные) предложения первого типа могут быть названы вводными, а предложения второго типа — вставными (вставочными) предложениями. Оба типа предложений выходят за рамки подчинения и сочинения и должны быть выделены в синтаксисе сложного предложения в особый разряд, образующий «бессоюзные сложные предложения с внесенными предложениями в их составе».

М. Ш. Ширалиев (Баку) в докладе «Некоторые соображения о сложноподчиненном бессоюзном предложении», отметив недостаточную изученность смыс-

ловых связей между компонентами сложного целого, типов связи в сложноподчиненном бессоюзном предложении, как и отсутствие соответствующей классификации, предложил распределить сложноподчиненные бессоюзные предложения по двум типам. Аналитический тип, где смысловые отношения между компонентами выражаются интонацией, легко может трансформироваться в сложноподчиненное союзное предложение; этот тип исторически является переходным между сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями. В синтетическом же типе сказуемое придаточного предложения связывается с главным предложением посредством условной формы глагола или вопросительного аффикса.

И. П. Павлов (Чебоксары) в докладе «О структурных особенностях бессоюзных сложноподчиненных предложений в чувашском языке» призвал изучать такие предложения как с точки зрения смысловых отношений между их компонентами, так и с точки зрения их структурных особенностей. В чувашском языке бессоюзные сложноподчиненные предложения отличаются от бессоюзных сложносочиненных предложений наличием таких релевантных факторов, как опорное слово в составе главного предложения, строго фиксированный порядок компонентов и др.

А. Х. Фатыхов (Уфа) в своем выступлении подчеркнул, что при классификации бессоюзных сложных предложений нужно учитывать структурно-типологические способы связи компонентов, семантико-синтаксические отношения между ними и строевое назначение каждого отдельного компонента.

Г. Ф. Благова (Москва) в докладе «Некоторые вопросы развития средневекового среднеазиатского тюркского литературного языка» подчеркнула, что изучение любых вопросов этого круга требует всестороннего учета достижений советского языкознания в области теории развития литературных языков; это тем более необходимо, что в тюркском языкознании изучение истории литературных языков в донациональный период, по сути дела, до сих пор не оплодотворялось от исторической грамматики. Основываясь на проведенных ею сопоставлениях в области глагольно-именных форм в языке «Бабур-наме» (рубеж XV—XVI вв.) и в современных тюркских языках Средней Азии, Г. Ф. Благова попыталась прояснить отношения диалектной основы чагатайского языка и живых среднеазиатских тюркских языков.

На секции истории и филологии тюркских народов были прослушаны доклады, посвященные определению ближайших задач изучения сельджуцкой и огузской проблем, обзору тюркоязычной литературы в эпоху сельджуков, этимоло-

гическому анализу ряда слов и другим проблемным вопросам.

В докладе «К вопросу о письменной традиции в анатолийских памятниках XIII—XIV вв.» Э. А. Грунина (Москва), опираясь на ранее высказанные гипотезы, предложила рассмотреть письменные языки Анатолии и золотоордынско-хорезмского ареала в XIII—XIV вв. как самостоятельные линии развития предполагаемого интердиалекта, устная форма которого, очевидно, сложилась в пределах державы сырдарьинских ягбу в IX—X вв. В XI—XII вв. в сельджукских владениях в районах концентрации огузо-туркменских племен (Хорасан, северо-западный Иран, Азербайджан) происходит зарождение письменной литературы и письменного языка, более развитой стадией которого явился язык памятников Анатолии. Для реконструкции черт стадии устного интердиалекта сопоставляются черты поздних памятников разных ареалов (анатолийские, золотоордынско-хорезмские, спорные по датировке, типа «Кысса-и Юсуф» Али, «осколки» восточноогузского языка, сохранившиеся на территории бывшего сельджукского государства в более поздние эпохи.

А. М. Щербак (Ленинград) в сообщении «О рунической письменности в юго-восточной Европе» на основе анализа многих рунических или рунообразных надписей обрисовал границы распространения рунической письменности в юго-восточной Европе (исключая обособленную

группу рунообразных надписей, найденных в Болгарии и Румынии) следующим образом: на севере — верховья Дона, на востоке — излучина Волги, на западе — Дои, на юге — Кавказские горы. В этом районе в период с VI по X в. находились касоги, аланы, бургары (булгары), хазары, печенеги, «хазарские печенеги» и мадьяры, одни продолжительное время, другие — сравнительно недолго. По мнению А. М. Щербака, руны могли иметь, вероятнее всего, булгары, хазары и печенеги.

Анализ огузских лексических элементов в трудах восточных филологов был посвящен доклад Э. И. Фазылова (Ташкент).

Секция истории Турции была представлена 8 докладами, которые касались вопросов истории русско-турецких, ирано-турецких, германо-турецких отношений, возникновения первых социалистических организаций в Турции и т. п.

На конференции был прослушан также отчет главного редактора журнала «Советская тюркология» М. Ш. Ширалиева о деятельности этого всесоюзного научно-теоретического издания за 1970 г. Конференция одобрила деятельность журнала, что нашло отражение в принятой на конференции резолюции.

Участниками конференции было высказано пожелание созвать VI Тюркологическую конференцию в июне 1973 г.

*В. И. Асланов (Баку).*

В статье И. К. Белододе (1972, № 1) последний абзац на стр. 5 следует читать: «Понятие „народ“ в практике социалистического строительства в СССР получило несколько аспектов своего содержания...»; на стр. 8 первую строку последнего абзаца следует читать: «Формирование и развитие новой исторической общности людей...»; на стр. 14 строку 21 сверху следует читать: «и общественных функций, т. е. происходит процесс, наблюдаемый...»

The Editorial Board of the journal «Voprosy Jazykoznanija» is very much obliged to the Publishing Houses who send us their books for review. The Editorial Board announces that it cannot guarantee the review of all the books received at the Editorial office. The critiques will be published according to the possibilities of our journal. Two offprints of the review will be sent to the Publishers. Books received are not sent back.

## CONTENTS

**Articles:** B. A. Serebrennikov (Moscow). On linguistic universals; **Discussions:** V. I. Georgiev (Sofia). On modern developments in the «decipherment» of the Etruscan language; O. A. Lapteva (Moscow). Unsolved problems of the functional sentence perspective; T. M. Nikolayeva (Moscow). The functional sentence perspective as a category of text grammar; Y. Firlas (Brno). The function of the question in the process of communication; A. L. Pumpsanskij (Moscow). On logical-grammatical division of the sentence; **Materials and notes:** V. Kiparskij (Helsinki). On the development of *ь* in the suffixes *-ьск* and *-ьство*; A. Bartoševič (Poznań). The definition of the system of word-formation; I. S. Kozurev (Orel). From the history of prepositions used with forms of comparative degree of adjectives in Bielorussian and Russian languages; H.-J. Schädlich (Berlin). The processes of differentiation and levelling in German from the point of view of phonology; N. A. Syromiatnikov (Moscow). The definition of cognate roots; **Critics and bibliography; Scientific life.**

---

## SOMMAIRE

**Articles:** B. A. Serebrennikov (Moscou). Sur les universaux linguistiques; **Discussions:** V. I. Georgiev (Sofia). L'état actuel du «déchiffrement» de la langue étrusque; O. A. Lapteva (Moscou). Problèmes en suspens dans la théorie de la perspective fonctionnelle de la proposition; T. M. Nikolayeva (Moscou). Perspective fonctionnelle de la proposition comme catégorie de la grammaire du texte; Y. Firlas (Brno). La fonction de la question dans le procès de communication; A. L. Pumpsanskij (Moscou). Sur la segmentation de la proposition du point de vue logique et grammaticale; **Matériaux et notices:** Sur le développement de *ь* dans les suffixes *-ьск* et *-ьство*; A. Bartoševič (Poznań). La définition du système de la formation de mots; I. S. Kozurev (Orel). De l'histoire des prépositions employées avec les formes du comparatif en biélorusse et en russe; H. J. Schädlich (Berlin). Les procès de différenciation et de nivellement dans la lumière de phonologie; N. A. Syromiatnikov (Moscou). La définition des racines apparentées; **Critique et bibliographie; Vie scientifique.**

---

Технический редактор *Е. С. Кузьмишкина*

---

Сдано в набор 28/XII—1971 г.	Т-05013	Подписано к печати 10/III—1972 г.	Тираж 7220 экз.
Зак 3231	Формат бумаги 70×108/16	Усл. печ. л. 13,3 Бум. л. 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	Уч.-изд л. 14,6

---

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10